

В. Т.
НАРЕЖНЫЙ

Сочинения



Василий Трофимович Нарезный Бурсак

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2547725

В.Т. Нарезный. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

Наиболее известное и до сих пор читаемое произведение Нарезного, «Бурсак», вышло в свет в 1824 году. Оно вполне самостоятельно как в сюжете, так и в деталях. Типы, не шаржированные, а нарисованные прямо с натуры, отличаются жизненностью. Герой, Неон, проходящий многотрудную стезю бурсацкого воспитания, – совершенно живое лицо, приключения его вполне возможны и вытекают одно из другого; характер героя обусловлен обстановкой его жизни.

Содержание

Часть первая	8
Глава I	8
Глава II	18
Глава III	30
Глава IV	39
Глава V	48
Глава VI	62
Глава VII	72
Глава VIII	85
Глава IX	100
Глава X	111
Часть вторая	121
Глава I	121
Глава II	133
Глава III	146
Глава IV	156
Глава V	169
Глава VI	180
Глава VII	188
Глава VIII	198
Глава IX	209
Глава X	219
Глава XI	227

Глава XII	235
Часть третья	245
Глава I	245
Глава II	256
Глава III	267
Глава IV	279
Глава V	291
Глава VI	304
Глава VII	314
Глава VIII	325
Глава IX	337
Глава X	349
Глава XI	362
Глава XII	373
Часть четвертая	385
Глава I	385
Глава II	396
Глава III	405
Глава IV	416
Глава V	435
Глава VI	448
Глава VII	468
Глава VIII	479
Глава IX	490
Глава X	502
Глава XI	513

Глава XII	521
Комментарии	528
1	533
2	534
3	535
4	536
5	537
6	538
7	539
8	540
9	541
10	542
11	543
12	544
13	545
14	546
15	547
16	548
17	549
18	550
19	551
20	552
21	553
22	554
23	555
24	556

25	557
26	558
27	559
28	560
29	561
30	562
31	563
32	564
33	565
34	566
35	567

Василий Трофимович Нарежный Бурсак

*Василию Михайловичу Федорову
Милостивый государь Василий
Михайлович!*

*Дружеская благосклонность, коею
почтили Вы меня с начала довольно
давнего уже нашего знакомства, без всякой
со стороны моей заслуги, налагает на
меня приятный долг благодарности. В
засвидетельствование сего я имею честь
посвятить имени Вашему сочинение мое,
под заглавием: «Бурсак».*

*Примите сей малый опыт моей
преданности со свойственным Вам
великодушием.*

Василий Нарежный
Августа 4 дня 1822 года.

Часть первая

Глава I Бурса

Блаженной памяти отец мой, дьячок Варух Переяславского полка, в селе Хлопотах, был великий мудрец в науках читать, писать и распевать на крилосе. Он так был громогласен, что когда в часы веселые взлезет, бывало, на колокольню и завопит, то рев его был слышнее, чем звон главного колокола, и это звонарю крайне досадно было.

Как у Варуха, кроме меня, детей не было, то он, презрев тогдашний обычай, чтобы не заставлял учить ничему детей до двенадцатилетнего возраста, принялся за меня по прошествии шести лет с такою ревностью, что в двенадцать я уже читал и писал не хуже его и пел на крилосе на все восемь гласов. Слава моя не мало утешала отца; но к чести его скажу, что он сим не ограничился и захотел сделать меня, по словам его, настоящим человеком.

Он имел друга в келейнике ректора переяславской семинарии и посему, запасшись рекомендательным

письмом от богатого пана, проживающего в Хлопотях, к сей высокой духовной особе, отправился со мною в город, отстоящий от села верст на десять. Лето было в половине и день ясный.

– Неон! – сказал дорогою Варух, – когда ты будешь столько счастлив, что позволят тебе учиться в семинарии, то смотри не ленись, и бог тебе поможет.

Там-то будешь иметь случай набраться всякой мудрости, о коей нашему брату и подумать страшно. Отличась в науках, ты можешь надеяться – велика власть господня! – надеяться быть со временем в каком-нибудь селе дияконом!

Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!

Рассуждая таким образом, добрались мы до города, и я разинул рот от удивления. Какие церкви, какие дома, какие сады и огороды! Проходя улицы, я поминутно дергал отца за полу, спрашивая: «Это что?» Он молча продолжал путь с великою важностию, как будто ничто его не трогало. Это был субботний день, и народ расходился от вечерень. Какое множество людей обоих полов! какое великолепие в нарядах!

Подошед к одной церкви, отец мой постучался у ворот маленького домика.

– Это жилище хорошего моего приятеля, дьячка же, Варула, где мы переночуем и посоветуем о нашем деле.

В сие время вышел к нам низенький толстый человек об одном глазе. Он тотчас узнал отца моего, оскаллил зубы, поздоровался, ввел нас в светелку и усадил на лавке.

Когда Варул подробно узнал намерение Варухово относительно меня, то объявил, что оно очень не худо само по себе, но весьма худо потому, что вручить рекомендательное письмо отцу-ректору очень трудно.

— А келейник^{1} его высокопреподобия, всечестный Паисий, что такое? — вскричал отец мой.

— Ты, видно, давно с ним не видался, — отвечал Варул, — теперь и всечестный Паисий, как и все другие, взялся за ум, и кто приходит к нему с пустыми руками, для того и ректор не видит и не слышит.

— Подлинно, что худо, — сказал Варух, понизя голос и почесавши в затылке, — я и не знал, что старинный друг мой так переменился; правду, однако, сказать, что и мы, хотя также всечестные люди, а даром ни для кого и рта не разинем. Любезный друг Варул! ссуди мне рубль денег, так я поднесу его другу Паисию.

Варул, в свою очередь, задумался и также почесал в затылке. Наконец глаз его просветлел, он протянул к отцу моему руку и сказал:

— Изволь, друг Варух, ссужу тебя деньгами; но я кое-что выдумал и надеюсь, что тебе это будет не против-

но. Возьми половину сих денег, ступай к знакомой тебе шинкарке Матридии и купи добрую меру пеннику да другую вишневки; я же побегу к Паисию и приглашу его на ужин. На такие звы он не причудлив и отказываться не охотник. Дорогою искуплю я на другую половину пару кур, утку и гуся. Тут-то поговорим мы с Паисием о нашем деле и, надеюсь, не без успеха; а мы с тобою будем иметь тот барыш, что и сами поедим и попьем по-дьячковски.

Не для чего пространно рассказывать о пирушке, происходившей в доме Варула; за полными чарками заключен союз, целию коего было определение дьячковского сына Неона в семинарию. К концу сего ночного празднества восторженные друзья, обнимаясь между собою и обнимая меня, поздравляли с поповским саном. На другой день отец Варух с своим сыном представлены ректору, приняты благосклонно, и Неон получил дозволение набираться мудрости в семинарии и жить в тамошней бурсе.

Есть многие сельские и иногородные отцы, кои, охотно желая видеть сыновей своих учеными, по бедности не в силах содержать их в городе, где понадобилось бы платить за квартиру и за пищу. Чтобы и таковым доставить посильные способы к образованию, то помощь вкладов щедрых обывателей и по распоряжению монастырей при каждой семинарии устро-

ены просторные избы с печью или двумя, окруженные внутри широкими лавками; на счет также монастырей снабжаются они отоплением, и более ничем. Сии-то избы называются бурсами, а проживающие в них школьники – бурсаками. Старший из студентов, по воле ректора, управляет другими, неся величественное имя консула, в том предположении, что и начальный Рим был не что иное, как бурса.

Варух и Варул ввели меня торжественно в сей вертеп премудрости и отрекомендовали консулу и будущим совоителям; а чтоб я милостивее был принят, то отец мой вручил консулу полтину денег, прося приготовить праздничный ужин. После чего, снабдя меня соломенным мешком и какою-то латинскою книгою на польском языке^{2} и благословя гривною денег, сказал:

– Неон! не печалься, друг мой! Я оставляю тебя в надежном пристанище.

Бойся бога, чтить старших и слушайся, не лги и не крадь, – тогда ты угоден будешь и богу и людям. Учись прилежно, когда хочешь быть благополучен.

Каждый месяц ты меня увидишь или, по крайней мере, обо мне услышишь. Друг мой Варул не оставит тебя своею милостию. Прощай.

Обняв меня, оба друга удалились. Стоя у дверей бурсы, я провожал их слезящими глазами; когда же

скрылись, то я вздумал осмотреть кругом новое мое обиталище. Это был сарай, состроенный из плетня, обмазанного изнутри и снаружи желтою глиною; крыша была соломенная; двери и четыре круглые окна освещали сие здание. Впереди имело оно обширный пустырь, поросший высоким бурьяном, однако торчало на оном с десятков полуусохших шелковичных деревьев; с задней стороны примыкалось к высокому берегу реки Десны; правая боковая сторона граничила с забором огромного сада, принадлежащего монастырю, в коем помещена и семинария; левая – с чьим-то пространным огородом, на углу коего стоял шинок.

Осмотрев сие пленительное место, я вошел в бурсу и уселся в углу на лавке, на своем ложе. Консул – это был высокий, дородный, смуглый мужчина с большими черными усами – лежал на лавке на войлоке, склонив голову на связку травы и держа в руках претолстую тетрадь. Из двадцати пяти моих товарищей, кои все были гораздо возрастнее меня, человека с четыре уже усланы для закупки вещей, нужных к ужину, а остальные заняты были различным образом. Иной басил ужасным голосом духовную песню; другой брэнчал на балалайке, под звук коей человека два-три скакали вприсядку; некоторые боролись или бились на кулачках; словом, всякий делал что хотел, при всем том один другому не мешая.

Солнце клонилось к западу; купчины возвратились, принеся с собою полбарана, мешок со пшеном и деревянную баклагу с пенником. Консул сейчас вскочил и, овладев баклагою, отведал; и, похваля напиток, пошел с нею на берег Десны, куда и я, по данному знаку, вместе со всеми ему последовал.

Три кашевара развели огонь, утвердили тревожный таган, рассекли баранину на куски по числу братии и начали стряпню. Между тем консул, отделившись с шестью товарищами, сел на берегу и начал целоваться с баклагою, не забывая своих собеседников; прочие, позади коих был и я, разлегшись на траве, точили балы, рассказывали сказки и присказки и производили самые чудные телодвижения. Видя, что консул не делал их участниками в осушивании баклаги, я у соседа своего спросил тому причину.

— Мы еще не имеем на то права, — отвечал он с тяжелым вздохом, — ибо мы все только этимологи, поэты и риторы, и оттого-то не смеем, под опасением строгого наказания, пить вино, курить табак и отращивать усы. А как консул Далмат и его товарищи все философы, то они на сии преимущества имеют всякое законное право.

Не понимая, что значат сии неслыханные мною слова, я замолчал и продолжал внимательно смотреть и слушать. Каша поспела, и котел поставлен на

лужайке. Консул с своими товарищами сели около него, а прочие составили второй круг; всякий вытащил из кармана длинную ложку и начал упражнять свои челюсти сколько было силы. Хотя отец мой и забыл снабдить меня ложкой, но консул приказал младшему из бурсаков делиться со мною своею. Котел опорожнен; все удалились в бурсу и легли на лавках. Я также растянулся на своем мешке и скоро уснул крепко.

На следующее утро консул, сопровождаемый своими подчиненными, отправился в семинарию и представил меня префекту^{3}. Это был преважный протопоп и составлял второе лицо после ректора. Меня отвели в надлежащий класс, где и начали преподавать латинскую, польскую и русскую азбуку. Менее нежели в час прозорливый учитель, католический монах, догадался, что я церковные книги читал столько же проворно и внятно, как стихарный дьячок, а посему дальнейшее в сем упражнение признано излишним, а советовали мне всеми силами налечь на изучение языков латинского и польского. Перед полуднем раздался на дворе семинарском звон колокола; учитель и ученики поднялись с мест, и первый дал мне знак приблизиться к нему и протянуть обе руки, распрямля ладони. Я исполнил, и наставник с улыбкою удовольствия вlepил в каждую ладонь по полдюжине резких ударов

деревянную лопаткою.

После сего пропета торжественно молитва, и всякий пошел домой, а я в бурсу.

Дорогою нагнал меня один из моих товарищей, по имени Кастор, которому со слезами рассказал я о наказании, невинно полученном от учителя.

— Друг мой, — сказал он засмеявшись, — ты еще нов и неопытен. Дюжина добрых ударов, тобою полученных, совсем не есть знак учительского гнева, а, напротив, доказательство особенного благоволения. Здесь теперь такое заведение, чтобы всякого ученика, вступающего в сей храм мудрости, приучать к кротости и терпению. Хотя обыкновение сие почти ни одному новичку не нравится, но к нему привыкают, а особливо, зная, что количество полученных ударов приближает каждого к лестной цели быть скорее диаконом или и попом.

— Но, — говорил я подумавши, — отец мой сказывал, что в семинарии обучается много дворянских и купеческих сыновей, которые никогда не думают быть ни дьяконами, ни попами.

— О, — сказал товарищ, — на таковых наше начальство не обращает никакого внимания. Впрочем, заметь, Неон, — я по дружбе тебе это открою, — если ты будешь терпелив, послушен и совершенно предан воле учителя, то испытание сие продлится недол-

го; в противном случае оно будет бесконечно, и ты в тридцать лет будешь не что другое, как сельский дьячок, сколько бы учен ни был. Обладая же помянутыми мною добродетелями, ты скоро получишь выгодное место.

Разговаривая таким образом, вступили мы в бурсу.

Глава II

Способы к содержанию

Привыкши у отца никогда желудок не доводить до ропота, я крайне запечалился, не видя и следа обеда; но, вспомня, что у меня в кармане целая гривна, я тотчас сделал план к удовлетворению алчбы и, вышед из бурсы, опрометью бросился к площади, граничащей с семинариею, где поутру еще мельком заметил множество торговок с хлебом разного звания. Я купил за целую копейку большую булку и принялся насыщать себя с великим удовольствием; еще добрый ломоть оставался в руке моей, когда вступил я в свою обитель. Немало испугался я, взглянув на консула. Он ходил по сараю большими шагами и, обратясь ко мне, спросил свирепым голосом:

— Где был ты, негодница?

С трепетом показал я остаток булки и не мог промолвить ни одного слова, сколько от испуга, столько и от того, что рот был полон.

— Понимаю, — вскричал он, — сей бунтовщик, никому не сказавшись, ходил на рынок. Ликторы! сейчас нарежьте два пука крапивы и накажите виновного!

Двое из бурсаков, которых называли риторами, бросились в бурьян и вмиг возвратились с пучками

зрелой крапивы; двое других кинулись на меня, повалили на пол и разоблачили, а первые двое начали хлестать весьма исправно. Я кричал как отчаянный; но они не прежде выпустили меня из рук, пока не увидели, что крапива измочалилась. Уединясь в темный угол, я плакал неутешно. «Если такими средствами, – думал я, – приобретается премудрость, столько прославляемая отцом моим, то пропадай она, негодная. В тысячу раз лучше оставить всю надежду быть когда-либо дияконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».

Быть может, я и надолго остался бы в таком пасмурном расположении, если бы не рассеял меня вошедший бурсак Кастор, которого за веселый нрав любил я с первого еще раза.

– Что это значит, Неон? – спросил приятель, – что ты и до сих пор печалишься о безделице? Поверь, друг мой, что такие происшествия не заслуживают внимания.

Вместо ответа я показал ему спину.

– Да, – продолжал он с важностию, – ты изрядно исписан; но это пройдет, и не заметишь, как пройдет.

Когда я жаловался, что консул во зло употребляет возраст свой, силу и право пить вино, курить табак и носить усы, Кастор сказал мне:

– Напрасно так думаешь, приятель, и, видно, не знаешь наших постановлений. Послушай же: почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим, и консул управляет оным вместе с сенатом. В консулы избирается старший из богословов, а прочие богословы и философы образуют сенаторов; риторы составляют ликторов, или исполнителей приговоров сенатских; поэты называются целерами, или бегунами, которые употребляются на рассылки; прочие составляют плебеян, или чернь— простой народ. Видишь, как все это прекрасно устроено! Если бы консул сделал какое позорное дело, то сенаторы доносят о том ректору, и тот немедленно снимает с него сей величественный сан и, наказав по мере вины палками, розгами или и батожем, обращает в звание сенатора. Зато и консул имеет свои выгоды и преимущества.

Именно: если кто провинится из нас, но немного, как, например, сегодня ты, то он один своею властью определяет меру наказания; в случае же вины важной он созывает сенат и с ним вместе рассуждает о деле и произносит кару. Кроме одежды и обуви, у нас все общее и хранится в каморке, пристроенной к бурсе, а ключ всегда у консула. Главный промысел наш состоит в пенни под окнами мирян церковных песней или — если кто столько смышлен — в проворстве рук.

Мы получаем мукою, свиным салом, птицами, зеленью разного рода и отчасти деньгами, которые обыкновенно переходят от нас в руки шинкарки Мастридии, торгующей вблизи от нас. По сим основаниям самыми злыми преступлениями почитаются у нас, если кто изобличен будет в утайке хотя одной добытой копейки или попадется в сети на ручном промысле.

Так поведал Кастор о законах сего малого Рима, как прибежал целер с объявлением, что каша готова.

— Ин пойдем, Неон, — сказал Кастор, вытаскивая из кармана ложку.

— Спасибо за ласку, — отвечал я, — пропадайте вы все и с кашею; мне есть не хочется.

— Упаси тебя угодник божий, соименный тебе Неон, нейти со мною! Разве тебе хочется еще раз быть сечену?

— А за что?

— За то, что не хочешь с нами есть каши; это значило бы противиться уставам общества, о чем ужасно и помыслить.

Нечего было делать: я участвовал в общей трапезе, а после в купанье и отдыхе. Но лишь только раздался звон колокола на семинарской колокольне, как и в бурсе раздался басистый голос консула:

— Ребята! на работу!

Тотчас четыре философа, взяв на плеча по огром-

ному мешку, стали поодаль один от другого. Консул, стоя против них, начал пальцем указывать то на того, то на другого из прочей ватаги, и вмиг к каждому мешконосцу присоединилось по несколько риторов, поэтов и инфимов. Я попал под команду Сарвила, философа веселого, смелого, собою дородного и сильного, но весьма вспыльчивого, так что, кроме сенаторов, все в бурсе его трепетали. Отряды сии двинулись в молчании, и младшие шли впереди, за ними старшие, а ход заключался философом. Как скоро прошли мы свой пустырь, то разделились на четыре части, и каждая небольшая шайка сия пошла по особой улице. Мы шли тихо, а философ, наш вождь, мерными шагами и с великою важностию, повертывая голову направо и налево. По приказанию его мы остановились под окнами одного видного дома, и он, подозвав меня, сказал:

— Это дом зажиточного купца; поди спроси!

Опрометью устремился я к воротам, отворил калитку и вошел на большой двор. У самого входа в дом стоял большой стол, за коим сидели: хозяин, судя по платью, жена его и дети, и все полдничали. Сняв бриль^{4}, с робостию подошел я к столу и трепещущим голосом сказал хозяину:

— Тебя приказано спросить.

— О чем и кто?

– Философ Сарвил, а о чем – не знаю!

Купец и жена его улыбнулись, а дети захохотали.

– Твой философ, – сказал хозяин, – по-видимому, не весьма разумный человек, что посылает спросить у меня, не сказавши о чем. Где этот философ?

– За воротами!

– Так поди же ты спроси, чего он от меня хочет?

Я выбежал на улицу и на вопрос: «Что сказал хозяин?» – отвечал с потупленными глазами:

– Он сказал, что ты, по-видимому, не весьма разумный человек, когда послал меня спросить у него, не сказавши о чем.

Философ заскрипел зубами.

– Ах ты, проклятый, – вскричал он и такую отвесил мне пощечину, что у меня глаза ушли под лоб и я опрокинулся на землю.

– Поди ты, – сказал он другому бурсаку, – и спроси.

Сей бросился как стрела, в один миг возвратился и воззвал громогласно: «Дозволяется!»

Скинув бремя, вступили мы на двор и стали полукругом около стола сажени за две. Тут раздался ужасный рев Сарвила, так что все вздрогнули, прочие ему подтянули, и начался духовный концерт. Я взглянул на своего вождя, и ужас обнял меня. Представь себе, кто хочет, высокого черного мужчину, с разинутою пастью, выпучившего страшные глаза и дерущего горло,

шевелия длинными усами. Трепеща всем телом, я вообразил: что будет со мною, если сей ужасный философ даст другую пощечину? Я погиб невосвратно! Тут не мог я удержать слез и утирал их кулаками.

Концерт кончен. Сарвил, подошед к самым хозяевам, протянул руку и проговорил речь, которую кончил желанием хозяину и хозяйке с чадами и домочадцами счастья и многолетия. Едва замолк он, как вся ватага воскликнула многая лета.

Когда все утихло, то ласковый хозяин поднес философу большую чарку водки и сунул в руку сколько-то денег; по приказанию доброй хозяйки в наш мешок высыпана мерка гороха, впущена часть свинины и оставшийся от полдника большой кус жаркой говядины.

Когда философ низко кланялся хозяевам, призывая на дом их благословение божие, хозяйка, подзвав меня, спросила весьма ласково:

— О чем плачешь, мальчик?

— О том, — отвечал я, взглянув на Сарвила, — что не знал, зачем был сюда послан.

— Разве тебя за это побранили?

— Побили, и весьма больно!

— Это нехорошо, — сказала она Сарвилу, — и тебе бить такого мальчика даже стыдно.

После сего она, взяв со стола небольшой пирог, по-

дала мне, сказав:

– Поешь, голубчик, и не плачь.

Мы торжественно отправились на улицу. В то мгновение, как услышал я стук запертой калитки, к величайшему удивлению почувствовал, что вишу на воздухе на аршин от земли и верчусь кругом; невидимая рука держала меня за пучок, и ловкий удар поразил по макуше. Я поднял такой пронзительный вопль, что демон, меня истязавший, опустил на землю и поставил на ноги. Едва я мог стоять. Вдруг слышу голос:

– Какой ты бессовестный студент, что так мучишь безвинного малого!

Это был голос ласкового купца.

– Постой, – продолжал он, – я сейчас иду к ректору посмотрю, как он рассудит об этом поступке.

Философ переменился в лице и стоял неподвижно. Хотя для меня и ужасен был Сарвил и, конечно, не худо было бы, если б его порядком пощуняли, но имя ректора было для меня еще ужаснее. Посему я отведен был в бурсу и отдан консулу, коему объяснено бесчеловечие, оказанное мне моим полководцем.

Консул обещал воздать удовлетворение и, по выходе доброго купца, лег на свой войлок и закурил трубку, не говоря мне ни слова и даже не глядя на меня.

По закате солнечном все четыре ватаги наши почти в одно время возвратились. Кисы их были довольно

наполнены^{5}, и когда все осмотрено и деньги вручены консулу, то он отвел в угол Сарвила и начал с ним шептаться.

По прошествии малого времени консул громко произнес:

– Не правда ли, братцы, что для перемены в пище не худо было бы на вечер сварить кашу тыквенную?

Все одобрили такое предложение. Тогда он возгласил:

– Неон, Памфил, Епифан и Аверкий залезут в ближний огород и будут рвать там тыквы и что попадетсЯ, ибо все устроено на потребу человека, а риторы, Максим и Лукьян, станут у забора с мешками для принятия добычи.

Когда смерклось, то будущие мои товарищи в сем ночном подвиге начали приготавливаться, то есть скинули халаты и засучили рукава. Хотя для меня крайне было ново и отвратительно такое художество, но что будешь делать? Я приготовился по их примеру, и все отправились на место атаки. Риторы, яко старшие, назначили каждому из нас место, где должно перелезть плетяной забор, и мы мигом очутились на огороде.

Случись же, что передо мной простирались гряды с арбузами, дынями и огурцами. Давненько не случалось мне отведывать плодов сих, и, рассчитав, что добычи трех моих сотрудников достаточно будет на

всю нашу ученую шайку, я, в нескольких саженьях от забора, севши на гряде, начал насыщаться огурцами, предположив, по окончании сей первой потребности, сорвать пару хороших арбузов и дынь и предаться с ними бегу. Когда огурцы уже более не шли мне в горло, то я, оторвав по преднамерению по паре арбузов и дынь, хотел встать; но не тут-то было: нога моя была прикована к земле. Ужас обнял меня, и я испустил резкий вопль. Товарищи мои как прах рассеялись, и из борозды, подле самых ног моих, поднялся преужасный мужчина с престрашными усами. Я оцепенел и сидел на гряде неподвижно.

— Как осмелился ты, — спросил он грозно, — молодой мошенник, залезть в огород сей и делать в нем такое опустошение? Кто ты?

Пришед понемногу в чувство, я встал, поклонился ему в ноги и рассказал все похождения, случившиеся в сей несчастный день до настоящей минуты.

— О, проклятые бурсаки! — вскричал он, — вы для огорода моего гибельнее, чем воробыи и грачи для вишневого сада! Но мне тебя жаль! Ты еще молод, может быть, рожден с честными склонностями, а попавши в скопище воров и мошенников, рано или поздно, непременно сделаешься нарядным плутом^{6}.

Хотя я тебя и прощу, но все товарищи приколотят тебя до полусмерти. Постой, я нашел средство изба-

вить тебя от беды; но только дай мне слово никогда не посещать моего огорода. Когда захочешь полакомиться арбузом или дынею, приди явно в дом мой – вот в конце огорода – и попроси: никогда не откажу.

Если же еще поймаю на воровстве, то пребольно высеку, а в бурсе и того более тебе достанется. Поди перелезь через забор и жди меня, а я сорванные тобою арбузы и дыни передам тебе. Когда тебя спросят о причине произнесенного вопля, то скажи, что в ноге сделалась судорога, и ты, не могши встать, боялся быть пойман. Ступай с богом! Помни: имя мое Диомид, по прозванию Король.

Как сказано, так и сделано. Когда я подошел к берегу реки, то при свете разложенного огня увидел полный сенат, собранный для моего суждения.

Приметив меня, все подняли смешанный вопль; но когда я подошел к огню ближе и консул усмотрел мою добычу, то радостно вскрикнул и спросил:

– Каким чудом вырвался ты из рук лукавого хозяина?

– Я никогда и пойман не был!

– Отчего же так горестно возопил, что все товарищи твои разбежались?

– Вольно им было разбежаться; а я вскрикнул от внезапной боли в ноге, в коей оказались судороги. По окончании оных я встал с своею добычею и счастливо

переправился через забор. Я принес бы всякой всячины гораздо больше, но не в чем было, а в пазухе и в руках никак нельзя более.

– Верю, – отвечал ласково консул, – но и сего довольно. Вперед только будь осторожнее и пустяками не пуган товарищей.

После ужина все улеглись; но происшествия дня сего были для меня так диковинны, что голова кружилась, и я не мог заснуть гораздо за полночь.

Глава III

Неудачи

На другой день явился я в классе. Помня вчерашние Кастановы рассказы, что здесь бьют по рукам лопатками за излишнее внимание и прилежность, я решил избежать сей лестной награды и начал беспрестанно вертеться на скамейке, толкать товарищей, без нужды кашлять, чихать и делать всякие непотребства. Учитель только смотрел на меня, не говоря ни слова. Когда урочное время прошло, то он по-прежнему подозвал меня к себе, велел протянуть руки и разнять ладони; после чего влепил в каждую по дюжине уже ударов лопаткою. По пропетии молитвы все разошлись по своим местам.

— Что за диковинная вещь! — говорил я со слезами, потирая горящие ладони, — за прилежание бьют и за леность бьют! Видно, товарищ мой Кастор сам ничего не знает. Нечего уже у него более и спрашивать, кроме разве о уставах бурсы.

Точно так прошли остальные три дни в неделе; но как я — сколько малолетен ни был — догадался, что если уже необходимо должно мне быть биту, то пусть лучше бьют за прилежание и успехи, нежели за леность и невежество: почему знать, думал я, может

быть, за это скоро удостоен буду в диаконы!

На сем основании я сделался столько прилежен, внимателен, рачителен ко всему, преподаваемому в классе, что не мог бы уже увеличить сих качеств, хотя бы отбили лопатками обе руки по самые локти, но, к великому моему удивлению и горести, удары каждый день увеличивались, так что к субботе ладони мои распухли, как подушки. В сей роковой день, по окончании классного учения, двое сторожей внесли скамейку и поставили посередине комнаты, двое явились с пучками лоз. По мановению наставника они схватили меня, разложили на скамье и начали оказывать удальство свое. Нет! это уже не крапивные удары в бурсе!

Разумеется, что я вопиял сколько сил доставало, призывал всех святых во свидетели своей невинности; тщетно: удары сыпались градом, и вскоре я не мог уже кричать. Истязание прекращено, я снят со скамьи и одетый подведен к наставнику; но как не мог держаться на ногах, то два сторожа меня поддерживали. По данному знаку все школьники удалились, и тогда учитель взглянул на меня с милостивою улыбкою, произнеся:

— Я тобою весьма доволен, Неон Хлопотинский! Ты учился весьма прилежно, вел себя скромно и в течение всей седмицы доказал примерное терпение и

послушание, – добродетели, необходимые для всякого человека, грядущего в мир, а особенно для готовящего себя в духовное звание. Сей день есть последний день твоего испытания. Продолжай учиться с возможным рачением, веди себя скромно и честно, повинуйся установленным над тобою властям, и ты будешь счастлив. Я уже наказал твоему консулу, чтобы он имел особенное за тобою наблюдение. Вот тебе злотый.¹ Употреби его на сродные летам твоим лакомства. Я буду иметь особенное к счастью твоему внимание.

Прощай и иди с миром.

Я поцеловал руку сего пастыря, встал, вышел и в один миг выбежал за монастырские ворота. Вертясь на незабвенной скамейке, я думал, что нескоро в силах буду и ползать, а теперь сделался столь тверд на ногах и крепок во всем теле, что мог скакать, как жеребенок. На рынке купил я две булки – одну для себя, а другую для Кастора, ибо в продолжение целой недели он более всех оказывал мне доброхотства.

С сего самого времени консул Далмат и сенаторы обходились со мною милостивее противу прежнего. Учение, отдых, пение по дворам и под окнами – все шло наилучшим образом. Когда моим начальникам приходило в голову полакомиться арбузами или ды-

¹ 20 копеек серебром, польская монета.

нями с огорода нашего соседа и я назначаю был в числе прочих рыцарей к сему завоеванию, то всегда отговаривался неудачей первой попытки, происшедшей от судорог в ногах. Казалось, они довольны были моими причинами. Однако же, помня благодеяние, оказанное мне Диомидом, я жалел о убытках, какие причиняли ему мои товарищи, и решился быть благодарным.

В скором после сего времени, когда уличные певчие должны были отправиться на работу, я объявил консулу, что чувствую боль в горле и не могу участвовать в общепольном деле, почему просил позволения проходиться по городу. Получив оное, я с осторожностью дошел до дома Королева и вошел на двор. Первый предмет, представившийся глазам моим, был молодой парень, занимавшийся чем-то в открытом сарае, наполненном огородными орудиями и самыми плодами.

— Что тебе надобно, мальчик? — спросил он.

— Я хочу видеть хозяина!

— Ему недосуг — он спит, дабы не спать ночью. Пора за ум взяться!

— Однако ж ты должен разбудить его, и он скажет тебе спасибо!

— Да ты можешь и мне все сказать.

— Никак нельзя!

– Хорошо; пойдём же вместе. Если он меня выберет, то я порядком намну тебе чуб.

Дом Короля был довольно просторен; он разделялся на две половины сенями. По одну сторону была кухня с перегородкою для работника или работницы, по другую – светелка, также с перегородкою. В сей-то половине отдыхал Король, и работник разбудил его. Хозяин вышел, и я, поклонясь ему в пояс, сказал:

– Знаешь ли ты меня?

– Нет!

– Я тот маленький вор, которому некогда оказал ты столько милосердия, отпустив с двумя арбузами и столькими ж дынями.

– Помню, помню, – сказал Диомид весело, – я обещался тебя потчевать, только бы ты не крал. Кузьма! принеси из сарая хорошую дыню!

Кузьма удалился.

– Нет, Диомид, – говорил я, – не с тем пришел к тебе, чтоб лакомиться, а попросить у тебя совета. Всякий раз, когда бурсаки делают заговор опустошать огород твой, я бываю сего свидетелем. Мне больно слушать, как они условливаются обижать такого доброго человека; но как помочь тому? Как я могу тебя о том предупредить? Вот зачем я пришел к тебе.

– Ты – добрый малый, – сказал Король, осмотрев меня внимательно. – Как твое имя и чей сын? Узнав

и то и другое, сказал:

– Я знаю Варуха, ибо иногда случалось мне бывать в селе Хлопотах, и я не мог надивиться его громогласию. Послушай же! Когда пожелаешь уведомить меня о злоумышлении против огорода, то возьми камешков по числу заговорщиков, подойди по берегу Десны к углу плетня и старайся ударить ими в стену дома; тогда я сейчас возьму свои меры.

Между тем принесена дыня и съедена.

– Я дал бы тебе на дорогу и две, – сказал Король, – да боюсь, чтоб твои товарищи не возымели подозрения.

– У меня есть свои деньги, – сказал я с простосердечием, – и они о том знают.

– Хорошо, – молвил Диомид, – пойдем же, ты получишь обещанное.

Получив две большие спелые дыни, окольными улицами пришел я в бурсу и одну из них подарил консулу. Приняв сей дар с улыбкою, он спросил:

– Где ты взял такие прекрасные дыни?

– Ты знаешь, – отвечал я, – что у меня есть собственные деньги и что на рынке всего довольно.

Когда возвратились певчие и открыли свои сумы, то в числе прочей провизии было несколько арбузов и дынь, но очень малых и незрелых. Консул, с торжеством показывая свою дыню, спросил:

– Какова?

– Хороша; но где ты взял?

– Мне подарил Неон.

– А он где взял?

– Купил на рынке.

– Так купил же! Если нам покупать дыни и арбузы, то от нашей бурсы панье Мастридии ни копейки в год не достанется!

– Но что нам мешает, – воскликнул сенатор Сарвил, – не платя денег, иметь такие же хорошие дыни? Разве огород не под боком? Клянусь, что в эту же ночь после ужина я иду сам на охоту; кто со мною?

– Я, я, я! – отвечали в один голос сенаторы Софрон, Мигдон и Никанор.

В короткое время присоединились к ним два ликтора: Маркелл и Макар.

Все они были люди взрослые и дородные. Беда огорода Королеву!

Когда настали сумерки и очередные братия стали на берегу Десны варить похлебку, а прочие занимались чем кто хотел, я собрал шесть камушков, закрался на угол огорода и все удачно перекинул к дому Короля. Вмешавшись потом в толпу собеседников, я нашел, что уже принесена была баклага с вином для придания бодрости будущим собирателям пошлин, и хотя, по закону бурсы, риторы не имели права прика-

саться к оной, но на сей раз сделано исключение, и обрекшие себя на подвиг были сопричислены к сонму избранных.

Полночь наступила. Шесть дынеграбителей, скинув сертуки (ибо, по званию философов и риторов, им предосудительно уже ходить в халатах), отправились к своему делу, а человек десять, в числе коих был и я, любопытствуя знать, что из сего будет, с мешками подошли к забору в разных местах, означенных самим консулом, который в таком важном случае быть свидетелем почитал за долг и удовольствие.

Находящиеся в огороде сначала рассыпались в разные стороны. При свете луны видно было каждое их движение. Они терзали растения, корни и что им ни попадалось, Наконец, обремененные добычею, соединились и в порядке шли к забору. Вдруг, саженьях в пяти от оногo, как грибы из земли, человек с двадцать и более возникли с рогатинами, палашами и окружили онемевших философов и риторов.

– Сдавайтесь! – вскричал грозным голосом Король, взмахнув над головами их саблею, – иначе вы погиб-
ли.

Храбрые бурсаки затрепетали; из рук их покатились тыквы, арбузы, дыни; посыпались огурцы, морковь, свекла и репа. Каждого из них взяли под руки и повели к хате Королевой; оставшиеся без дела караульные

забирали в полы платьев своих оброненные овощи. Они все скоро скрылись, и всеобщая тишина водворилась.

Консул Далмат, скрежеща зубами и кусая губы, тихими шагами приближался к бурсе; мы все в глубоком молчании за ним следовали. Двери были заперты накрепко; на печку поставлен ночник, чего по летнему времени доселе не случалось. Нам, то есть остальным риторам, поэтам и низшим, повелено занять свои места на лавках, а консул с несколькими сенаторами держал тайный совет в другом углу храмины. В чем состоял совет сей и чем кончился – мне неизвестно; ибо я, радуясь, что храброму философу Сарвилу за данную мне пощечину и поднятие за пучок на воздух изрядно отплачено будет, спокойно растянулся на своем соломенном ложе.

Глава IV

Безначалие

И действительно. При собрании всей семинарии и бурсы наши философы и риторы добрым порядком были истязаны. Консул поведен был к ректору, и приметно было, что ему за слабое смотрение и потворство не менее досталось, но только келейно. В бурсе водворилось глубокое уныние, и наши уличные певчие целую неделю не смели показаться на улице, опасаясь насмешек от семинаристов, с которыми была у нас непримиримая вражда. Мы оскудели в жизненных припасах, и ропот обнаружился; да сего и ожидать должно было, ибо с голодом труднее ладить, чем с чертом. За что в такой беде приняться?

Консул собрал сенат, дабы поразмыслить о сем деле. Они все были люди неглупые и потому рассудили, что приняться по-прежнему за пение под окнами и оказывание речей гораздо безопаснее, чем лазить по ночам в чужие огороды.

Вследствие сего определения в начале другой недели после истязания наших охотников до лакомства раздались по-прежнему завывания наши на городских стогнах, и недостаток в припасах прекратился. Дела восприяли обыкновенный ход; успехи мои в

учении день ото дня увеличивались, а с сим вместе и любовь ко мне учителя возрастала. Время от времени он делал мне небольшие подарки, чему мои товарищи немало завидовали. Так прошло блестящее лето, и наступила благословенная осень. Говорит же пословица: горбатого исправит одна могила. И это справедливо: не Сарвилу ли философу досталось за разорение огорода Королева, однако ж с прошествием нескольких месяцев все забыто. В один вечер перед ужином, когда мы в ожидании одного на берегу Десны куролесили различным образом, Сарвил, возвыся голос, сказал:

— Друзья мои! после осени настанет зима, и запас нужен. В сале и пшене, конечно, недостатка не будет, если мы все не онемеем, но не мешало бы позапаситься кое-чем и другим. Обходя не один раз около ограды женского монастыря, я заметил великое множество груш и яблонь, обремененных спелыми плодами; ветви касаются земли. Что, если мы похлопочем несколько четвериков насушить на зиму, а?

— Конечно, весьма бы не худо, — сказал протяжно консул, — но кто возьмется за сие дело?

— Я заметил, — продолжал Сарвил, — что из всей нашей братии нет такого удалого молодца лазить по заборам и деревьям, как Неон Хлопотинский. Это не малый, а сокровище в подобных случаях. Мы с ним от-

правимся. Я помогу ему перелезть ограду, через которую, впрочем, и борзая собака перескочить может. Он нарвет яблоков и груш целый мешок, который возьмет с собою, передаст ко мне посредством веревки, которую опущу к нему, а после и его вытащу. Не обдуманно ли мое предприятие?

Мне крайне страшно было отваживаться на такое дело; я возражал сильно; но никак не мог противостать красноречивым доводам моего философа. Мне представилась мысль, что не проведал ли он хитрости моей, которая доставила ему изрядные побои, и не хочет ли теперь отомстить; но как сказать о сем явно? Не значило ль бы это себя обнаружить? Ничего не оставалось, как только повиноваться!

Около полуночи прибыли мы к стенам монастырским, окружающим садовую сторону. Светлый месяц катился по голубому небу; глубокая тишина царствовала по всем окрестностям. С помощью Сарвила спустился я в сад и начал щипать яблоню в данную мне торбу.² Как скоро она была полна, то я, посредством сказанной веревки отправив ее к Сарвилу, ожидал, что он опять спустит ее, дабы вытащить меня; вместо сего он бросил мне назад пустую торбу и сказал:

— Теперь нарви дуль и посылай ко мне. Хотя неохотно, но должен был исполнить требуемое. Кинув опять

² Небольшой мешок.

ее пустою, он сказал:

– Ты знаешь, что у меня довольно большой мешок, и две твои торбы не составляют половины: по крайней мере надобно еще две. Набери теперь яблоков, а после того опять наберешь дуль.

Я крайне рассердился, видя, что он так забавляется мною, а может быть, умышляет что-нибудь и худшее. Сейчас родилась во мне мысль о мщении.

Подошед к стене, я сказал:

– На низких ветвях я более не нахожу уже ни дуль, ни яблоков, а до верхних без помощи других не могу добраться. Спустись, пожалуй, в сад и пособи мне взобраться на вышние ветви.

После небольшого молчания я увидел, что мой философ перекинул веревку и по ней немедленно спустился.

– Где же ты?

– Здесь!

Когда он пробирался на голос и был уже саженьях в трех от стены, я стороною на цыпочках добежал до веревки, взобрался на стену как кошка и лестницу сию подобрал к себе.

– Где же ты?

– Здесь!

– Кой черт, – сказал во гневе Сарвил, приближаясь к стене, – где ты?

– На стене!

– Сейчас спусти веревку, или я тебя...

– Нет, – сказал я с видом добросердечия, – я набрал торбу яблоков и торбу дуль; так справедливость требует, чтобы и ты потрудились набрать хотя одну, а после вылезешь по веревке.

– Пстой же, бездельник, – проворчал он, – дай мне до тебя добраться; чуб твой не чуб и пучок не пучок!

Едва произнес он последние слова, как невдалеке послышался говор людской, ближе и ближе к нам подававшийся. Сарвил, подобно рыси, вскочил на вершину яблонного дерева, а я притаился за один из зубцов, коими украшена была вся монастырская ограда.

В скором времени, при полном сиянии месяца, увидел я ужасного дьявола, с хвостом и с рогами, тащившего подруку руку женщину в одной рубашке, с распущенными волосами, из чего заключил я, что она ведьма. Колени у меня задрожали и пучок поднялся дыбом. Я стиснул зубы и крепко уцепился за стенной зубец.

– Нет сил более, любезный Леонид, – говорила слабым голосом ведьма, подошед под яблоню, на коей скрывался Сарвил, вероятно, не в лучшем положении, как и я на стене. – Просидев в монастырском заточении более двух лет, – продолжала ведьма, – я ослабела и не могу идти далее!

– Любезная Евгения! – сказал страстным голосом черт, – съешь хотя одно яблоко с сего дерева, и оно подкрепит твои силы.

При сем, сорвав пару яблоков и подавая ведьме, говорил:

– До угла сей ограды несколько шагов; там стоит моя бричка. В двадцати верстах отсюда нашел я место, по-видимому, сделанное для нас нарочно и природою и искусством; там назначил я дом для себя и поселил с десяток совершенно преданных мне челядинцев. Жилище сие укроет нас от несправедливого гонения отца твоего. Там будем мы прославлять благость провидения, любить друг друга и делать ближним столько добра, сколько можем.

– Так, друг мой, – сказала ведьма, обнимая черта с нежностью, – как скоро я теперь тебя вижу, держу в своих объятиях, то почла бы себя благополучною, если б жестокая потеря сына не терзала меня беспрестанно.

Ах, Неон, Неон! (При произношении ведьмою сего имени я вновь задрожал, и пучок целым градусом поднялся выше.) Что, дражайший друг! ты ничего о нем не проведал?

– Почти ничего, – отвечал демон с тяжким вздохом, – а что и узнал, то служит только к большей горести. Беспутной вдовы-попадьи, попечению коей вве-

рили мы новорожденного, уже нет на свете, а перед смертью она призналась на духу, что из корыстолюбия повергла дитя наше на распутье и о последствиях ничего не знает.

Ведьма, слушая сии слова, вероятно, тихонько плакала, ибо я заметил, что она, склонясь на грудь дьявола, утирала рукавом глаза. После сего злой дух взял ее в охапку и понес к углу ограды. Не понимаю, каким образом они вдруг очутились на верху стены — да и чего не может сделать сила нечистая?

— и я вскоре услышал топот лошадей и стук колес.

У меня отлегло на сердце, колена перестали дрожать и пучок улегся по-прежнему. Осмотревшись кругом, я увидел, что Сарвил, нажав вне ограды кучу разного дрязгу, легко мог взмоштиться на стену, и, утвердив за зубец веревку, спуститься по ней в сад. Если и теперь спустить ее, то он, конечно, сейчас взберется наверх и, будучи в сердцах и в испуге, исполнит с лихвою обещание, и пучку моему быть оторвану с корнем; будучи же высок, а притом в саду довольно найдет способов избавиться от хлопот, взобравшись на ограду и спустясь наниз по веревке.

После сего краткого рассуждения я спустился наниз, взвалил на плеча мешок и бросился бежать со всех ног. В бурсе все спали. Съев вдоволь принесенных мною плодов, я уложил мешок под лавку и лег

опочить от толиких ночных трудов, размышляя попеременно о черте, ведьме и Сарвиле.

Уже было довольно не рано, но я находился в глубоком сне, как разбужен был ужасным смятением, происшедшим в бурсе. Протираю глаза и вижу монастырского слугу, пришедшего звать или, лучше сказать, вести консула Далмата к ректору. Консул недоумевал, что бы за причина была такой ранней повестки. Проходя мимо меня и видя под лавкою знакомый ему мешок, спросил со смущением:

— А где Сарвил?

— Не знаю! я оставил его в саду монастырском.

— Ну, беда неминуемая, — сказал консул со вздохом, — верно, он захвачен и представлен ректору. Но что припудило вас разлучиться? ты здесь, а его нет!

— Нас разлучили дьявол Леонид и ведьма Евгения. Они, видно, меня увидели, что называли даже по имени. Я испугался и бросился лететь; а что случилось с Сарвилем — мне неизвестно.

Консул отправился к ректору, а мы все в классы.

Возвратившись в бурсу, мы немало опечалены были, не нашед консула.

— Что будем есть? — сказали мы все в один голос; ибо известно, что ключ от кладовой всегда у него хранился. Сейчас собрался сенат и единогласным решением определил отбить замок и, взяв сколько нужно

припасов, приготовить обед. Определение произведено было в действие. Но тут-то увидел я, что значит временное правление вельмож без настоящего правителя. В котел сверх обыкновенной порции свиного сала впущена добрая часть баранины, и один из философов предложил, что из большого куска телятины, который бережен был к праздничному дню, сумеет сделать хорошее жаркое, что также было принято. Третий представил, что наличной общей суммы столько, что если вынуть из оной потребное количество на покупку целой баклаги пеннику, то еще довольно останется. Сие предложение одобрено единогласно и с восклицаниями. Такого пиршества давно в бурсе не бывало.

Глава V

Геройские подвиги

К ночи возвратился консул Далмат пасмурен, как ненастная ночь осенняя.

Он ни с кем не говорил ни слова и растянулся на своем войлоке, стеная и охая. Я сам был в сильном смятении, страхась, не оговорил ли и меня Сарвил; ибо я точно был уверен, что консулу досталось по сему делу. Следующий день был праздничный, и я прямо из церкви побежал к Королю. Вошед в комнату, немало подивился я и оторопел, нашед хозяина в синей черкеске³ тонкого сукна с двойными рукавами, обложенной по швам серебряным снурком; он препоясан был пребольшою саблею.

— Чему ты так удивляешься, Неон? — спросил он с улыбкою, закручивая большие усы. — Знай, друг мой: было время, что и я в малороссийском войске нечто значил. А что теперь видишь меня огородником, так это моя добрая воля. О, если бы от огорода зависело мое содержание, поверь, бурсакам не удалось бы поживиться ни одним огурчиком. Кстати! нет ли чего нового в бурсе?

³ Верхнее платье, которое носят достаточные люди.

– Ах! – отвечал я с тяжким вздохом, – много, очень много нового, и притом худого.

– Расскажи-ка!

Я чистосердечно поведал ему о ночном походе в сад монастырский, о видении дьявола Леонида и ведьмы Евгении, об участии сенатора Сарвила и положении консула Далмата. Король задумался и погодя спросил:

– Каковы ж показались тебе дьявол и ведьма?

– Ах! – отвечал я перекрестясь, – мог ли я смотреть на них без ужаса? Я стоял на ограде, держась за зубец, зажмуря глаза и трепеща всем телом. Но как ушей заткнуть было мне нечем и я слышал весь разговор нечистой силы, то и могу пересказать тебе его до слова.

Во время моего рассказа Король ходил по комнате большими шагами, ломал пальцы и после, остановясь, ударил себя кулаком по лбу, схватился за чуб и вскричал:

– Так! не будь я Диомид Король, если это не они! Но зачем таиться перед людьми, которые для их удовольствия всем пожертвовали?

Он продолжал шагать, повторяя время от времени:

– Да! это они! Подожду! Нельзя стать, чтоб мое местопребывание надолго им неизвестно было! Успокоясь несколько, он спросил:

– Итак, тебе ничего неизвестно, что случилось с Сарвиллом?

– Ничего!

– Ну, ин я скажу о сем, ибо очевидным был свидетелем последней награды, сделанной главному губителю садов и огородов. Всякое утро имею я обычай относить к настоятелю здешней обители и вместе ректору семинарии Герасиму корзину с произведениями моего огорода. Сей достойный духовный столько прост и кроток, хотя весьма учен и умен, что дозволяет мне вход во всякое время, если бы даже был он в своей опочивальне. Вчера поутру, когда я принес к нему корзину с арбузами, дынями и кое-чем другим, то, вошед в большую приемную комнату, немало подивился, увидя, что ректор, префект, келарь, игуменья, диаконша, несколько монахов и монахинь сидели в полукружии. Посредине стоял Сарвил со связанными назади руками. Служители обоих монастырей находились позади его. Поодаль с поникшей головою стоял ваш консул Далмат. Начался допрос по форме и продолжался немалое время; потом осудили Сарвила на изгнание.

Таким образом среди всегдашней бедности и временного довольства, среди ученья и шалостей протекли восемь лет. Я оканчивал уже курс философии, а потому, пользуясь неупустительно правами филосо-

фа, и я пил вино, курил табак и носил усы. Много перебывало у нас консулов, и в последнее время дружности моей, Кастор, нес на себе сие великое звание. Отец мой, честный дьячок Варух, посещал меня не часто, но зато всякий раз щедро награждал благословениями и советами. У друга его дьячка Варула и последний глаз закрылся навеки. Я весьма нередко, можно даже сказать, весьма часто посещал честного Короля и день ото дня находил в нем более достоинств. Бывали случаи, что он, забывшись, обнаруживал свою ученость, которая при его опытности гораздо мою превосходила; но он скоро опомнивался, и я никак не мог дознаться, кто он подлинно, ибо не хотел верить, чтоб простой казак полка гетманского, как он о себе сказывал, мог разумеать философию и говорить так логически. «И то правда, — думал я иногда, — может быть, и он такой же бурсак, как Сарвил, о коем мы со дня изгнания из семинарии ничего уже не слыхали».

В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое намерение со всею Мало-россиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому.

Такие слухи более и более усиливались и доводили поляков до неистовства.

Старый киевский воевода принял деятельнейшие меры воспротивиться таковому предприятию гетмана, низложить оное и еще более поработить Малороссию.

Гетман тайно начал готовить войска.

В сем положении были дела народные, и всякий, кто только имел какую-нибудь собственность, принимал в них живейшее участие. Последний казак, у которого ничего не было, кроме плохой свиты^[7] и сабли, с презрением смотрел на нарядного поляка, и в шинках нередко доходило до поволочек. В одной блаженной бурсе господствовали прежние свобода и спокойствие. Мы, по заведенному порядку, пели под окнами, а иногда и проворили^[8], но гораздо реже, чем прежде, и с того времени, как начал я подрастать, огород Короля сделался неприкосновенным; зато добрый старик время от времени добровольно наделял нас нужными огородными овощами.

В один зимний день, когда я возвратился только из классов в бурсу, нашел уже в ней Вакха, пастуха из селения Хлопот. Он тотчас повестил, что отец мой при смерти болен и желает меня видеть. Я всполошился и не знал, что делать. Как в трескучие морозы пуститься в поле в одной рубашке и легком байковом сертуке? Оставить же отца умирать, его не видя, казалось для меня делом безбожным, а между тем и мысль, — при-

знаюсь в грехе, – что по смерти его должно же что-нибудь остаться, а это что-нибудь для человека, у которого нет ничего, много значит, и что сего остающегося я наследником, побуждала меня к походу.

– От чего же так скоропостижно захворал отец мой? – спросил я у Вакха, грея руки у печки.

– Подлинно скоропостижно, – отвечал пастух, – ибо без несчастного случая он мог бы прожить еще очень долго.

– Случая? – вскричал я, – случай, или судьба, или что мы, ученые, называем *fatum turcicum*.⁴

– Провались ты с твоею латынью, – сказал сурово Вакх, – идешь ли ты к умирающему отцу или нет? Теперь не лето; если запоздаем, то достанемся на ужин какому-нибудь голодному волку.

– Погоди немного, – сказал я и бросился к Королю. Когда я рассказал добродушному человеку о своем затруднении, как среди зимы пуститься в дальнюю дорогу в летней одежде, он принял важный вид, сел на лавку и сказал:

– Спасибо, Неон, за чистосердечие. Открывать о нуждах своих людям неизвестным и глупо, и вредно, и именно оттого глупо, что вредно; но скрывать оные от человека, известного нам по своему доброхотству, из одного ложного стыда, также неразумно, потому что

⁴ Судьба, рок (лат.).

такая скрытность может довести до края пропасти. Так, друг мой, ты должен видаться с отцом своим до его кончины. Спешి взять от префекта увольнение и возвращайся ко мне.

Увольнение мое заключалось в нескольких словах: «Ступай с богом, да напрасно не трать времени!», и я в тот же час возвратился к Королю. Он облачил меня в овчинный тулуп, надел такую же шапку и, дав в одну руку два злотых, а в другую вместо палки рогатину, благословил в путь. Мы с Вакхом были догадливы. По пути зашли к шинкарке, а после, запасшись несколькими булками, пустились в дорогу. Не прежде как булки были съедены – так-то физика берет верх над метафизикою, – спросил я с вздыханием у Вакха:

– В чем же заключается тот несчастный casus, который преждевременно доводит отца моего до вод Стигийских?^[9]

Вакх молчал.

– Каким определением рока, – продолжал я спрашивать, – отец мой должен последовать сыну Майну, который передаст его с рук на руки угрюмому Хорону?

Вакх продолжал хранить молчание.

– Естественные ли силы или сверхъестественные, – возвыся голос, спросил я, – указывают отцу моему берега реки Леты, из коей, испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и крилос, и

колокольню?

Вакх, не взглянув даже на меня, продолжал путь. Такой стоицизм вывел меня из терпения, и я спросил отрывисто:

– Скажи, пожалуй, отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?

– Давно бы так, глупый человек! – отвечал Вакх, – зачем тебе говорить чертовщину, которой я благодаря бога совсем не понимаю! Как скоро же теперь понял, то и удовлетворю справедливому твоему желанию. Знай: в минувший праздник угодника Николая отец твой Варух несколько не остерегся и позабрал в голову лишнее. Когда пономарь начал благовестить к вечерням, он мигом очутился на колокольне, стал подле звонаря и так завопил, что и действительно голос его был слышнее, чем звон колокола. Звонарь, у которого голова была в не меньшем коловращении, как и у Варуха, крайне сим оскорбился. «Любезный собрат, – сказал он с приметным негодованием, – не годилось бы, кажется, нам друг над другом кощунствовать. Это явный соблазн и огорчение всем прихожанам, которые не могут не досадовать, что звон колокола, от щедрости их повешенного, гораздо слабее голоса охмелевшего дьячка Варуха». Отец твой, вместо того чтобы послушаться благого напоминания, вознесся гордостью сатанинскою и так заревел на раз-

ные гласы, что и трезвону слышно не было. «О! – вскричал звонарь, воспалясь гневом, – ты, видно, забыл, что не на крилосе? Ступай же туда и горлань, хоть лопни, а мне здесь сам батька не указчик!» С сим словом он стукнул Варуха по затылку и так небережно, что бедняк полетел с лестницы вниз головою.

Лестница – ты знаешь – крута и высока; суди же, чего стоило несчастному Варуху достичь до последней ступени. Кровь лилась из него ручьем. Звонарь – человек не злой – первый поднял вопль, бросился к Варуху и нашел его без чувств. На крик сбежалось множество прихожан, шедших к вечерням, и пораженный отнесен домой. Тотчас призван был знахарь, осмотрел поврежденные части и нашел, что у него левая рука переломлена, правая нога вывихнута, а на голове три неисцельные язвы довершали опасность.

Нашептывания и примочки имели свою силу.

Варух опомнился, равнодушно выслушал о своем сомнительном состоянии и, призвав меня, просил сходить за тобою.

– Вот какова жизнь человеческая, – примолвил Вакх со вздохом, – живи, живи, да и умри! Что, господин студент, не поворотить ли нам направо по этой утопанной дорожке?

– А куда ведет она?

– Разве не видишь там, подле лесу, большой хаты?

Это шинок, и в нем всегда можно найти преизрядное вино. Если ты, по примеру всех бурсаков, путешествуешь без лишней копейки и от подати, заплаченной Мастридии, ничего не осталось, так пастухи в сем случае догадливей. Пойдем-ка!

Мы своротили с дороги, подкрепили силы и пустились далее. Чтоб доказать Вакху, что бурсаки не все одинаковы, я оставил в шинке половину златого. В глубокие сумерки дошли мы до хаты Варуховой, которой не видал я целые восемь лет. Сердце мое билось сильно. С каким восхищением переступил бы я порог родительского жилища, если бы мысль, что прежде всего встречу умирающего хозяина, не разливала трепета во всем моем составе! Однако я призвал на помощь тени Сократа, Катона и Сенеки, сих мучеников древности, ополчился философиєю, вошел в избу и упал на колени перед болезненным одром отца моего. Варух умилился, протянул ко мне правую руку, обнял с нежностью и, приказав сесть у ног своих, сказал присутствовавшему пастуху:

— Добрый Вакх! поди на кухню и вместе с старым батраком моим приготовьте сытный ужин. К вам придет также и пользующий меня знахарь. Не забудь припасти хорошую меру пеннику. Хочу, чтоб всего довольно было.

Надобно, чтоб эта ночь, которая, может быть, есть

последняя в моей жизни, проведена была сколько можно веселее. Дни прошедшие, о коих имел я время размыслить теперь обстоятельнее, текли не очень хорошо, не очень худо, и за то да будет препрославлено имя господне!

Вахх с приметным удовольствием оставил нас одних, дабы с батраком заняться делом полезнейшим, чем слушание последних слов дьячка Варуха.

Когда старик увидел, что мы одни, то, помолчав несколько, начал говорить:

— Сколько я могу припомнить, то дед мой и отец были такие же дьячки, как и я, и при сей же самой церкви. В тридцать лет я женился и скоро овдовел, — да будет хвала милосердому богу! — ибо супружница моя и образом и нравом уподоблялась сатанинской дочери. По смерти родителя я поставлен дьячком.

В одну летнюю светлую ночь, возвращаясь из города в великой задумчивости, вдруг выведен был из оной воплем младенца. Озираюсь кругом и вижу подле дороги, несколько в стороне, прекрасную корзинку, прикрытую алым шелковым покрывалом. Подбегаю, срываю покров, и глазам моим представился мальчик примерно шести или семи недель. Ничего не думая, взял я корзинку под мышку и полетел домой. По прибытии тотчас вручил я дитя своей матери, еще здравствовавшей, чтобы она делала с ним, что знает. На

шее у младенца на шелковом шнурке висели два золотые кольца, в середине коих по ободкам вырезаны незнакомые буквы. Под подушкой в корзине нашел я записку, не знаю, на латинском или на польском языке, и более ничего, что бы могло обнаруживать о происхождении младенца. Тогдашний священник в селе Хлопотах был великий грамотей. Поутру я бросился к нему с кольцами и запискою.

Объявив вчерашнее происшествие, показал я принесенные вещи и просил объяснения. Осмотрев оные внимательно, он сказал: «Из букв, на кольцах вырезанных, ничего заключить не могу, и они должны быть заглавные имен родителей дитяти; записка же гласит, что новорожденный есть законный сын, что крещен в греко-российской церкви и что имя ему – Неон». Так, любезный друг, ты не сын мой, а только приемыш.

Я остолбенел от удивления. Разные мысли быстро клубились в голове моей. Я взглянул на болящего Варуха, и слезы горести полились по лицу моему. С непритворным сетованием облобызал я руки его и сказал:

– Клянусь угодником Божиим Николаем, что всегда буду чтить и любить тебя, как отца родного, дал бы бог только тебе оправиться. Зачем буду я заботиться о тех, кои, дав мне жизнь, чрез целые двадцать лет не заботились узнать, существую ли я на свете? Ты

сделал для меня более, чем они: ты призрел чужое дитя, поверженное на распутии на произвол случая; ты вскормил оное и воспитал по возможности. Я останусь благодарен тебе до гроба!

– И я благодарю бога, – сказал тронутый Варух, – что он даровал тебе благодарное, следственно, доброе сердце. Это дороже всей твоей философии.

Однако, Неон, долг, налагаемый на тебя самим богом, обязывает не оставлять случаев отыскать своих родителей. Почему знать? Может быть, они в таком стесненном положении, что имеют нужду в твоей помощи. Ах! ты еще не испытал, как сладостно сделаться полезным для своих родителей! Хотя они тебя и кинули при самом, так сказать, твоём рождении, но знаем ли мы тому причину? Может быть, это сделано для того, чтобы спасти тебя! Да и какой отец, особливо какая мать, без ужасного насилия своему сердцу может отлучить из объятий своих плод любви супружеской? Так, Неон, выздоровлю ли я или умру, но ты должен отыскать своих родителей, и кажется, что начальные буквы имен, на кольцах вырезанные, и записка о твоём крещении подадут в сем некоторое облегчение. Там, под образами, лежит маленькая сумка, в которой хранятся кольца и записка. Возьми ее и повесь на шею на том самом снурке, на коем висели кольца, когда я нашел тебя.

Я исполнил его волю: снял сумку и открыл ее. На одном кольце стояло: «L – d 1679», на другом – «Е – а» и тот же год. В записке на латинском языке сказано: «В мае месяце 1679 г. Крещен по правилам греко-российской церкви, законный сын дворянина L – d и дворянской дочери Е – а, причем наречен Неоном».

Когда я повесил сумку на шею, то вошедший Вахк повестил, что ужин готов и что знахарь сидит уже за столом.

– Подите, друзья мои, – сказал томным голосом Варух, – ешьте, пейте и веселитесь, от того и мне будет легче.

Завещание сие исполнено было с великою точностью. Мы бражничали до вторых петухов, а тут, вздумав успокоиться, зашли все провести о немощном.

Варух уже оледенел. Надобно думать, что он скончался в самую полночь. Сон убежал от глаз наших, и мы подняли такой вопль, что немедленно вся изба наполнилась любопытными.

Глава VI

Сирота

Я плакал горько и нелицемерно.

– Не плачь, Неон, – говорил тут же бывший дьякон, – Варух оставил тебя не ребенком, и ты уже сам собою можешь промышлять хлеб. Ты, наверное, заступишь его место и счастливо проведешь жизнь свою под сенью сего мирного крова. Ах! когда б знал ты, как завидна участь сельского дьячка! Дело другое быть диаконом. Проклятая разница! Сколько надобно учить наизусть! А дьячок? Читай и пой себе по книге, вот и все тут!

– Покойник не так думал, – отвечал я и помогал опрятывать тело.

На другой день оно опущено в могилу, и при сем случае, с дозволения священника, я говорил речь, сочиненную по всем правилам риторики.

По окончании похорон и поминок я начал думать о дальнейшей судьбе своей. Священное сословие немало подивилось, услыша, что я решительно отрекаюсь занять прелестную должность отца моего.

– Что такое, господин бурсак, – сказал дьякон с язвительною улыбкою, – уж не норовишь ли ты где-нибудь в селе попасть во дьяконы?

– Ниже в попы, – отвечал я с обидным телодвижением и взором на священника.

– Ба-ба! – сказал праведный отец, – не далеко ли, свет, заезжаешь?

Такая спесь должна найти на себя узду!

– Может быть, – отвечал я с большим еще равнодушием. – Что будет, то и будет.

В течение недели продал я все имущество покойного Варуха и выручил за оное сто злотых: сумма, доселе мною даже и не виданная. Я всячески остерегался, чтобы не проведали, что я совсем не сын его, и не отняли на законном основании моего сокровища. В день выхода из села Хлопот я отслужил торжественную панихиду о успокоении души Варуховой и пустился по дороге в город.

Когда я поровнялся с тропинкою, ведущую к знакомому шинку, где за неделю утешал меня Вакх в печали о болезни отца моего, то лукавый соблазнил меня. Мне показалось, что я все еще очень печалюсь, а притом и озяб, а потому благоразумие требовало поискать способов к утешению сердца и к отогрению желудка.

Я достиг своей цели и пропустил в себя не одну чарку утешающего лекарства; но оно не возымело своего действия. «Видно, сложение мое очень крепко от природы, – думал я, наливая кубок, – что не чувствую

утешения от таких приемов, от коих по крайней мере пять других печальных запели бы и заплясали». Я продолжал лечиться, и когда осушил всю квартиру, то, припомня все благодеяния Варуховы, мне оказанные, а притом и знатное наследство, мне же оставленное, зарыдал горько.

— Ба! — вскричал хозяин, видя сию комедию, — что это, господин студент, значит?

Видно, Вакх в первый еще раз уведомил его о моем звании. Я сказал, что вишневка его очень плоха, ибо, сколько ни пью, не могу утешиться о кончине отца моего.

— Пустое, — отвечал он, — это-то самое и доказывает изящную доброту.

Поешь-ка чего-нибудь да усни, так и увидишь, что к утру вся печаль твоя исчезнет вместе с ночью темнотою.

На еду я склонился, но на ночлег никак. Я велел еще подать вишневки и начал насыщать себя жареною уткою. Первые петухи криком своим возвестили полночь, и ужин мой кончился. Добросовестный хозяин, хотя и литвин,⁵ опять попытался уложить меня в постель, представлял сильный мороз, опасность от волков, от воров и оборотней, но ничто не помогло. Я

⁵ Литвины в Малороссии считаются обманщиками и бессовестными людьми, так что назвать кого-либо литвином почитается ругательством.

уверял, что не боюсь ничего на свете: что от мороза защитит меня принятое лекарство, от воров – рогатина, а от оборотней – крестное знамение.

– Когда так, – сказал сердито хозяин, – то ступай хотя в омут! Такое упрямство должно быть наказано.

Я расплатился с ним и вышел за ворота.

Или голова моя сильно кружилась от излишества принятого лекарства, или был я в великой задумчивости, не знаю настоящей причины, что я и не чувствовал сильной вьюги, обвивавшей всего меня снежной пылью. Приметив сие, я остановился, протер глаза, раздвинул прикипевшие к губам усы и силился рассмотреть, где я. Передо мною не было никакой тропинки. Хотя было довольно светло, но за вьюгою не видно ни звезд, ни месяца. Постояв несколько минут, я перекрестился, сотворил молитву и пустился напрямик.

Скоро представился передо мною лес, и я опять остановился. Подумав несколько, я сказал сам себе: «Так! видно, я сбился с дороги; однако надеюсь попасть на другую». Я очень помню, что, будучи еще поэтом и ритором, нередко посылаем был консулом и сенатором на озера, в сем лесу находящиеся, красть дворовых гусей и уток.⁶ Посредине его лежит большая

⁶ В Малороссии и доселе в обыкновении по наступлении весны выгонять в места, где есть озера или речки, гусей и уток, которые и остаются

дорога к Переяславлю, которая приведет меня в город, только к противоположному въезду; ибо, видно, я и не заметил, как перешел Десну.

Таким образом, подкреплен будучи надеждою скорого прибытия в бурсу и собравшись с силами, бодро вступил я в лес и побрел, держась левой стороны, упираясь на рогатину и без всякой досады выдерживая из снега ноги, вязнувшие по колени. Однако чем далее шел, тем лес становился гуще, а снег глубже. Я должен был чаще останавливаться для необходимого отдыха и на досуге предавал проклятию все шинки, где продают пенник и вишневку, и всех тех, кои надеются, вкушая сии пагубные изделия, утешиться в скорби своей; мало-помалу начал я выбиваться из сил. Нередко падал в снежные рытвины и стучал лбом о деревья. Уже рассвело, но я не чувствовал никакой отрады. Я вышел, или, правильнее, выполз из лесу, и необозримая снежная равнина представилась моим полусомкнутым глазам. Я уже не чувствовал, есть ли у меня руки и ноги; сердце билось слабо, взор померк; я сделал усилие податься вперед и пал на снежное ложе. Хотя я не мог пошевелить ни одним членом, но несколько минут еще не совсем лишился чувств. Краткое время сие провел я в молитве, прося у милосердного бога прощения за все грехи, мною со-

там до глубокой осени.

деланные. Наконец я обеспамятел.

Пришед в чувство и открыв глаза, я увидел, что лежу в большом корыте нагой, осыпанный с головы до ног снегом. Два черноморских казака, люди пожилые, терли всего меня суконками, и так усердно, что я вскрикнул.

– Господа! – спросил я, – что вы со мною делаете и где я?

– Если ты останешься жив, – отвечал сурово один из сих медиков, – то скоро узнаешь, что мы с тобою делали и где находишься.

После сего начали они тереть еще ревностнее, так что я не утерпел опять несколько раз вскрикнуть.

– Кричи, друг, сколько хочешь, – отвечали мне, – это нам любо, ибо значит, что ты близок к спасению.

Когда им показалось, что я вне уже опасности, то унялись от трудов своих, вынули меня из корыта, положили на постелю и, одев теплым покрывалом, посоветовали отдохнуть и удалились... Я был как помешанный.

Прошедшее представлялось мне подобно страшному сновидению. Я вообразил очень ясно все вчерашнее похождение и содрогнулся, вспомня ту опасность, какой был подвержен. Я осмотрелся кругом, и робость стеснила сердце в груди моей. Большая холодная комната, в коей лежал я, походила на кла-

довую. Одна стена от пола до потолка увешана была оружием всякого рода, другая унижена одеянием на разные покрои. Там были платья малороссийские, черноморские и польские.

«Ну, – сказал я сам в себе, – попался из огня в по-
лымя! всего вернее, что я теперь гощу у разбойников. Бедные мои сто злотых! кому-то вы достанетесь? О, проклятый шинок! до чего ты довел меня! что со мною будет?»

Встав с трепетом с постели, которую составлял большой сундук, покрытый тюфяком, и, завернувшись в одеяло, я подошел к окну и еще более удостоверился в своей догадке. Дом, в коем находился, стоял в преглубоком овраге, покрытом деревьями, так что летом не скоро его и приметить можно. В недалеком расстоянии рассеяно было до десяти хат. Дым, клубившийся из труб, доказывал, что они обитаемы.

Рассмотрев все внимательно, я вздохнул тяжело; но, порассудив обстоятельнее, говорил: «Что ж такое, если хозяева мои и в самом деле разбойники? Когда они столько прилагали старания возратить мне жизнь, то из логики заключить можно, что отнимать оной не станут. Они завладели моими злотыми. Бог с ними! И я не имел их до сего времени, и был очень доволен своею участью. Пусть только отдадут сумку с кольцами и запискою; эти вещи для них ничего не значат, а для

меня очень много. Как бы мне хотелось повидаться с атаманом, поблагодарить за гостеприимство и поскорей убраться из ненавистного жилища».

Когда я сочинял в уме речь, которую буду говорить разбойничьему атаману, вошел ко мне один из медиков, неся в руках рубаху тонкого холста, и сказал:

– Платье твое так намерзло, что не скоро высохнет. Наш пан Мемнон дожидается тебя в своей комнате. Надень эту рубаху, выбери любую пару из висящих на стене платьев и одевайся.

С трепетом повиновался я и снял черкесское платье кармазинного цвета.

Мне приходило на мысль спросить своего собеседника, какого нрава их пан Мемнон, каких лет, давно ли упражняется в разбое и с которого времени атаманствует, но робость оковала язык мой. Однако ж, когда совсем был готов, то дрожащим голосом произнес:

– У меня на шее висела сумка с...

– Да, да, – подхватил казак, – я и забыл. Вот она. – С сим словом откинул угол матраца, и я увидел свою драгоценность, схватил и спрятал в карман.

Угрюмый черноморец повел меня к своему господину.

Прошед несколькопокоев, я введен был в комнату, великолепные уборы коей меня поразили. Там, в больших креслах, какие только случалось видеть мне

у ректора семинарии, сидел мужчина лет под пятьдесят в дорогом польском платье. Вид его был величествен, взор внушал благоговение. Хотя я сначала совершенно смешался и дрожал во всем теле, однако скоро, ополчась философией, подошел к нему, выпрямился и, заикаясь, произнес:

– Могущественный атаман! хотя ремесло твое таково, чтобы отнимать жизнь у людей, но ты столько великодушен, что иногда и возвращаешь оную, как доказал то надо мною. В знак благодарности охотно отступаюсь от ста злотых, бывших у меня в кармане, дозвожь только сейчас отсюда удалиться, нет нужды, что платье мое еще мокро. Пусть один из твоих разбойников выпроводит меня из сего вертепа на дорогу в город.

Мемнон смотрел на меня с удивлением, потом ласково усмехнулся, протянул руку и, указав на стул, произнес:

– Садись. Мне очень было бы досадно, если бы такой молодец был убит, а ты, правду сказать, недалек был от этого. Люди мои объявили, что невдалеке примечены следы медведя. Сегодня на утренней заре снарядились мы на охоту.

Подходя к ближнему от нас лесу, увидели подле оного нечто лежащее на снегу.

Один из охотников вскричал: «Вот медведь!» –

и прицелился. Я, удержав его, сказал: «Перестань! стыдно стрелять по сонному зверю; надобно прежде поднять его». Таким образом, держа ружье на втором взводе, тихими шагами пошли мы на зверя и нарочно кричали громко, но он не поднимался. Мы подошли близко и увидели тебя – окостеневшего. Я приказал приложить все попечение, дабы возвратить тебя к жизни, и, слава богу, труд был не напрасен. Скажи же теперь, кто ты таков, где был и как забрел в такое место, которое, по-видимому, тебе совершенно незнакомо?

Глава VII

Ошибочная наружность

Со всею искренностию начал я рассказывать все, что только знал о себе, и когда дошел до того места, где дьячок Варух, лежа на смертном одре, объявил, что он не отец мой, что я найден им подле большой дороги в корзине, что на шее моей была сумка с двумя золотыми кольцами, а внизу подушки записка, то Мемнон изменился на лице, вздрогнул, вскочил с кресел и уставил на меня столь страшные глаза, что я затрепетал во всем теле и, думая, что он гневается, считая меня лжецом, опустил трепещущую руку в карман, вынул сумку и, стараясь ее развязать, косноязычно произнес:

— Изволь, великий атаман, рассмотреть сам, и ты уверишься, что я говорил тебе сущую правду!

Мемнон выхватил из рук моих сумку, разорвал ее, взглянул на кольца, на записку, потом на меня и спросил:

— Ты — самый тот, который найден в корзине подле дороги?

— Тот самый, к несчастью; потому что лучше иметь отцом добродушного дьячка, который бы любил меня, нежели дворянина, который в безгласном младенче-

стве моем, предав на съедение собакам и коршунам, нимало и не думает, что случилось с беспомощным творением.

Мемнон сильно ударил себя кулаком в лоб и, сказав страшным, дребезжащим голосом: «Побудь здесь и жди меня!» – быстро вышел, и я остался в ужасном недоумении.

– Почему знать, – говорил я, – что сей Мемнон не есть заклятый враг моим родителям и не собирается теперь все мщение свое обратить на их жалкого сына? О, проклятый шинок! если б ты не стоял на перепутье, я теперь был бы в бурсе и, имея в кармане сто золотых, чего бы ни наделал! А теперь, того и смотри, что погибнешь, а что всего большее за чужую вину.

В сем мучительном положении пробыл я около двух часов, которые показались мне веками страданий. Наконец Мемнон вошел, и вид его был довольно покоен, что несказанно меня обрадовало.

– Из собственного твоего повествования, – сказал он, – и из бывших при тебе доказательств видно, что ты действительно дворянского происхождения, почему носить тебе дьячковский пучок уже неприлично. Peac!

Один из моих врачей вошел, и Мемнон сказал:

– Возьми сего молодого господина и убери голову его по-дворянски.

Реас дал мне знак за ним следовать и опять привел в ту комнату, где я лечился. Проворный казак два раза дакнул ножницами и, увы! увесистый пучок мой, столько лет с нежностью лелеянный, как негодная вещь, полетел на пол.

Волосы мои подстрижены, затылок подбрит, и я не опомнился, как превращен был в малороссийского пана. Когда вошел я к Мемнону, то он, обняв меня, сказал весело:

— Ну, вот! тот же, да не тот! Пойдем обедать.

Вошед в столовую, я увидел у окна женщину в совершенных летах, высокого роста, величественного вида, с кротким, нежным взором; она держала в руках белый платок и утирала слезы; подле нее сидела за пальцами девушка лет шестнадцати. При вступлении нашем они обе встали и старшая хотела что-то сказать мне, но остановилась и смотрела так пристально, что я смешался.

— Это жена моя, а это дочь, — сказал Мемнон.

А я вместо приветствия пробормотал несколько слов, и притом довольно глупых, и потупил глаза в землю.

— Будь смелее, Неон! — сказал хозяин довольно весело, — ты теперь не дьячок и не в келье твоего ректора. Поцелуй руки у обеих госпож сих, как следует учтивому дворянину.

С трепетом подошел я к матери; она подала мне руку, и когда я поцеловал ее, то чувствовал, что она дрожала, и слеза пала на мою щеку. С девицею обошелся я не смелее.

Вскоре сели за стол, и в продолжение одного хозяин был беспрестанно весел, хозяйка часто на меня взглядывала и вдруг потупляла глаза; Мелитина, дочь ее, также часто на меня взглядывала, улыбалась и молчала. Я уподоблялся каменному истукану. Тщетно призывал я на помощь свою философию; ни одно путное слово не приходило мне на мысль; а если и припоминал что-нибудь такое, то, взглянув на важного Мемнона, на кроткую жену его и на прекрасную дочь, терялся совершенно. «Возможно ли, — думал я, — чтобы у разбойничьего атамана было такое милое семейство? Ах! как жалка участь жены и дочери! Рано или поздно, а должны будут разделять с ним наказание, назначаемое разбойникам законами. Ах! если б можно было спасти их, а особливо дочь, как охотно взялся бы я за сие доброе дело! Почему знать, может быть, и сам Мемнон, уже набогатившись, согласится кинуть гибельное ремесло свое. Что, если я об этом намекну ему?»

По окончании стола Мемнон сказал:

— После обеда я привык несколько времени отдыхать, а сверх того, мне нужно о многом посоветовать-

ся с женой. Неон! побудь с Мелитиной и чем-нибудь займитесь.

Он вышел с женою, и я остался, как на иголках. Иногда взглядывал я на девушку, и она улыбалась, а сего и довольно было, чтоб заставить меня мгновенно потупить взоры. Несколько раз покушался я что-то сказать, но язык мой деревенел, и я только шевелил губами. Наконец красавица первая собралась с силами и довольно смело спросила:

— Скажи, пожалуй, как это сделалось, что ты было замерз? Ах! как было бы жаль, если б тебя съел медведь!

Я поблагодарил за такое участие и рад был случаю рассказать свои похождения. Мелитина от чистого сердца смеялась, слушая про мои бурсацкие проказы. Когда я кончил, то показалось, что за таковую откровенность имею право и на ее доверенность; а посему, сделав самое плачевное лицо, сказал:

— Как мне жаль тебя, Мелитина!

— Жаль? Отчего?

— Что ты живешь в таком мерзком месте и имеешь такого отца!

— Напрасно! Это место очень хорошо, а весною и летом даже пленительно.

Что же касается до моего отца, то он наилучший из людей, каких я только видала!

– Ты смотришь на него глазами дочери, взгляни, будь можешь, как посторонний зритель, и ты ужаснешься, вострепещешь!

– Я тебя не понимаю!

– Ин я буду говорить яснее. Давно ли отец твой упражняется в богомерзком ремесле своем?

Она с изумленным видом отступила назад и спросила дрожащим голосом:

– В богомерзком ремесле? В каком же?

– Разумеется, в разбойничестве!

Мелитина устремила на меня глаза, помолчала и, наконец, засмеялась.

Это меня крайне изумило. Однако, подошед к ней ближе, сказал:

– Так, прекрасная девушка! с первого взгляда на сие жилище видно, что оно есть вертеп разбойничий, а отец твой есть атаман. Хотя правда, что дети не отвечают за преступления своих родителей, если сами в них не участвовали; однако ж посуди о тех мытарствах, какие должна будешь пройти, как скоро отец твой попадет в руки правосудия!

Мелитина опять засмеялась и удалилась от меня, не говоря ни слова. Я спохватился и каялся в своем неразумии; но уже поздно. «Она, верно, – думал я, – одобряет поступки отца своего, расскажет ему все, и он за ругательства мои, конечно, не похвалит. Не глуп

ли я, что вздумал увещевать дочь разбойничьего атамана. Почему знать? может быть, она совсем не так невинна, как с первого взгляда кажется! может быть, она служит приманкою для легковверного странника! Ах! как жаль, как жаль!»

Погружен будучи в глубокую задумчивость, сидел я у окна, размышляя о способах, как бы вырваться из сего логовища. Вдруг увидел я всадника, спускавшегося в ров по косогору. Это был вооруженный усач в крестьянском платье. Он медленно подвигался к атаманскому дому, и когда проезжал мимо окна, у коего я сидел, то, к великому недоумению моему и ужасу, — в крестьянине узнал Короля, своего друга. Волосы стали у меня дыбом. «Боже милосердый! — думал я, — кому бы поверил я, что и Король, которого всегда считал богобоязненным, честным, добрым человеком, находится в связи с злодеями? С сих пор, дай только всевышний уплестись отсюда поздорову, никогда нога моя не будет в пагубном доме его».

Сумерки покрыли овраг мраком, а я не видал никого. Наконец поданы свечи, и Мемнон, последуемый женою, дочерью и Королем, вошли в комнату.

— Здравствуй, Неон! — сказал Король, обнимая меня, — как же ты принарядился! От сего друга моего знаю я последнее твое похождение и радуюсь, что порода дает тебе право отличаться на полях брани саб-

лею. Что же так печален?

— Он все еще не может забыть прошедшей ночи, — сказал Мемнон, — и подлинно, если бы не следы медвежьих нас подняли, то и следа Неонова не оставалось бы на земле. Будь веселее, друг мой! Завтра чуть свет выйдем мы на промысел.

Мемнон и Король занялись игрою в шахматы, жена Мемнонова, которую звал он Евлалией, за особливым столиком низала жемчуг, а Мелитина играла на лютне и пела прелестно на малороссийском и польском языках; один я не находил ни в чем отрады. Я взглядывал то на мать, то на дочь и страдал в душе своей. Вздохи невольно колебали грудь мою. Я чувствовал на сердце что-то такое, чему не знал имени и что вместе разливалось в нем какую-то сладость и его терзало; самое даже мучение было для меня приятно. Ни за что в свете не хотел бы я получить прежнее спокойствие. Я не знал, однако, кого мне больше жаль, матери или дочери.

По прошествии вечера и части ночи и по окончании ужина меня отвели в прежнюю комнату, где нашел уже очень порядочную постель и шелковое покрывало. По желанию моему свечка при мне оставлена.

В самую полночь, когда казалось мне, что все в доме погружены в глубокий сон, встал я с постели, дабы попытаться, не сыщу ли способа уйти.

При мысли, что поутру и я должен буду выйти с разбойниками на промысел, мороз разливался в моих жилах. Хотя бы сама Мелитина была наградой за успехи мои в разбое, то и для нее не поступлю я против моих обязанностей к богу и ближнему. Дело иное – накрасть где-нибудь дынь или арбузов, в таком грехе можно еще покаяться; но принять на душу свою смертоубийство – нет, нет! голова человеческая не арбуз!

Говоря сии слова, я силился отпереть дверь; но не тут-то было.

Уверившись, что она заперта извне, я тяжело вздохнул и решился ожидать утра.

Когда рассвело, то ко мне вошел Реас.

– Пора вставать, – говорил он сурово, – все уже готовы идти на охоту.

Оденься, вооружись и ступай с нами.

– Проклятая охота! – ворчал я про себя. – Неужели и ты, – сказал я, – будучи довольно стар, не сомневаешься участвовать...

– Что ты затеял? – вскричал он с ужасною улыбкою, – да я стреляю в цель не хуже всякого молодого; ты увидишь на деле.

Он помог мне одеться во вчерашнее платье, сверху накинул черкеску на крымском меху, опоясал патронным поясом, привесил кинжал, дал в руки ружье и повел в столовую. Там уже сидели в таком же во-

оружии Мемнон и Король, а подле них стояли трое слуг. Евлалия и Мелитина в утренних платьях встретили меня с улыбкою, и мать подала руку, которую поцеловал я теперь с большею ловкостью, нежели вчера. Дочери сделал я учтивый поклон и отвернулся, дабы не заметили моего тяжкого вздоха.

Настал день; лучи светлого солнца заблистали на снежных краях оврага, мы пустились в путь. Когда выбрались из своего провалья, то я отстал от прочих под видом исправления некоторой нужды. Видя, что они отошли саженой на сто, я ударился бежать по дороге в противную сторону и скоро потерял их из виду. Тут пошел я обыкновенным шагом и примерно через два часа увидел перед собою большое село, ничуть не меньшее села Хлопот. «Ах! — думал я, — как досадно, что нет со мною моих золотых! как бы плотно пообедал я; ибо, правду сказать, вчера не давали мне есть мысли то о Мемноне, то о Евлалии, то о Мелитине».

Машинально опустил я руку в карман черкески и, к великому удивлению, вытащил изрядный кошелек с серебром, и когда высыпал его в шапку, то увидел, сверх того, несколько золотых денег. Раздумье взяло меня, пользоваться ли сею находкою или нет. «Почему же и не так, — сказал я, — ведь деньги награбленные, и Мемнону не более принадлежат, как и мне». С сими словами вошел я в село, допытался корчмы

и заказал приготовить сытный обед, и когда оный подан был на стол, то хозяин-жид, будучи великий пустомеля, пристал ко мне с расспросами о том и о сем; и я, чтобы скорее от него отвязаться, рассказал обстоятельно, каким образом попал в руки разбойников и как счастливо вырвался из оных. Жид слушал меня с прилежным вниманием и иногда качал головою.

— Ты не веришь, — вскричал я, — что я был в вертепе разбойничьего атамана Мемнона? Так знай, что все одеяние, какое на мне видишь, принадлежит ему!

— Это я очень знаю, — сказал жид, — ибо нередко видел в нем пана Мемнона.

— Как? — спросил я с удивлением, — и он осмеливается в таком большом селе разбойничать?

— По крайней мере он в корчме моей не разбойничает, — отвечал лукавый жид, — а если иногда, возвращаясь с охоты, достаивает посещением, то за всякую чарочку наливки платит весьма щедро; да и все мы вообще считаем его самым честным и добрым человеком.

Когда жид говорил сие с видом значительным, вдруг вошли в комнату четыре крестьянина и сели за один стол со мною. Они внимательно рассматривали меня с головы до ног, и после старший из них, закручивая усы, сказал:

— Клянусь ангелом-хранителем, что все это платье

не раз видел я на пане Мемноне!

— И я, и я! — вскричали прочие.

— Пан староста! — сказал один, — поговори-ка с его милостию; а я готов удариться об заклад, о чем хочешь, что сей щеголь один из шайки разбойников, уже несколько лет грабящих в наших окрестностях!

Староста, обратясь ко мне, спросил надменно:

— Молодец! где взял ты это дорогое платье?

— А тебе какая надобность? — отвечал я со всею спесью философа.

— Ба, ба! — сказал староста, язвительно улыбаясь, — старосте не надобно знать, где кто мошенничал! Спрашивать больше нечего; все ясно, как этот день! Ребята! делайте свое дело!

Вмиг все пришельцы на меня бросились и завернули руки за спину. Жид подал веревку; меня скрутили и усадили на лавке. После сего староста, опустив в карман ко мне руки, вытащил кошелек. Все подняли радостный вопль.

— Видно, приятель, — сказал староста, — ты запасся не на шутку! Как же благодарен будет пан Мемнон, когда возвратим ему потерю. Однако ж путь не ближний, и надо подкрепить свои силы. Жид! давай вина и что-нибудь перекусить.

Бездельники начали пить вишневку и есть заказанный мною обед. За каждую чаркою они желали мне

здоровья и большей удачи. Я сидел потупя глаза, и хотя мне совестно было показаться на глаза Мемнону, которого перестал уже почитать разбойником, но не было другого способа освободиться от рук старосты. Наконец их бражничанье кончилось. Заплатя жиду из моего кошелька за угощение, они поднялись. Один взялся за конец веревки, коею связаны были мои руки, и мы все торжественно отправились к жилищу Мемнонову.

Глава VIII

Двоякая любовь

Мы прибыли к жилищу сего господина, но он еще не возвращался.

Мелитина, увидя меня в таком положении, ахнула, и слезы показались на прекрасных глазах ее.

— За что вы его связали? — спросила она у старосты.

— За то, — отвечал сей с важностью, — что он — уличенный вор и, верно, скрытный разбойник!

— Вот видишь, Неон, — говорила она томным голосом, — как наружность обманчива. Незадолго перед сим ты честнейшего человека считал за разбойника, а теперь другие сочли тебя таким же. Развяжите его!

— Никак, — говорил староста с поклоном, — это может сделать один отец твой или мать.

Мелитина тотчас бросилась из комнаты и вмиг показалась с матерью; но не успела та вымолвить и одного слова, как с другой стороны вошли в покой Мемнон и Король, обвешанные зайцами, тетеревами и рябчиками.

— Что это значит? — спросил Мемнон с удивлением, и староста отвечал, что привел вора, причем показал и кошелек с деньгами.

— Видишь, Неон, — сказал хозяин с усмешкою, — что

жилище мое околдовано, и без ведома моего никто отсюда уйти не может.

Король не был так умерен, как друг его. Охотничьим ножом перерезав веревку, коею был я связан, он начал крестить сперва старосту, а потом и прочих по чему ни попало.

— Ты для того избран старостою, а вы сотскими и десятскими, — приговаривал он, — что должны быть расторопнее прочих. Можно ли неизвестного человека счесть разбойником и вязать только потому, что он в чужом платье и что в кармане у него есть деньги!

Приведшие меня, видя худую благодарность за усердие, опрометью бросились из дому и, не оглядываясь, пустились из буерака. Я бросился к ногам Мемнона и чистосердечно повинился в грехе своем. Он меня поднял и начал разговор об охоте. Уверившись, что нахожусь в доме честного дворянина, я сделался веселее, говорил не меньше других, и мне удалось сказать несколько острых слов, заслуживших общее одобрение. Ввечеру я под игру Мелитины пропел несколько духовных песен, ибо в числе прочих занятий в семинарии принужден был учиться и пению по нотам. Ночь прошла в сладостных мечтах, свойственных пылкому человеку в мои лета: я записывался в войско, сражался как лев, побеждал целые полчища, получал почести и богатства и в награду толиких за-

слуг просил руки у Мелитины. Можно ли отказать в чем-нибудь такому достойному человеку?

Поутру, едва только я оделся, как вошли ко мне Мемнон и Король, одетый опять в крестьянское платье. Первый сказал:

— Ну, Неон, ты теперь отправляешься в город с общим нашим другом. Он наскзал о тебе столько доброго, что я принимаю в тебе истинное участие. В бурсе ты более жить не будешь, и Король найдет для тебя приличное место; а покуда ты пробудешь у него в доме. Платье, которое на тебе, есть твое собственное, равно как вчерашняя черкеска и кошелек с деньгами. По временам ты будешь навещать меня в сем уединении, а по прошествии зимы все займемся отысканием твоих родителей, на каковой конец кольца и записка у меня останутся. Теперь позавтракайте и — с богом.

Трапеза наша продолжалась довольно долго. Для меня оседлан был недурной конь, и мы выехали из сего хутора близко полудня и не прежде прибыли в город, как к ночи. Король оставил меня до утра в своем доме. Лежа в постели, я мучился догадками, зачем Мемнон не дозволил мне проститься с его женою и дочерью.

На другой день явился я к настоятелю монастыря отцу Герасиму, у которого Король предварительно извинил меня в продолжительной отлучке.

После обеда он сказал мне:

– Неон! я нашел для тебя весьма хорошее место. Пан Истукарий считается первым помещиком во всем городе и во всей округе. В доме его можно научиться благопристойности и вежливости более и скорее, чем во всяком другом месте, а это для дворянина необходимо. За содержание твое он не берет ничего, а хочет только, чтоб ты надзирал за его сыном, мальчиком лет шестнадцати, который, по словам отца, имеет великие способности. Отец готовит его ко двору гетмана. Пан Истукарий человек весьма обстоятельный, хотя довольно горд и напыщен. Жена его, Трифена, весьма набожна, хотя довольно вспыльчива и охотница до ссор. Но тебе какая до того нужда? Сверх того, живет в доме дочь их, молодая вдова Неонилла, воспитанная в Киеве на польский образец. Она недурна собою, молода, весела и обходительна. В сем-то доме можешь ты образовать свой вкус и научиться на опыте, как должно вести себя благородному человеку. Завтра мы отправимся к пану Истукарию.

В тот же день Король изготовил для меня хорошую постелю, купил белья и обуви, и наутро представились мы помещику. Он был человек за пятьдесят лет, но здоров и крепок; взор его был несколько угрюм и самая улыбка неприятна. Жена его, судя даже с первого взгляда, была хозяйкою дома, но состояла

под самовластием мужа. Дочь Неонилла, осьмнадцать или девятнадцать лет, превосходила описание, Королем о ней сделанное. Сын Епафрас показался мне настоящим ротозеем. Он был малого роста, курчав, губаст, и когда смеялся, то ржал, как жеребенок. Слуг и служанок в доме было весьма довольно.

Хозяева и их дети приняли нас очень ласково, а особенно Неонилла, сейчас показала, что воспитана в Киеве. Мне отвели небольшую, но хорошо прибранную комнату, окнами в сад, и я тогда же переселился в оную.

Пан Истукарий столько считал себя знатным человеком, что стыдился отдавать сына в семинарию; для образования молодого Епафраса приходили особенные учителя, как светские, так и духовные. Мне особенно нравились искусства биться на саблях, стрелять в цель и ездить верхом, и я начал упражняться в оных с особенным старанием. День проходил за днем, неделя за неделей, и так прошел месяц. Я был очень доволен своим положением; казалось, что и мною довольны были. Хотя вышло, что Епафрас не что другое, как лентяй, повеса, но мои глаза— не отцовские и какая мне до того нужда?

Довольно, что родители не могли им налюбоваться. Хотя прелестная дочь Мемнонова не выходила у меня из мыслей, однако и живая, веселая, прекрас-

ная Неонилла немало забавляла меня своими резвостями. Она иногда так была непринужденна, что, казалось, забывала о разности наших полов. Какое прелестное воспитание!

По прошествии месяца Король отпросил меня на целые сутки, и мы пустились в хутор к Мемнону. Сердце сильно билось в груди моей, когда я вступал в дом, в коем обитала прекрасная Мелитина. Какая разница между ею и Неониллою! Но и то правда, одна была робка, неопытная девица; а другая вдова, и притом – воспитанная по-польски. Мемнон, жена его и дочь приняли нас с непритворною радостью, и я как тот вечер, так и весь следующий день провел с несказанным удовольствием. Проживши целый месяц в пышном многолюдном доме Истукария, я приметно переменился: сделался противу прежнего гораздо свободнее и не один раз осмелился намекнуть Мелитине, что она прелестна и что я почту благополучнейшим того смертного, на которого кинет она благосклонный взор свой. Мелитина на такие рыцарские напевы всегда отвечала непринужденною улыбкою, и это меня расстроивало.

Под вечер другого дня я опять завел речь о моих родителях.

– Я должен признаться, – говорил Мемнон, – что знаю твоих родителей, равно как и друг мой Диомид;

но обстоятельства требуют, чтобы ты поумерил свое желание узнать их. Так, друг мой, – продолжал он, – я имею право открывать только свои тайны, а чужие считаю неприкосновенною святынею.

Довольно с тебя уверения, что ты когда-нибудь о них сведаешь, если своими поступками будешь того достоин.

Я должен был удовольствоваться сим малым сведением. Перед отъездом Мемнон подарил мне еще полную пару платья, на коем по всем швам нашит был золотой снурок и висели сзади такие же кисти. Чтоб сделать убор мой совершенным, он опоясал меня богатою саблею.

Мне так полюбилось препровождение времени в доме Мемноновом, что склонил Короля ездить туда чрез каждые две недели. Зима прошла, и наступила весна цветущая. Мелитина говорила правду, что весною жилище их прелестно.

Зимою и не обратил я внимания на обширный сад, наполняющий все дно оврага; но когда деревья покрылись цветом, тогда я не мог не восхищаться, а особливо прогуливаясь с нежною хозяйкою или прелестною ее дочерью. С каждым днем любовь моя, неразлучная, однако ж, с неограниченным почтением, умножалась к Мелитине; однако она всегда казалась мне существом высшего рода, о привлечении коего в соот-

ветствие на чувства, общие всем существам смертным, и подумать страшно; сверх же того, красавица сия на мои нежные слова, на пламенные взоры и на томные вздохи отвечала всегда невинною улыбкою или даже смехом. Это приводило меня в досаду, и я самому себе давал слово и видом не обнаруживать моей склонности. С таким расположением духа почти всегда оставлял сей очарованный хутор.

Теперь приступаю к описанию одного из важнейших происшествий в моей жизни, имевшего великое влияние на дальнейшие случаи.

В один весенний месяц как-то случилось, что, прохаживаясь в обширном саду Истукариевом, я столкнулся с милою его дочерью. Она начала, по обыкновению, резвиться, я подражал ей; распростершаяся темнота придавала мне смелости. Красавица бросилась бежать и скрылась в самой дальней беседке; я ударился вслед за нею и вступил в сие убежище прелестницы, без труда нашел ее, притаившуюся на софе в углу.

— Ах, Неон! — сказала Неонилла, — любишь ли ты меня?

— Более, нежели самого себя!

— Ах! будешь ли ты и впредь таков?

— Всегда! всегда!

— Будь же осторожен! Ты знаешь, как батюшка горяч

и щекотлив. Сохрани бог, если он проведает!

– Ведь мы не дети! – сказал я, поглаживая усы. С сим мы расстались, условившись в эту же самую ночь видеться на сем же самом месте.

Свидания мои с Мемноном не прерывались. Как друг мой Король занят был своим огородом, то я большею частию ездил в хутор один и каждый раз открывал в Евлалии новую ко мне благосклонность, а в Мелитине новые прелести, новую любезность; но чем более любовь моя возрастала, тем становился я более застенчивее и не смел даже к ней прикоснуться. Я пылал и всячески старался таить сие пламя. Она была для меня нечто более, нежели женщина, и при одной непозволительной мысли насчет сей невинности я покрывался краскою стыда и негодования на самого себя. Но такова молодость!

Едва являлся я в саду Истукариевом, кроткая Мелитина бывала забыта, а при мысли о живой, пылкой Неонилле я сломя голову бежал к знакомой беседке, где нередко меня уже ожидали.

Лето было в половине. В одну светлую прекрасную ночь я и Неонилла роскошно отдыхали на софе в беседке. Вдруг послышался невдалеке мужской голос, а вскоре дверь тихонько отворилась, и вошли двое, хотя мы и не успели рассмотреть, кто такие были досадные посетители. Мы притаили дыхание.

– Милая Христодула! – сказал мужчина, и мы сейчас узнали Епафраса, а в любовнице его – пожилую девку, служащую Трифене, – сядь на софе, а я выну из шкафа кое-что поесть и выпить... Не правда ли, что я догадлив в таких случаях? Еще днем урывками припрятал здесь довольно пирожного и бутылку доброй наливки.

Он отпер шкаф и вынул свой запас, как дверь у беседки опять отворилась, и еще пожаловали двое, мужчина и женщина.

– Прекрасная Кириена! – сказал голос, и мы вмиг узнали Истукария и молодую девушку, наперсницу Неониллы, – садись сюда – на софу, а я посвечу.

С сими словами открыл он потаенный фонарь. Пусть, кто может, представит тогдашнее общее смятение! Неонилла в самом ли деле упала в обморок, или такую представилась, только глаза ее были закрыты и дыхание остановилось.

Истукарий прежде всего осветил Епафраса, держащего в одной руке бутылку, а в другой – блюдо с пирожным.

– Бездельник! – вскричал отец в великом гневе и поразил его кулаком по макушке так ловко, что и блюдо и бутылка выпали из рук, а он посередине их растянулся. – С кем ты здесь, негодный? – продолжал старик с бешенством, – возможно ли? В твои лета? Не

знаю, чего смотрит за тобою Неон. Он что-то часто повадился рыскать со двора.

Говоря сие, он осветил софу и – окаменел. Христо-дула и Кириена сидели рядом на софе и закрывались передниками; милой, жалкой Неонилле нечем было сего сделать.

Мой добрый дух благовременно вразумил меня. Пользуясь окаменением Истукария, я вскочил с софы, треснул его по руке, отчего фонарь полетел на пол и погас, вылетел с быстротою вихря из беседки, запер дверь за собою на замок, в коем оставил ключ, и побежал домой. Припрятав прежде всего кошелек с деньгами и увязавши платье и белье в узел, я опоясался саблею и пустился к дому Королеву. Дорогою пришло на меня желание позабавить себя зрелищем, которое должны представлять мои пленные. Пришед на двор, я ношу свою и деньги спрятал в сарае, а сам пустился в дом Истукария. Разбудив старуху, надзирающую за служанками, я с видом крайне напуганного человека уверял ее, что видел в саду двух оборотней женского пола, которые околдовали господина и его сына, уволокли их в крайнюю беседку сада и там заперлись. Старуха ахала, крестилась и, казалось, не совсем доверяла словам моим; когда же я подтвердил клятвенно справедливость сего доноса, то она вскочила с постели и бросилась уведомить Трифену о сем

чуде. Вскоре вышла и сия в одном спальном платье со свечою в руке, и я донес ей то же, прибавя, будто слышалось мне, что оборотни приняли меры к изнасилованию отца и сына, ибо я слышал в беседке стук, треск и визжанье.

— Что за вздор! — вскричала Трифена со гневом, — не грезишь ли ты, господин студент?

— Стоит только поверить слова мои, — сказал я хладнокровно, — так правда и откроется.

— Ин пойдем поищем их в доме, — говорила хозяйка со вздохом.

Старуха понесла впереди свечу; я и Трифена за ней последовали. И действительно, постели Истукария и Епа-фраса были не тронуты, а я с простосердечием заметил, что, проходя девичью, не видал ни Христо-дулы, ни Ки-риены.

— Ах, седой бездельник! — вскричала с бешенством Трифена, — возможно ли было думать? Он же и сына научает таким мерзостям! Только это мне непонятно, на что ему понадобился Епафрас? Дела сего рода свидетелей не требуют.

— Может быть, — заметил я с важностию, — это сделалось и нечаянно: отец, сделав назначение своему оборотню в беседке, не знал, что и сын для своего назначил то же самое место, — и они столкнулись.

— Это всего вернее, — говорила Трифена, задыхаясь

от гнева. – Варвара! возьми фонарь и веди меня к той беседке; а ты, Неон, пожалуй, будь на сей раз моим спутником.

Мы отправились. Подошед сколько можно тише к месту наших поисков, я отворил дверь, в которую опрометью влетела Трифена, а за нею и старая Варвара с фонарем. Я легонько притворил дверь и запер.

– А, – раздался громopodobный голос раздраженной супруги и матери, и как град посыпались пощечины. Надобно думать, что первое стремление бури обращено было на бедных девок, ибо они подняли плач и вопль.

– Ба! Неонилла, ты, голубушка, зачем здесь?

– Да, – сказал муж, пришед в себя, – эту голубушку застал я здесь под крылом ястреба; жаль только, что успел ускользнуть, проклятый! Но он мне попадется, и клянусь вырвать у него усы и обрубить нос и уши.

– Да какой это у тебя ястреб с усами и ушами? – спросила жена.

– Кому быть иному, кроме злодея Неона, – отвечал муж, скрежеща зубами.

Тут начались объяснения, и муж так был лукав, что всю вину свернул на меня и Неониллу, а себя и сына выставил только сыщиками виноватых.

– А эти две мерзавки зачем здесь? – спросила стремительно жена.

– Они случайно попались нам в саду, – отвечал муж весьма спокойно, – и я приказал им быть свидетельницами уличенного преступления.

Таким образом, преступный отец для собственно-го оправдания должен был выгораживать распутного сына.

После сильных угроз, произнесенных горько плачущей Неонилле со стороны отца и матери, они вздумали выйти; но не тут-то было. Скоро они уверились, что были заперты.

– Ах! проклятый мошенник, – вскричал Истукарий, – он в другой раз нас запер! Постой, постой! дорого заплатишь ты за все эти пакости! Что будем делать?

– Ничего больше, – сказала жена, – как выломить окно. – И спустя минуту от сильного удара – вероятно стулом – посыпались стекла и затрещала окончина.

Я ударился бежать, благополучно достиг дома Королева и улегся отдыхать в сарае на рогоже.

– Ах, Мелитина! – сказал я, вздохнувши, – сколько я виноват перед тобою! Но и то сказать, я ничем не обязывался. Ты, может быть, и не знаешь, сколько я люблю тебя! Если когда-нибудь удостоишь меня соответствия, клянусь, тогда ни одна красавица не обратит на себя моих взоров.

Бесподобная девица! скажи только: «Неон! я люблю тебя!» – и счастливый Неон твой навсегда, твой

нераздельно.

Мечтая таким образом, я уснул крепко. Хотя попеременно представлялись мне кроткая Мелитина и пламенная Неонилла, но труды и беспокойства ночные так меня утомили, что я проснулся уже гораздо после солнечного восхода.

Глава IX

Необдуманнные затеи

Поутру Король весьма удивился, услыша от батрака, что я сплю в сарае.

Когда я пришел к нему, то он спросил:

— Что это значит? Конечно, ты с кем-нибудь поразладил и, видно, дрался, — недаром при сабле.

— Ты отгадал, — отвечал я, — именно поразладил я с одними за то, что с другими слишком уже много поладил.

Тут откровенно рассказал я о связи моей с Неонилою и о последствиях сего знакомства. Король, выслушав повесть мою терпеливо, сказал весьма важно:

— Согласись, Неон, что ты поступил очень дурно, неблагодарно! После поступка твоего в доме Истукария я вправе заключить, что ты в состоянии бы так же поступить и в доме Мемнона, если б Мелитина была менее невинна и добронравна. О! сохрани тебя милосердый бог о том и подумать!

— Почтенный друг мой! — сказал я, — какая разница! Одна вселяет любовь почтительную, невинную, святую, а другая обещает чувственные наслаждения!

— Ты уже не ребенок, — сказал Король, — и очень понимаешь, что сколько бы ни прелестен был плод и

сколько бы ты голоден ни был, но если он в чужом саду, то его трогать ненадобно. Прошу тебя, Неон, в подобных обстоятельствах быть осторожнее. Конечно, ты молод и здоров, обольщения сего рода довольно сильны; но еще повторяю, что ты уже не ребенок и рассуждать учился. Посуди только о последствиях, и кипение крови твоей уймется. Неужели ты до сих пор не помыслил, что мудрая природа, вложив в оба пола стремление одного к другому, имела в виду одно ничтожное наслаждение? Совсем нет! Цель ее есть размножение существ живущих. Подумай же, чего должен ожидать ты, если Неонилла сделается матерью?

Я задрожал, потупил глаза в землю и молчал. Потом, с чувствительностию обняв опытного друга, обещался приложить все старание избегать впредь сетей соблазна.

— Еще согласишься, — продолжал Король, — что знатный и богатый Истукарий никак не простит тебе обиды, нанесенной ему в лице дочери. Падением ее, без сомнения, хвастать не будет; но он имеет множество случаев отомстить тебе тайно. И для того, пока я не придумаю, что нам полезнее делать, ты будешь жить у меня сколько можно скрытнее.

На другой день, в самые полдни, когда Король отлучился зачем-то на базар, работник принес мне письмо, объявляя, что маленькая девочка просила

его вручить мне оное и ожидает на улице ответа. Я вскрыл письмо и читал с жадностью следующие строки: «Любезный друг Неон!

Батюшка был очень сердит, но, наконец, примирился и дал слово не упоминать о прошедшем. Матушка еще более снисходительна. Целый день провела я без тебя в несносной скуке. Около полуночи приходи в сад наш к известной беседке, и тебя ожидают объятия твоей Неониллы».

Я призадумался. Что, если это козни старого Истукария, чтобы заманить меня в свои когти? Хотя я в доме его прожил более полугода, но рука дочери его совершенно мне незнакома. Однако думаю, что с помощью истинной философии могу наслаждаться утехами любви, не подвергая себя опасности. Все равно, на каком бы месте ни приносима была жертва; и огород Королев не менее к тому удобен, как и сад Истукария. Я написал в ответ: «Прелестная Неонилла!

ЗаклЮчить тебя в свои объятия для меня составляет блаженство; но в сад отца твоего не пойду. Не безопаснее ли, моя любезная, будет, когда ты пожалуешь ко мне в огород друга моего Короля? Соломенный шалаш, в коем иногда отдыхает он после трудов, столько же удобен для любви, как и богатая беседка в саду отца твоего. Приходи, моя бесценная, и ты успокоишься в объятиях твоего верного Неона».

Запечатав сию записочку, я выбежал за ворота и отдал маленькой вестнице для доставления Неонилле. а притом подарил ей два злотых. Король пришел домой уже под вечер, и с ним человек шесть крестьян.

— Неон! — сказал хозяин, поглаживая чуб, — случайно проведал я, что соседи мои бурсаки расположились сею ночью в огород мой пожаловать, так надобно угостить их по достоинству. Это добрые люди примут по-братски.

Думаю, что эта ночь будет последняя, которую проведем мы в сем городе.

Я не знал, что мне делать с моею тайною. Прежде и не думал открывать ее кому-либо; но теперь, видя, что по нечаянному стечению обстоятельств она сама собою выйдет наружу, я решился во всем признаться Королю и просить у него совета.

— Ты говоришь, друг мой, — сказал я непринужденно, — что мы в последний раз ночуем в Переяславле. Как думаешь? Ведь не мешает эту ночь провести повеселее?

С сими словами я подал ему письмо Неониллы. Король прочел и сердито пошевелил усами.

— Что же ты отвечал? — спросил он.

Я подробно рассказал ответ мой.

— Мне кажется и даже уверен, — говорил Король подумавши, — что это сети Истукариевы. Как бы Неонил-

ла пламенна ни была, то все так скоро после бывшего происшествия, по всем отношениям весьма незабавного, трудно пускаться на новое; впрочем, она молодая женщина и воспитана по-польски.

Он ходил большими шагами по горнице, как работник доложил, что какая-то старуха стоит за воротами и желает поговорить со мною. Король остановился и сказал, потирая лоб:

– Введи сюда старуху, объявив, что я с вечера уехал в чей-то хутор и до утра не возвращусь.

Работник вышел, а Король скрылся в боковой горенке. Старуха не замедлила войти, и я узнал в ней Варвару. После первых приветствий она сказала с улыбкою:

– Куда как счастлив ты, Неон, что такая молодая и прекрасная госпожа, какова Неонилла, столь горячо тебя любит! Несмотря на все запрещения строгих родителей, она решается посетить тебя на огороде. Но рассуди сам: дело ее женское, время ночное, место мало известное: чего только не должна она, бедная, страшиться? Чтобы быть ей поспокойнее, следовательно, способнее слушать любовные твои напевы, она просит дозволения взять с собою трех горничных девушек, совершенно ей преданных. Они – девки сметливые и не только не будут помехою вашим разговорам, но вместо того – стражами вашей же без-

опасности.

Несмотря на вид истины, с коим говорила старуха, я начал ощущать подозрение. Однако, не находя причины бояться чего-либо в доме моего друга, я принял лицо восхищенного любовника и, сунув сей устарелой Ириде^{10} в руку несколько злотых, сказал:

– Объяви прелестной Неонилле, что я около полуночи ее ожидаю и что касается до трех ее спутниц, то и на сие совершенно согласен.

Старуха удалилась, будучи очень довольна и мною и собою, а Король явился.

– Что, – вскричал он, остановись передо мною, – ты ничего не предчувствуешь?

– По крайней мере ничего ясного!

– А я, напротив, готов уверять, что это затеи Истукария, и бедная дочь его ничего о сем не знает. Послушай! ступай в бурсу и скажи приятелю твоему консулу Кастору, что намерение его сделать в эту ночь атаку моему огороду мне уже известно и что я приготовил нужное число храбрых молодцов для надлежащего отпора. В одну ночь, а случиться может и в один час, иметь сражение на разных местах – опасно. Надобно прежде управиться с одним супостатом, а потом уже противостать и другому.

Поручение Короля исправлено мною скоро. Консул Кастор и прочие бурсаки благодарили меня от чистого

сердца за такое дружеское предостережение. Я возвратился домой. Король изобильно угощал приведенных гостей и питьем и едою. Когда все были довольны и время приближалось к полуночи, то я с шестью сподвижниками отправился в огород. Они легли в бурьяне позади шалаша, а я начал около одного похаживать, попевая тихонько и посвистывая.

Сколько ночь ни была мрачна, однако я скоро приметил нечто мелькающее на заборе и осторожно спускающееся на землю; за сим видением перелезли еще три особы, и все тихонько начали к шалашу приближаться. Я стоял у самых дверей и продолжал легонько свистать. Неонилла подходила ближе и ближе и, наконец, пала ко мне на руки; вздохи оковали язык ее. С быстротою молнии уволок я красавицу в шалаш, усадил на большом снопе соломы и напечатлел страстный поцелуй на толстых губах ее.

В ту минуту догадался я, что имею дело с негодяем Епафрасом, а посему смекнул, что должно заключить и о мнимых спутниках. Не обнаруживая сомнения, я, сидя на соломе, обвил руку вокруг шеи моей новой любовницы.

— Ах, Неонилла! — сказал я, — зачем обрезала ты прекрасные свои волосы и всю голову завила в пукли?

— Теперь такая мода в Варшаве, — отвечали мне шепотом.

Я надрывался с досады и не знал, что начать. Тут подошли к отверстию шалаша провожатые моей любезной, и одна притворным голосом сказала:

– Тебе здесь, Неонилла, хорошо, а нам на открытом воздухе холодно; но нельзя ли и спутницам твоим погреться под соломенной крышею?

– Почему и не так! – отвечала моя подруга, – тут места довольно; полезайте!

«Ну, – думал я, – вот настоящий приступ к делу».

– Постойте, девушки, немного, – вскричал я, – дайте нам прежде расположиться так, чтоб и в самом деле для всех было удобно.

После сего я свистнул громко три раза; мгновенно послышался шум; любовница моя задрожала.

– Что это значит? – спросила она заикаясь.

– Это подоспели мои уже провожатые, – отвечал я, – коим можешь ты безопасно ввериться, как я вверился твоим. Пойдем ко мне в дом; там и теплее и покойнее.

С сими словами взял я соседа за курчавый чуб и, приговаривая: «Сюда, сюда! милая Неонилла!», волок его из шалаша, причем не преминул оделять пощечинами и позатыльщинами с таким проворством, какое может только внушить оскорбленная любовь и обманутое ожидание.

Когда в шалаше происходил сей поединок, то вне

оного совершалась целая битва. Горничные девушки Неониллы сражались как львы, зато и мои телохранители уподоблялись голодным медведям. Не малою помощью для последних было то, что шесть человек ратовали противу трех. Когда я, держа за остаток волос жертву моего мщения, выполз из шалаша, то увидел, что враги наши были в таком же положении. Торжественно вступили мы в покой Короля, где нашли довольное освещение. Мы сняли руки с голов противничьих и начали их рассматривать. Я очень знал, что не ошибся в своей догадке.

Епафрас, с пораженным в разных местах лицом, в растерзанном платье сестры своей, стоял передо мною в самом жалком положении; в спутниках его признал я двух кучеров и стремянного Истукария, одетых в девичьи платья, кои были также в клочки изорваны.

По решению Короля сопутники Епафрасовы отведены в сарай и заперты.

Оставался один молодой пленник, и начался допрос с увещанием сказать всю правду, под опасением за скрытность неминуемого истязания. Молодец, видя, что дело взяло оборот довольно важный, клялся сказать всю истину и говорил следующее:

— На другой день после суматошной ночи, столько всем нам памятной, рано поутру мой раздраженный

отец отвез Неониллу в дальний хутор наш по дороге к Пирятину и оставил ее под строгим надзором неумолимой скотницы и ее семейства, объявив твердое намерение не давать ей свободы прежде, пока не приищет для нее жениха приличного. По возвращении домой он начал вымышлять способы, как бы залучить Неона в свои руки, дабы совершить над ним примерное мщение. Он остановился на том плане, исполнение коего теперь только все видели. Я под руку сестры подписался довольно исправно, и дело пошло было на лад; но не знаю, какой злой дух предупредил о нашем намерении, и мы, шедшие сюда с тем, чтоб возвратиться с пленным Неоном, сами попались в западню и сделались пленниками.

— Что же бы отец твой думал со мною делать, — спросил я, — если б залучил в свои руки?

— О! — отвечал Епафрас, — план мщения его довольно замысловат. Он хотел отвезти тебя также в хутор, по дороге к Киеву, там выбрить голову и усы, потом приковать к стене против портрета Неониллы, дабы при каждом на нее взгляде казнился ты, сравнивая прошедшее с настоящим. В комнате, для тебя назначенной, стояла бы великолепная кровать, между тем ты должен почивать на соломе. К обеду и ужину набирали бы стол с изобильными яствами и напитками, а ты должен утолять голод сухим хлебом и жажду во-

дою. В сем положении должен бы ты пробывать до тех пор, пока Неонилле не сыщется муж.

После ее бракосочетания целую неделю, в такую пору, когда новобрачные уходят в опочивальню, тебе влепляли бы в спину по сту ударов сухими воловьими жилами. По окончании свадебных праздников тебе следовало обрить голову и усы, окорнать оба уха и полунагого выгнать батогами вон из хутора.

Я закипел гневом и мщением, хотел тут же броситься на Епафраса, но Король, удержав меня, сказал:

– Чем же виноват этот глупец? Я посмотрю, что с ним делать. Теперь заприте его в чулан, где и пробудет впредь до нового приказания.

Глава X

Благовидный побег

После ночной тревоги я проспал довольно долго. Когда, одевшись, вошел в комнату Короля, то застал его за завтраком. Указав мне пальцем место за столом, он говорил:

– Неон! после всего случившегося с тобою в сем городе, согласишься, что оставаться в нем долее было бы весьма опасно. Рано или поздно, а Истукарий тебя достанет, а тогда прощайте усы, нос и уши! Притом же ты в таких летах, что пора вступить на дорогу, ведущую к общей цели человека-гражданина, – к цели быть полезным своему отечеству. Приносить пользу можно бесчисленными образами; но как ты способен к военным подвигам, а притом дворянин, то и должно саблю прокладывать себе стезю к будущему счастью. Время к тому самое удобное. Гетман, согласясь с послами царя российского, положили непременною обязанностью освободить Малороссию из-под ига польского.

Обстоятельство сие не есть уже тайна. Храбрые малороссияне, чувствуящие в сердцах своих отвагу пожертвовать жизнью за свободу отечества, толпами стекаются на полях Батуринских и жаждут битв кро-

вавых. Неон! там ожидает тебя или смерть, или слава и счастье! Я буду твоим путеводителем; я сам не усомнюсь вступить в давно забытые битвы и саблю мою прочищу тебе дорогу ко храму славы. Может быть, ты, столько лет видя во мне огородника, считал человеком бедным, питающимся трудами рук своих; нет, я тебе за восемь лет нечто о сем заметил, но ты был слишком молод и не мог понять меня. Так, я столько богат, что, кроме самого себя, могу содержать и тебя в надлежащем довольстве, и сегодня же дом мой и огород со всеми орудиями и плодами дарю таким людям, которые, может быть, чрез сие самое перестанут быть негодьями и ворами, именно – дарю бурсакам. Вот и письменное на это свидетельство, утвержденное ректором семинарии и всею градскою думою. Пойдем к ним!

День был праздничный, и мы застали консула со всем сенатом, окруженного ликторами и целерами. Все несколько смутились, увидя Короля, вошедшего к ним в полном вооружении. Им представился вчерашний замысел загулять в огород его, и они не без причины ожидали сильных упреков, а может быть, чего-нибудь и худшего. Король сказал:

– Друзья мои, бурсаки! Десять лет живем мы по соседству, и вы согласитесь, что в течение сего времени наделали мне тысячу пакостей. Вы не столько крали

плодов из моего огорода, сколько портили растений. Я отсюда отъезжаю надолго, а может быть и навсегда. При прощанье хочу сделать вам добро, надеясь, что вы будете это помнить, и не иначе станете кормиться, как честными трудами. Дом мой хотя не велик, но все больше этой хаты, а притом устроен весьма выгодно. На дворе есть сарай, наполненный огородными орудиями, самый огород изобилует плодами всякого рода; все это дарю я вам, всем вообще. Довольны ли вы?

Бурсаки, поражены будучи такою неслыханною щедростью, таким невероятным великодушием, потупили в землю глаза, наполненные слезами.

Король продолжал:

— Консул, как и ныне, будет иметь главный надзор за новым имением; все же вы, наверное, станете прилежно смотреть за целостию вашего имущества, дабы другие не делали вам таких же опустошений, какие вы мне делали. Вот, консул, возьми сие письменное свидетельство, коим я навсегда делаю всех вас моими законными наследниками, и вот двадцать злых, на которые завещаю приготовить сытный обед. Через час, или и ближе, я с другом Неоном оставляю город, и вы в то же время можете переселиться в новое свое жилище.

Король умолк. Тут консул Кастор мерными шагами

выступил вперед, распрямился и, левую руку приложив к груди, а правую возвысив наравне с головою, произнес:

– Великодушный Король! что мы чувствуем в полной мере раскаяние за причиненные тебе обиды, то видишь ты из глаз наших. Принимаем щедрый дар твой с благодарностью. Если ты отправляешься в путь, то да будет господь бог и к тебе столько милосердия и благ, сколько ты к нам таковым оказываешься!

– Довольно! – сказал с кротостию Король, обнимая Кастора, – и я умоляю бога, чтобы он благоволил внять доброму желанию всей братии. Простите!

Я также с братской нежностью обнял друга юности моей, и мы с Королем вышли из бурсы.

– Теперь надобно еще разделаться с нашими пленными, – сказал старик, – и мы расквитаемся с Переяславлем.

Вступив на двор, я увидел у крыльца два добрых коня в дорожном уборе, а на крыльце сидели шесть вчерашних гостей. По приказанию хозяина, Епафраса первого вывели из заточения. Он сильно переменялся в лице; растерзанное женское платье делало его похожим на пугало.

– Сын Истукариев! – сказал Король, – хотя ты и стоишь наказания за соучастие в злом умысле отца своего, но кажется, что ты и так уже достаточно наказан.

Покажите мне прочих!

Когда выпустили из сарая трех телохранителей, то мы ахнули. Они были так избиты, измяты, истерзаны, что более походили на теней, вышедших из чистилища, чем на людей православных. Ни одного чуба, ни одного уса не осталось в целости; лица их, испещренные язвами, походили на зрелые мухоморы.

Король, осмотрев каждого порознь, сказал, покачив головою:

– Не рыть было другому ямы! Ступайте к своему пану Истукарию и скажите ему, что видели и слышали.

Бедняки поклонились в ноги великодушному врагу своему и, подобрав остатки висевшего на них женского платья, бросились со двора и пустились по улице.

Король, дав еще денег услужливым крестьянам, велел им идти в корчму и попить за его здоровье; сам же, сопровождаемый мною, вошел в светелку, пал на колени пред изображениями угодников и начал молиться. Я следовал его примеру. По исполнении сего приятного долга вышли на крыльцо, сели на коней и пустились со двора, а там из города.

Когда мы были от одного верстах в пяти, то дали коням отдых и поехали шагом. Мы продолжали путь свой местами прекрасными, каких я до того времени не видывал. Небольшие холмы, пересекаемые долинами, покрыты были благословенными нивами, и

взору представлялось необозримое золотистое море; кое-где по дороге росли вишневые и шелковичные деревья, могущие под тенью своею успокоить усталого путника или хлебопашца. Я любовался сею прелестною картиною и не мог насытить своего зрения, но, взглянув на Короля, с удивлением заметил, что он тяжело вздохнул. На вопрос мой о причине такового уныния при воззрении на смеющиеся виды он отвечал:

– Увы! может быть прежде, нежели трудолюбивый селянин соберет в житницу свою сии плоды потовых трудов его, они будут преданы на жертву пламени или потоптаны конскими ногами и окроплены кровию человеков. Такова всегда участь войны. Необходимость иногда заставит выжечь собственное поле и обрушить свое жилище.

Слова сии разлили уныние и на моем лице. Несколько времени ехали мы в молчании, и наконец я спросил:

– Куда мы едем?

– Разумеется, – отвечал Король, – что я не оставлю сей стороны, не простясь с другом моим Мемноном; но сию околичную и дальнюю дорогу избрал я нарочно для избежания погони от Истукария. Неужели думаешь, что сей надменный пан равнодушно снесет свою обиду, которая и в самом деле не есть мнимая,

и простит тебя великодушно за то, что ты ускользнул от него небитый и с целыми ушами и усами? Никак! Если два человека, а особливо когда в сем числе будет женщина, знают какую-либо тайну, то она останется тайною не более суток, хотя бы обнаружение оной влекло за собою беду очевидную; посуди же, могут ли остаться скрытными происшествия в беседке и в моем огороде, где столько народу участвовало? Я уверен, что о сем трубят в целом Переяславле, в домах, на улицах, на базарах и в шинках. Как же Истукарию оставаться спокойным слушателем? Это было бы несогласно ни с его нравом, ни с достоинством дворянина, ни с чувствами всякого отца, справедливо раздраженного! Однако солнце гораздо за половину, и надобно дать коням отдых. До хутора Мемнонова еще не близко, однако же сегодня доедем. Мне довольно знакомы места сии. Кажется, за тем молодым лесом есть деревушка и корчма. Спросим-ка у этого крестьянина, который пашет землю, вероятно, для посева гречихи. Мы поворотили коней с дороги. Крестьянин, который был от нас саженьх в двадцати, кинул свой плуг и волов, опрометью бросился к телеге и скрылся за нею. Я хотел спросить у своего спутника, чего сей мужик испугался; но он, усмехнувшись, сказал:

— Я догадываюсь, что это шляхтич.

Минуту спустя последовало превращение. Из-за телеги показался и шел прямо на нас мужчина в синем поношенном жупане; длинная сабля волоклась за ним. Довольно издали он снял шапку, поклонился с ласковою улыбкою и вскричал:

– Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалею, что замок мой не близко отсюда, а время настает полдничать. Во время полуденного зноя я немного уснул, а бездельники, мои подданные, воспользовались сим случаем и разбрелись до одного. Впрочем, господа, если вы чувствуете позыв на еду, то милости прошу пожаловать к моей бричке. Там найдете вы свиное сало, мягче и вкуснее всякого масла, довольное число преизящных луковиц, величиною с рослую репу, и хлеб, какого лучше не ест и сам гетман.

Король, расспросив его о ближней деревне и узнав, что он не обманывается, опустил в карман руку и вынул два злотых, сказав с великою важностию:

– Господин кавалер! просим извинить, что мы у тебя полдничать не будем, ибо спешим к месту, где нас ожидают; однако ж ты представь, что мы поели твоего хлеба-соли, и в знак памяти прими сию малость.

Тут опустил он свои злотые в шапку нового знакомого, а сей, поклонясь учтиво, сказал:

– Ин прощайте, господа кавалеры! Деньги же сии я отдам первому прохожему, который пособит мне

сесть на иноходца. То-то добрый конь! Ни у кого из соседних дворян нет подобного.

Он положил деньги в карман и с великою важно-
стью пошел к своей бричке, а мы далее поехали.

— Что за оборотень! — вскричал я, не могши удержаться от смеха.

— Этот бедняк, — отвечал Король, — заражен язвою, которая из Польши перелилась в Малороссию и великое множество крестьян лишила рассудка.

Обработывание отеческих полей показалось им низким занятием. С ущербом большей части имущества каждый из таковых безумцев достал себе какие-то свидетельства на дворянское достоинство — и ходит при сабле; но как терпеть голод никому не хочется, то они, хотя с отвращением, должны обрабатывать свои нивы, не пропуская, однако ж, случая выказывать мнимое свое благородство. Пробыв в поле или в лесу целую неделю, занимаясь паханием земли или рубкою дров, в воскресный день таковой дворянин является в церкви при сабле, с закрученными усами; курительная трубка и мешок с табаком заткнуты за пояс, и он выступает как вельможа.

Отдохнув в сказанной деревне, мы пустились в дальнейший путь и еще засветло прибыли в хутор Мемнона и приняты как друзья и родные. Евлалия была очень ласкова, а прелестная Мелитина весела

и внимательна к доставлению нам возможного удовольствия. По предварительной просьбе моей Король ничего не говорил сему любезному семейству об истинной причине удаления нашего из Переяславля. К немалому моему утешению, следующие три дни были самые ненастные, и так я беспрестанно имел случай наслаждаться рассматриванием прелестной Мелитины. Я часто бывал с нею один на один, собирался открыть весь пламень моего сердца и всякий раз откладывал до другого времени – непонятная робость оковывала губы мои: я довольствовался смотреть ей в глаза, ловить милую улыбку и восхищаться втайне.

Настало ведро. Ах! какими пасмурными глазами смотрел я на все предметы, освещаемые солнцем. Час отъезда настал. Я проливал слезы, и мне показалось, что и Евлалия и Мелитина несколько раз отворачивались в сторону и утирали глаза свои. В беспamięтстве бросился я на коня и, сопровождаемый Королем, выехал из жилища, где оставались все мои радости, все надежды на блаженство.

Часть вторая

Глава I Пустынник

С самого утра до заката солнечного мы почти не слезали с коней.

— Я решился, — говорил Король, — в этот еще день поспеть в село Глупцово, дабы от Переяславля по дороге к Пирятину быть в таком же расстоянии, в каком были мы, находясь в усадьбе Мемнона. Надобно было ехать обратно почти мимо самого города; но я Истукария не боялся. Если он искал нас столько времени тщетно, то, наверно, теперь оставил уже намерение найти. Мы недалеко от упомянутого села, следовательно, почти в тридцати верстах от Переяславля.

Когда он говорил сии слова, то лошади остановились, подняли уши и попятились назад. Осматриваясь кругом, мы увидели, что под диким вишневым деревом лежал пожилой казак с протянутою рукою.

— Милосердые господа! — говорил он томным голосом, — если в глазах ваших чего-нибудь стоит человек, изувеченный за честь своей отчизны, то не оставьте

меня в сем жалком положении без помощи. Взгляните на мои раны и умиосердитесь!

Он хотел было распахнуть грудь, но Король, быстро к нему подъехав, вскричал:

– Не надо! мы не хотим, чтобы ты для приведения нас в жалость растравлял свои раны. Скажи, где и как получил ты оные?

Казак, принеся богу благодарность, что нашел таких великодушных людей, кои, не осмотрев даже и ран его, склоняются на милосердие, сказал:

– Принадлежа, по благодати промысла, к сословию дворянства, но не имея никакого имущества, кроме сабли, я вздумал воспользоваться обстоятельствами и пойти в Батурин для присоединения к ратникам гетманским. В одной корчме, недалеко отсюда, столкнулся я с несколькими польскими всадниками. Они стали насмехаться надо мною, и это я снес терпеливо, ибо и в самом деле одет и вооружен был хуже последнего из них. Снисхождение мое, видно, приписали они трусости и вздумали озорничать. Повертывая меня на все стороны, они, будто нечаянно, щипали за волосы, дергали за усы, толкали под бока, словом, старались вывести из терпения. «Правду сказать, – вскричал один из нахалов, захохотав во все горло, – если гетманские витязи все таковы, как сей богатырь, то мы у его высокомочия пострижем лишнюю шерсть,

ибо он не что иное, как мохнатый баран». — «Если и так, — сказал я, подняв вверх взъерошенные усы, — что гетман наш есть баран, то в повелениях его находится много волков и медведей, которые в состоянии оторвать головы польским зайцам и лисицам». Такое удачное сравнение их взбесило. Сперва в действии были одни кулаки, а вскоре дошло и до сабель. Не хвастовски сказать, я ратовал храбро, и кровь польская разливалась по полу; но что может сделать самый смелый и сильный медведь против великого множества собак? Они непременно его одолеют. Так вышло и со мною. Супостаты меня обезоружили, изранили и, отняв кошелек, в коем было медными деньгами не менее пяти злотых, вытащили из корчмы и кинули среди улицы. Теперь я по необходимости должен возвратиться на родину; но без помощи милосердых людей не могу сего сделать.

Во время такого плачевного рассказа Король несколько раз опускал руку в карман и вынимал полную горсть денег, но, к несчастью, они все были золотые.

— Неон! — спросил старик, — нет ли у тебя серебряных денег?

— Ты знаешь, — отвечал я, — что они уложены в дорожной суме.

— Как же быть? — сказал он сраженному воину. —

Ночь на дворе, и тебе не оставаться в поле. Попробуй дойти с нами до ближнего села; там мы тебя накормим и дадим на дорогу денег.

Больной с благодарностью на сие согласился, кое-как поднялся на ноги и, опираясь на костыль, побрел за нами. Мы нарочно ехали шагом, а иногда и останавливались, дабы не потерять его из виду, и в сумерки прибыли в село, где, остановясь в корчме, заказали ужин и велели хозяину накормить нового нашего знакомого, коему дав, сверх того, несколько злотых, отпустили с миром. Он, пожелав нам за таковую щедрость седмичного воздаяния от праведного неба, удалился. Мы провели вечерок в разговорах самых разумных и уснули весьма покойно.

Путру, когда я и Король, сидя у окна в ожидании завтрака, припоминали прошедшее и я собирался уже просить его об извещении меня, кто таковы мои родители и кто он сам таков, вдруг корчмарь ввел старика степенного вида в простом платье. Он поклонился нам со смирением и сказал:

— Мой честнейший пан Урпассиан желает вам здравия и долгоденствия. Он прислал меня просить вас всеуниженно почтить день его рождения и разделить сельскую трапезу.

Мы взглянули друг на друга и не знали, что отвечать посланному от неизвестного пана Урпассиана.

— А кто таков господин твой? — спросил Король, — и почему нас знает, когда мы в первый раз о нем слышим?

— Он вас довольно узнал сего самого утра, — отвечал незнакомец. — Израненный казак, коего вчера призрели вы и облагодетельствовали, случайно прибился к летнему жилищу нашего господина и все подробно рассказал ему.

Этого достаточно было, чтобы тронуть великодушное сердце его, и он тотчас велел мне взять лошадь, скакать сюда и умолять вас не презреть его приглашение. У него лишних людей не будет, а только несколько неимущих братьев, которые привыкли посещать его временно и безвременно и которых он всегда угощает с добродушием.

— Но кто он таков, — спросил Король, — и где его жилище?

— Он, — отвечал слуга с тяжким вздохом, — был такой же витязь, как и вы; служил при дворе, сражался и в поле и везде заслужил отличие. Но злобная жена и распутные дети сделали свет для него омерзительным, и он решился остаток жизни провести в уединении и пещись о спасении души своей. Он продал все свое имение и зиму провождает с верными служителями где-нибудь в монастыре, а весну и лето — в садах и рощах. Теперь обитает он в недалней прелестной

роще, где и вас нетерпеливо ожидает. Если вам у него полюбится, то можете прожить сколько хотите; если же нужда заставляет спешить куда-либо, то из-за обеденного стола изволите сесть на коней – и с богом.

Он никого не неволит.

Король, подумав несколько, сказал:

– Последнее условие мне нравится, ибо мы и подлинно спешим достичь до назначенного места. Но тебе нас дожидаться долго, ибо обеденная пора настает не скоро. Поезжай к своему господину, объяви наше почтение и готовность разделить его трапезу, а около полудня приезжай сюда опять, дабы проводить нас.

– Господа! – воззвал слуга, – пока будете вы завтракать, что и я намерен сделать, пока подбреют вам усы и чубы, пока оседлают коней, то будет около полудня, и мы поспеем к Урпассиану в самую пору.

– И то правда, – сказал Король.

Слуга Урпассиана не обманулся, ибо, пока мы собрались, то было уже не рано; итак, не мешкав нисколько, мы отправились. Пробыв около получаса в дороге, мы подъехали к дремучему лесу.

– В сей-то роще, – воззвал слуга, – спасается теперь господин мой. Он молится богу, прогуливается, читает душеполезные книги, угощает бедных и иностранных и не видит, как день проходит за днем. Хотя

он довольно достаточен, но с богатыми людьми не ищет знакомства, разве о ком прослышит что-нибудь необыкновенно доброе и великодушное, как, например, о вас. Как же он рад будет, увидя, что вы не презрели его желания и не отреклись посетить его пустыню.

Говоря таким образом, мы продолжали путь, беспрестанно виляя то направо, то налево, ибо ехать напрямик было невозможно по причине густоты леса, переплетшихся кустарников и опрокинутых деревьев.

— Не охотник ли господин твой ходить за дикими зверями, — спросил Король с некоторою досадою, — что забился в такую трущобу? Здесь скорее встретишься с медведем, чем с человеком!

— Слава богу, — отвечал слуга, — мы про зверей не слыхали и живем здесь, как в самой лучшей крепости.

Промаявшись в сем лесу более часа, на каждом шагу защищая лицо, чтоб сучья не выбили глаз, очутились мы у входа в приятную долину, испещренную различными цветами. По одну сторону оной раскинута была просторная палатка при корне древнего развесистого дуба, откуда вытекал источник чистой воды; по другую сторону человек около полусотни нищих и увечных всякого рода сидели кружком на траве, ели и пили. Едва мы, подражая слуге, соскочили с коней и привязали их к древесным ветвям, как показался из

палатки пан Урпассиан. Он был пожилой, но крепкий мужчина, одетый в купецкое платье, с полуседою бородою. Подошел к нам быстрыми шагами, обнял обоих с сердечным добродушием и сказал:

– Стократно благодарю вас, что вы не презрели приглашения простого пустынного. Правду сказать, узнав вчерашний добродетельный поступок ваш с раненым земляком нашим, я ожидал от вас сего великодушия; а притом на опыте знаю, что люди, обыкновенно проживающие среди городского шума, находят иногда удовольствие провести несколько часов в старческой келье. Прошу за мною, дорогие гости. По ту сторону палатки, под ветвями великолепного дуба, готовый обед нас ожидает.

Мы сели на траве и начали насыщаться. Как в пище, так и в питье было великое изобилие. Хозяин с минуты на минуту становился веселее и, как приметно было, хотел и нас видеть веселыми. Он беспрестанно потчевал самыми вкусными наливками.

Во время сего лесного пиршества, которое ни в чем не уступало городскому, Король несколько раз заводил речь о таком чудном роде жизни и изъявлял желание знать обстоятельные тому причины; но вежливый хозяин вопросы сии отклонял весьма искусно и наконец сказал с откровенною улыбкою:

– Почтенные гости! хотя я возымел об вас по од-

ному слуху самое доброе мнение, а с первого взгляда полюбил от всего сердца, однако согласитесь, что мы еще не столько знакомы и уверены один в другом, чтобы не было ничего между нами тайного и что прилично только между друзьями, давно испытанными.

Король весьма похвалил такое благоразумие, и мы встали, чтобы поблагодарить бога за дары его. Я чувствовал, что не твердо стою на ногах; голова кружилась, и глаза слипались. Король объявил, что точно то же чувствует.

— Любезные гости, — сказал пан Урпассиан, — прошу не принуждать себя! Я сам привык после сытного обеда несколько отдохнуть, а потому советую и вам подражать моему примеру.

Я хотел что-то сказать, но язык не двигался, ноги поколебались, и я, опускаясь на траву, успел только заметить, что друг мой Король лежал уже растянувшись.

Когда я пробудился и открыл глаза, то удивление было не малое. Густой мрак окружал всю природу; глубокая тишина господствовала; небо усеяно было звездами. Я привстал, перекрестился и начал осматриваться кругом. Скоро я мог уже различать предметы, и прежде всего постиг, к великому ужасу, что сижу в одной сорочке; недалеко от меня храпел Король точно в такой же одежде; на обоих не было даже ша-

ровар и сапогов.

«Что за диковина! – думал я, – неужели заботливый Урпассиан велел раздеть нас почти донага, дабы могли мы спать покойнее? И для чего не прикрыть чем-нибудь? Пора ночная и места лесные». Осматриваясь далее, я ничего не видал, кроме деревьев и кустарников; на месте, где стояла палатка, торчали одни колья. Я в другой раз перекрестился, встал, обошел кругом всю долину, но нигде не видно было ни следа существования живущего.

Облокотясь на пень дуба, служившего мне покровом во время задачливого отдохновения, я силился обдумать все части сего происшествия, и наконец должен был сознаться самому себе, что мы с Королем порядочно одурачены.

«Точно так, – сказал я вполголоса, – вчерашний израненный казак есть не что другое, как мошенник из шайки Урпассиана, который, как по всему видно, есть начальник оной; во время обеда в подносимые нам наливки подмешано было сонное зелье. Пусть я, неопытный бурсак, привыкший видеть всегда открытые лица своих товарищей, мог обмануться в сем случае, но Король, прошедший, по словам его, сквозь огонь и воду, и сам Король также не мог заблаговременно спохватиться!»

В воздухе начало сереть, и холод стал ощутите-

лен; я нарвал несколько охабок травы, прикрыл ею своего спящего друга, и сам, зарывшись в такое же одеяло, с нетерпением ожидал зари утренней. Пение лесных птиц возвестило восшествие на твердь небесную лучезарного светила, и я опять поднялся на ноги. Осматривая вновь пагубное место сие, я увидел на нижней ветви дуба повешенное на нитке письмо. Зная наверно, что оно принадлежит нам, я снял, развернул и прочел следующее:

«Любезные друзья!

Вы зашли в сию прелестную рощу по моему приглашению, так справедливость требует, чтобы я помог вам и выйти из оной. В двух саженях от знакомого вам дуба увидите старую липу; ступайте прямо по направлению от дуба до липы, и вы скоро выйдете из леса, а там достигнете и селения, где за день останавливались. По пробуждении вы найдете себя в такой легкой одежде, что соблазнительно было бы являться на глаза целомудренных женщин; для избежания сего прикройтесь одеждой, которую найдете в дупле упоминаемой липы, где хранится для вас и завтрак. Хотя вы вчера и хорошо покушали, но все-таки не мешает на дорогу подкрепить силы. Видите, как я великодушен! На прощанье даю вам, а особливо тебе, старый фалалей^{11}, добрый совет, не быть слишком легковверным и не думать, что накормить голодного и дать ему

несколько злотых есть такое великое дело, что слух о нем пронесется до концов вселенныя.

Урпассиан».

Глава II

Новый друг

Когда я кончил чтение сего ругательного письма, то Король чихнул, потянулся и открыл глаза. С удивлением осматривал он самого себя, меня и окрестные предметы. Наконец встал, отряхнулся и, подошед ко мне, спросил:

– Что это значит?

– Не больше и не меньше, – отвечал я, – как что мы оба – набитые дураки.

С сими словами я подал ему письмо. Король прочел и, сердито потирая рукою чуб, произнес:

– Проклятый обманщик! Возможно ли обокрасть так хитро? Он, однако, говорит правду, называя нас дураками, а особливо меня. Куда теперь пустимся без денег, без коней, без оружия?

Он задумался и, с важностию закручивая усы, медленными шагами ходил вокруг дуба. Я машинально следовал по пятам его, и когда Король оглядывался назад, то мы печально смотрели друг на друга и продолжали хранить молчание.

Так прошло около получаса, и друг мой, остановясь, сказал:

– Нечего больше делать! Оденемся в оставленное

нам платье и пойдём в село Глупцово. Слава богу, что мы вчера не совсем одурели и не взяли с собой дорожной сумы. Там найдём по паре хорошего платья и несколько сотен злотых. Я найму коня и с половиною денег поскачу в хутор к Мемнону, а ты останешься на месте и меня дождешься.

— Почему же и мне не ехать вместе с тобою? — спросил я торопливо.

— Совсем не для чего, — отвечал он довольно сурово, — ты будешь мне только остановкою в пути; а потом не забудь, что должно ехать почти мимо самого Переяславля.

Я вздохнул и дал согласие терпеливо ожидать его возвращения.

Осмотрев пространное дупло липы, мы нашли, что на связке платья, покрытой древесными листьями и травою, лежал кусок жареной баранины, две булки и щепотка соли, а в углу стояла небольшая сулея с вином. Вынув сей завтрак, вытащили и связку; но кто опишет изумление наше, когда, развернув ее, нашли одно платье монашеское, а другое женское, крестьянское. Мы не могли удержаться от смеха.

— Ах, насмешливый злодей! — вскричал Король, — как мы в сем уборе покажемся в люди? Не сочтут ли нас самих или сумасшедшими, или мошенниками?

— Не лучше ли мы сделаем, — сказал я, приняв вид

глубокомысленного, – когда, одевшись и поевши хорошенько, проберемся только до конца сего проклятого леса, а к селу пойдем ночью. Пусть же посмеется над нами один жид с семейством, а не целое селение.

Король похвалил мое предложение, и мы превратились – он в смиренного инокa, а я в стыдливую красавицу. Совершив сей подвиг, мы принялись за сулею, булки и баранину, не переставая удивляться своей оплошности и лукавству Урпассиана, который, по все-му вероятно, проведав о нашем имуществе от мнимого раненого казака, который в самом деле есть его сообщник, выдумал средство постричь нас в болваны.

Среди сих рассуждений и замыслов о будущем слышали мы невдалеке разные смешанные голоса и вскоре увидели множество людей, прямо на нас бегущих. Они были исправно вооружены, итак, не мудрено, что мы сочли их за разбойников. Когда сии пришельцы нас окружили, то начальник подошел с язвительною улыбкою и сказал:

– Хлеб да соль, честный отче! В какую обитель провозжаешь ты эту прелестную девицу? Как же хороша она! какой щегольский чуб! какие нарядные усы! Не хочешь ли, преподобный, прогуляться с нами в город Пирятин, где войсковой старшина давно уже приготовился принять тебя в свои объятия!

– Не для чего, – отвечал Король равнодушно, – мы

и без тебя знаем дорогу, которой идти надобно.

— Не упрямясья, богобоязненный отшельник, — говорил пришлец, — если не хочешь, чтобы тебя поволокли туда связанного.

— А какими ты нас почитаешь? — спросил Король, взглянув на него сурово.

— Отвечать не мудрено, — сказал тот, — вы мошенники и разбойники, которые прославились во всей здешней округе. Неужели думаете, что, нарядясь не в свои платья, можете обмануть есаула Кошку? Нет, друзья мои! не на такого напали! Полно вам проказничать; пора приняться за покаяние.

Король, видя, что от есаула Кошки не легко отделаться, почел за лучшее рассказать ему обстоятельно случай, познакомивший нас с плутом Урпассианом, а в доказательство истины подал ему письмо. Есаул, с сомнительною улыбкою оборачивая хартию на все стороны, спросил у подчиненных, нет ли кого из них, который умел бы прочесть? К счастью, такой мудрец нашелся, и письмо прочтено во услышание всех.

Есаул долго стоял задумавшись и наконец сказал:

— Очень жаль, если ты говоришь правду и вы в самом деле честные люди; но в этом надобно удостовериться; ибо Урпассиан ваш имеет более сотни имен и столько же разных облачений. Он является поляком, черноморцем, туркою, паном, нищим, молодым

человеком, стариком – чем вздумается, – и под сими прикрасами грабит честных людей и веселится на их деньги. Он имеет многолюдную шайку, состоящую из отличных плутов разного рода, которые, по примеру своего начальника, расползаются повсюду, по хуторам, селам и городам, обманывают, крадут и делают бесчинства неслыханные. Если и подлинно вы оба не сего участка люди и одурачены плутом, то стоит вам дойти с нами до села Глупцова, и как скоро там подтвердится, что теперь слышу, то ступайте, куда хотите, а мне придется опять заботиться о поимке мошенника.

– Но как, – возразил Король, – в столь неприличном наряде показаться нам среди дня между народом?

– Если вы честные господа и не скупы, то горю сему пособить можно.

Двух человек из моих подчиненных раздену до сорочки, и в их платье вы можете одеться, а пришедши в корчму, пришлю оное сюда обратно.

Король обещал за каждую пару по два злотых и тотчас получил желаемое; мы переоделись и отправились в село Глупцово.

Прибыв на место, мы многолюдством своим привели всю корчму в волнение.

Жид объявил всенародно, что нас знает, что мы у него ночевали и что ездили куда-то в гости.

– Теперь ясно, – сказал есаул, потирая лоб, – и вы оба свободны; оденьтесь в свои платья, а эти отошлем хозяевам.

Король велел принести дорожную суму, и жид всполошился.

– Как! – воззвал он, повертывая на голове еломок свой, – не вы ли вчера, несколько за полдень, присылали сюда того самого слугу, который с вами отсюда поехал, чтобы он привез вам и суму, у меня оставшуюся?

– Бездельник! – вскричал Король с великим гневом, – как смел ты чужие пожитки отдавать неизвестному человеку без подлинного на то приказания?

– Но он сказал, – продолжал жид, – что вы оба то приказывали! Чем я виноват? Почему мне знать, что человек, с которым вы вместе едете, незнаком вам совершенно?

Король шумел, бранился, грозил; но все взяли сторону жида, а нас единогласно обвиняли в легковерии и глупости. После нескольких споров, упреков, несогласий жид решился дать Королю сто злотых в долг за христианские проценты на шесть дней за тридцать злотых, а я должен оставаться вместо залога. С есаулом Кошкою разделались честно, дали вдвое сверх условленной платы, только бы платья, на нас бывшие, продержат могли целую неделю; а сверх того,

как он, так и сопутники его щедро употчеваны.

После сего Король не хотел медлить ни одной минуты; он отсчитал мне двадцать злотых, сел на жидовскую клячу и отправился в путь.

Остаток дня проведен мною очень скучно. Живя в бурсе, а после в доме Истукария, я привык к многолюдству, и оставаться совершенно одному было для меня тягостно; почему на другой день вздумал осмотреть на досуге все окрестные места и попытаться, не открою ли где следов грабителя Урпассиана и не найду ли способа возвратить потерянное. В сем намерении вышел я из селения и побрел куда глаза глядели.

Шатавшись более трех часов, я почувствовал усталость и жажду.

Осматриваясь кругом, увидел недалеко подле проселочной дороги корчму и с радости направил к ней стопы свои. Я не мог не заметить в стороне богатого хутора. На возвышенном холме расположен был господский дом, наружным видом походивший на укрепленный замок, могущий выдержать упорную осаду; в некотором отдалении разбросано было до двадцати крестьянских хат; синеющие рощи и сады со всех сторон окружали сию усадьбу и широкая речка протекала вдоль всего поместья. Сидя под навесом корчмы, я забавлялся вишневною, и мне пришло на мысль тут же и отобедать, а к ночи только возвратиться на

свое пепелище. Когда я давал о сем приказания своему хозяину, вдруг явился перед нами дородный мужик, неся на плечах стреноженного барана.

– Жид! – сказал он, – купи у меня барана, молодого, жирного барана!

– Нет, Влас, нет! – вскричал жид, пятась назад, – мне во всю жизнь не забыть, что я прошлого лета купил у тебя корову. Пан Истукарий взял с меня втрое дороже, нежели чем она стоила бы в самое дорогое время. Убирайся с своим бараном далее или приноси что-нибудь свое, а не панское, ибо я знаю, что баран сей не твой.

Сказав сие, жид вошел в избу, а мужик со вздохом сложил со спины барана на землю, развязал и дозволил бежать к стаду, пасшемся на лугу в виду нашем. Имя Истукариево меня поразило, и я тотчас мог догадаться, что видимые мною хутор и господский дом принадлежат ему и, почему знать, может быть тут-то заключена нежная, пламенная Неонилла! Надобно воспользоваться случаем!

– Влас! – сказал я, – для чего ты, зашед в корчму, ничего не выпьешь?

– Ох! – отвечал он пасмурно, – на это есть самая законная причина!

Тут выворотил оба пустые кармана.

– Ты будешь пить самый лучший пенник, – сказал

я, – если согласишься побеседовать со мною, а между тем и пообедаем вместе.

Влас оторопел от радости и удивления. Получив от меня деньги, бросился он в корчму и возвратился под навес вооруженный сулеею и чаркою. Когда опорожнил он два раза сряду сию меру, то с улыбкой обтер усы и, севши на лавку против меня, сказал:

– Куда как милосерд господь бог, что даровал бедным людям такой дорогой напиток! Если я опорожню одну чарку, то пан Истукарий не кажись мне и на глаза: как раз утру нос!

Следуя моему намерению, я потчевал Власа щедрою рукою, и когда мы окончили обед, то он был в самом лучшем расположении духа. От него узнал я, что Неонилла и действительно заключена в сем хуторе и находится под неослабным надзором его жены, ее сестры и матери, которые все, по словам его, были совершенные ведьмы.

– Днем, – говорил Влас, – они поочередно стерегут молодую госпожу, а мне дозволяется в это время спать, сколько душе угодно, и за стадом смотрит один брат мой Вукол; зато уже ночью Влас не дремлет. Я безвыходно должен быть в передней господского дома, и без моего ведома не прокрадется во внутренние покои и муравей.

– Хлопотлива же твоя должность! – сказал я, – ты,

верно, охотно бы от нее отказался?

– Все бы ничего, – отвечал Влас, – если бы во время ночного бдения была со мною сулея с добрым вином; а то, посуди сам, если ты человек крещеный, каково мне сидеть одному в маленькой горенке, впотьмах, с засохшим горлом?

Да я к тому ж не понимаю, зачем стеречь так строго Неониллу? Люди и без того ее не видят; а если нечистая сила вздумает загулять к ней, так и сто таких Власов, как я, не усмотрят.

У меня сейчас родилось прекрасное намерение воспользоваться простотою сего человека и хотя однажды взглянуть на нежную красавицу, страдающую за то, что я сильно ей полюбился. Тут сожаление, чувственность, гнев на притеснителя и обиженное самолюбие начали действовать надо мною соединенными силами.

– Послушай, Влас! – сказал я, – ты человек добрый и умный, и я полюбил тебя с первого взгляда. Товарищ мой, с которым еду в Батулин, возвратится ко мне в село Глупцово не прежде трех или четырех дней. Доволен ли будешь ты, если предложу тебе быть ночным твоим собеседником? Вина у нас всегда будет вдоволь; мы станем попивать, рассказывать друг другу были и небылицы и не увидим, как пролетит ночь, сколько б длинна ни была она. Рано поутру

я отправлюсь каждый раз сюда, а вскоре прибежишь и ты. Мы поедем и попьем исправно и поспим сколько нам вздумается. Ну, дорогой Влас, нравится ли тебе мое предложение?

— Как бы не нравится, — отвечал он, потупя глаза на землю и чешась в затылке, — но как сему поверить!

С какой стати делиться тебе со мною вином, когда имеешь полное право пить его один? Видно, ты вздумал надо мною насмеяться?

— Напрасно так думаешь, Влас, — говорил я со всею искренностью, — я человек такого разбора, что не могу пропустить в горло ни капли вина, ни проглотить куска хлеба, если, по несчастию, сижу за столом один. Если бы и сегодня ты со мною здесь не столкнулся, то подозревал бы одну из дворовых собак и стал бы угощать ее, дабы придать себе к еде охоты. Сверх же того, я уже сказал, что полюбил тебя с первого взгляда и охотно бы хотел на несколько ночей быть твоим собеседником.

Влас не такой был дурак, чтобы заставить долго просить себя попить и поесть. Как скоро уверился, что над ним нимало не шутят, то обнял меня с нелицемерною радостью и условие заключено.

— Послушай, брат Галик (так я называл себя), — сказал он, — проходить тебе до моей передней через весь пространный двор несколько опасно.

Положим, что все люди будут уже спать; но кто усыпит проклятого Барбоса с детьми его и женами? Они такой поднимут содом, что весь двор встрепетается!

— И прежде замечено, — говорил я, подавая ему полную чарку, — что ты человек нарочито разумный. Вижу, что двором проходить неудобно. Нельзя ли через сад?

— Это-то самое и я хотел сказать, — отвечал Влас таинственно. — Дня еще осталось довольно, и ты успеешь обстоятельно рассмотреть нашу усадьбу.

Идучи около сада стороною к полю, ты увидишь в углу забора старый огромный тополь, на коем иногда филин поет по ночам песни. Как скоро смеркнется, ты можешь перелезть со всем своим запасом через плетневый забор и засесть у корня сего дерева в густом бурьяне. Едва замечу я, что в хуторе все спят, то войду в сад, проберусь к тополю, прокричу трижды голосом филина, и ты выйдешь ко мне.

На сем глубокомысленном преднамерении мы остановились, обнялись по-братски, и Влас удалился. Лишь только солнце закатилось, я запасся изрядною баклагою лучшего вина и, освещаемый яркою зарею, пустился в путь.

Мне весьма нетрудно было распознать описанный тополь, а перелезть через плетневый забор для всякого бурсака дело не хлопотливое. Усевшись в бурья-

не, я предался сладостным мечтам о наслаждениях, меня ожидающих. Я нимало не сомневался в нежности прелестной вдовы. Я сочинял страстные речи, придумывал пленительные телодвижения и самому молчанию придавал значительность взорами и вздохами. Я погружен был в сей обворожающей дремоте, как внезапно прокричал подле меня филин. Тотчас догадался я и избавил Власа надуться напрасно для второго и третьего возгласа: я выскочил из бурьяна и при свете месяца узнал верного друга. Прежде всего я подал ему баклагу и просил отведать доброты вина. Когда он высуслил примерно четвертую долю напитка, то остановился, вздохнул и, утирая усы, сказал:

— Ты, друг Галик, знаток в вине; лучшего во всю жизнь пивать мне не случалось. Пойдем на место.

Пробираясь к дому, я выпросил у Власа, в котором месте опочивает Неонилла, долго ли поутру не выходит из спальни, в которую пору сменяет его жена или мать ее и проч. Наконец мы достигли передней и сели на лавке у окна, поставя между собою возлюбленную баклагу.

Глава III

Решительная любовница

Ночь была самая прелестная, из числа таких, какими древние и новые стихотворцы описывают те, в кои влюбленная Артемида ниспускалась с небесных сводов на долину Корийскую, дабы под тихим помахиванием зефиров, при очаровательном сиянии звезд, дошед до кущи пастуха Эндимиона^{12}, напечатлеть поцелуй на устах счастливого смертного.

Я открыл окно и, обняв собеседника, говорил с набожным видом:

– Не правда ли, любезный Влас, что господь бог устроил все премудро?

Согласись, что теперь, при чистом голубом небе, освещаемом серебристым месяцем, гораздо покойнее, приятнее, веселее пить хорошее вино, чем в жаркий полдень, когда человек дышит огненным паром? Выпьем же, милый друг, выпьем; а я между тем расскажу тебе повесть о золоторуком звере.

Я представился, что пью с великой жадностью, хотя не пропустил в горло и двух капель; зато нелицемерный Влас тянул вино, как грецкая губка, и после второго приступа, подобно ей, опустил. Во время чу-

десного моего повествования при каждом необыкновенном подвиге Влас с восторгом вскрикивал, и я в тот же миг приставлял отверстие баклаги к отверстым губам его. Он это заметил и стал чаще восхищаться, следственно, чаще лобызался с баклагою и к полночи ошалел совершенно, не дождавшись окончания замысловатой повести.

— Влас! — сказал я, — не умнее ли сделаем, когда перестанем пить и рассказывать сказки. Я думаю, что лучше бы поотдохнуть. Ведь до солнца еще далеко.

— Теперь и я вижу, — пробормотал Влас, — что ты также неглупый человек!

С сими словами растянулся на лавке и захрапел.

Не теряя времени, я приступил к исполнению своего намерения. Проходя из комнаты в комнату, скоро очутился в той, где покоилась нежная Неонилла.

Месяц светил прямо в окна спальни. Подошед к кровати, жадными глазами рассматривал я прелести спящей красавицы; кровь кипела в жилах моих, дыхание было прерывисто, и я запечатлел поцелуй на губах ее и стал на колени. — Она вздохнула, открыла глаза, привстала и, увидя меня, ахнула и опрометью опустилась опять в постелью.

— Милая Неонилла! — сказал я вполголоса, — неужели не узнаешь твоего верного Неона? Она спросила трепещущим голосом:

– Как? это ты? Не верю!

Скоро Неонилла уверилась, а потом, привед чувства в порядок, спросила, каким образом удалось мне проникнуть в ее темницу.

– Любовь и не такие чудеса делает! – вскричал я с жаром молодого стихотворца. – Прочти Овидиевы «Превращения».

– Пропадай они! – сказала красавица, прижав меня к своему сердцу. – Зачем мне смотреть чужими глазами и ощущать чужими чувствами? У меня есть все свое, и этим своим хочу располагать по своей воле. Если я, будучи еще ребенком, в угодность родителям вышла замуж за ненавистного мне человека, то это было в первый и последний раз. Теперь, будучи возрастна и нося прозвание покойного мужа, кажется, без упреков совести могу воспротивиться незаконной власти. Помогите только избавиться из сей неволи, и ты увидишь, что не одним мужчинам дарована свобода располагать собою!

– Прелестная Неонилла! – сказал я голосом и с ужимкою философа, – ты рассуждаешь весьма разумно, но несколько не сообразишься с обстоятельствами.

Самое важное препятствие к приведению себя в свободное состояние будет то, что ты одна и – без полушки денег! Итак, если душа твоя не терпит ига

неволи, в коей тебя заключили, то благоразумие требует, чтобы ты обеспечила будущую свободу и на сей конец должно тебе притвориться, будто совершенно покоряешься воле твоих гонителей. Пользуясь общею доверенностью, можешь ты упрочить себе часть принадлежащего тебе имения, исправно позапасться деньгами и тогда уже объявить торжественно, что, кроме собственной воли, не хочешь знать ничьей посторонней.

Мысль сия показалась Неонилле премудрою, и мы тотчас составили план, как удобнее действовать в исполнение оной. Среди резвостей всякого рода мы и не видали, как прошла ночь и показалась заря утрения.

— Любезная подруга! — сказал я, — время нам расставаться! Ах! сколько разлука сия ни терзает мое сердце, но необходимость не знает законов. Этому верили и древние философы, а новые и подавно должны верить.

— Я уже сказала тебе, — отвечала с живостию Неонилла, — что не хочу знать ни стихотворцев, ни философов. Видишь ли эту маленькую дверь? Она ведет в небольшой чулан, в коем хранится лишнее платье мое, отца моего и брата. Ты из него можешь сделать покойную постелю и провести там день; мое дело будет снабдить тебя питьем и пищею. Хотя, конечно, там не очень весело, но, вспомня, что вся буду-

щая ночь совершенно наша, ты и скучать много не станешь.

Согласиться на такое предложение было с моей стороны, без сомнения, малодушно; но кто не знает прав красоты и молодости? Я не успел, так сказать, опомниться, как прошли уже три дня и три ночи, посвященные восторгам, упоению.

От моей любезной сведал я, что Влас и вся его семья, которой рассказывал он свое похождение, сочли меня за оборотня и, нигде не видя на другой и третий день, перестали и вспоминать о сказочнике.

В четвертое утро, едва убрался я в свой чулан и, разлегшись на связке белья и платья, хотел предаться покою после бодрственной ночи, вдруг слышу в опочивальне моей Неониллы необыкновенный шум и сейчас же распознаю ужасный голос Истукария.

— Преступная дочь! — загремел он, — мое родительское сердце смягчается, и я о тебе милосердную. Этому Две причины: первая, что начального виновника нашего посрамления, нечестивого Короля, я сейчас достал в свои руки, и он заперт уже здесь в овине, где находиться будет впредь до повеления на хлебе и на воде; а вторая, что ты имеешь достойного жениха, с которым весьма скоро соединишься узами брака. Едучи сюда, чтоб тебя о сем важном деле уведомить, я настиг на дороге Короля, и как я сопровождаем был

двумя слугами, то без дальнего труда и пленил супостата. На нем-то намерен я выместить за все хлопоты, какие наделал нам беззаконный бурсак Неон. Будь готова послезавтрашнего дня встретить здесь жениха своего, пана богатого и знатного, человека с совершенным рассудком, словом – пана Варипсава.

– Праведное небо! – вскричала Неонилла. – Как? за того безобразного карлу?

– Какая тебе нужда до мужнина роста? – отвечал с досадой отец.

– Но он семидесятилетний старик!

– Тем скорее околеет и тебе достанется осьмая доля его имения.

Впрочем, дочка, не забудь, что похождение твое с проклятым бурсаком известно целой округе, и это не бездельное обстоятельство! Но что пустое говорить! Дело это конченное! Вот тебе кошелек с тысячью червонными от нас на булавки, а этот ящик с бриллиантами прими от имени Варипсава. По некоторым причинам он желает, чтобы свадьба играна была в сем доме. Завтра я пришлю сюда всю кухню, буфет и нужных людей; послезавтра я, жених и все наше родство приедем с несколькими друзьями сюда же. Вы будете обвенчаны в ближнем отсюда селе Глупцове и, пропировав здесь дня два или три, возвратимся в Переяславль. Во время дней пиршества я хочу над плу-

том Королем потешиться. В палате веселия он будет связанный лежать под лавкою, и при каждом питье за здоровье получит в спину по удару арапником. О, если б злодей бурсак попался в мои руки, уж я знал бы, что с ним делать! Прощай, дочка! Я дал приказание не держать тебя взаперти более, и ты можешь прогуливаться, где пожелаешь.

Тут настало молчание, и не прежде как через четверть часа Неонилла вступила в мое узкое обиталище. Она смотрела на меня несколько времени молча, а я сидел на куче платья с потупленными глазами.

— Ну, Неон! — сказала она, наконец, весьма равнодушно, — что будем делать?

— Более ничего, прелестная Неонилла, — отвечал я с печальным видом, — как только выпустить меня отсюда и дать свободу моему пленному спутнику.

Она довольно долго опять молчала, потом сказав: «Жди меня здесь!», быстро убежала.

Я не успел еще обдумать плана к своему освобождению, как Неонилла возвратилась и, отворив мою келью, вскричала:

— Поднимайся на ноги и выходи в спальню. Она заперта изнутри, и не ворвется никто незванный.

Я исполнил ее приказание. Не быв никогда днем в сем очаровательном месте, я начал теперь оное рассматривать и нашел прелестным. Кровать, вместили-

ще прелестей и утех, по убранству своему доказывала богатство Истукария и вкус его дочери; вдруг сия последняя предстала, и— к удивлению моему — с двумя связками платья.

— Вот тебе, — сказала она поспешно, — полная малороссийская пара отца моего: одевайся; а я надену сию польскую моего брата.

С сими словами начала она приводить в порядок свою будущую одежду и вскоре, сказав: «Одевайся, времени терять ненадобно!», скрылась за кровать свою.

Когда я, повинувшись решительному приказанию Неониллы, переоделся, то и она явилась также не в своем виде.

— Неужели ты, милый друг, — говорила она, — мог подумать, что я, в моих летах, с моим нравом, соглашусь быть женою дряхлого карлы? Избави меня всевышний от сего несчастья! Мне такой муж надобен, как ты. Слава богу, у меня теперь более денег, нежели сколько надобно, чтоб доехать до Киева.

Тамошний воевода давно меня знает. Посредством сего вельможного пана я надеюсь выхлопотать следующую мне вдовью часть из имения покойного мужа, а ее достаточно будет, дабы содержать себя пристойно, пока судьба не соединит меня с таким мужем, какой собственно мне понравится, а не родне моей.

В сем доме только и есть двое мужчин: Влас и брат его Вукол. Последний всякий день с утра до ночи со стадами в поле; а чтоб удалить и другого, то я, пользуясь данною мне свободою, подарила ему несколько злотых, завещав пропить их и проесть в корчме жида, где ты с ним познакомился. Я Власа знаю и уверена, что он до ночи не возвратится, а чтоб которая-либо из здешних женщин нас не беспокоила, то я всех их заняла урочною работою.

Когда переодевание и вооружение кончилось, то мне вошла в голову предорогая мысль. Я сел за письменный столик и написал к Истукарию письмо, которое Неонил ла хотела прочесть, но я в том отказал ей.

— Любезная, — говорил я, — эта записка к твоему отцу и, признаюсь, не очень учтивая. Мое дело — другое, я не сын его; но тебе, согласишься, не очень прилично читать шутки над родными, а особливо в таком случае, каков теперешний.

Неонилла охотно согласилась, и письмо положено на стол нечитаное.

Мы уже готовились выйти, как спутница моя, вдруг остановясь, сказала:

— Мы забыли самое важное. Платья Королева и денег он, наверное, не тронет, но оружие отнимет, да и должен это сделать при таком случае; возьмем и для него саблю, кинжал и пару пистолетов.

Я выбрал сие оружие, и мы вышли из дверей.

Глава IV

Беспокойная ночь

Нам необходимо должно было проходить всем двором, чтобы добраться до юдоли, где Короля заключили. Все женщины нас увидели и тотчас узнали Неониллу. Они крестились, видя сие превращение, и не иначе сочли ее, как оборотнем, а меня – самым злым чародеем; также пугало их, что не видят Власа, который считался во всем доме человеком нетрусливым, а посему заключили, что и он, бедный, превращен в какую-нибудь мышь и спрятался под пол.

Я и Неонилла, достигнув овина, без труда отбили двери и вошли. Король ходил взад и вперед большими шагами. Увидя меня, он подбежал, обнял и спросил:

– Как, Неон! неужели и ты в плен попался?

– Напротив, – отвечал я, – мы пришли освободить тебя из плена. Вооружись (он и действительно был обезоружен) и ступай с нами; дорогой узнаешь больше.

Король был неленив: он препоясал меч-кладенец, заткнул за пояс кинжал и пистолеты (которые, впрочем, как и наши, были пусты, ибо во всем доме не нашли ни свинца, ни пороха), и мы все трое быстрыми

стопами вышли из господского дома, а вскоре и из хутора и пустились по дороге к Пирятину.

– Чтобы нам не чувствовать усталости, – говорил я, – то любезный друг Король потрудится рассказать случай, по коему попался в полон.

– С охотою, – отвечал он и начал так: – Расставшись вчера с Мемноном и милым его семейством и получив все, что нужно к совершению предназначенного пути, то есть деньги и коня, я ночевал недалеко от Переяславля, а сегодня продолжал путь по дороге к селу Глупцову, где ты по условию должен был меня дожидаться. На половине дороги наехав на корчму, я вздумал позавтракать и кормить своего гнедого; почему, вручив его служителю, сам вошел в хату и велел изжарить дюжину перепелок. В скором времени в ту же комнату явился казак и, осмотрев меня внимательно, учтиво поклонился; я отвечал ему тем же. Когда принесен был завтрак и я принялся за него со вкусом мореходца, то пришлец сказал: «Ты соблазнил меня, пойду и себе заказать такое же блюдо!»

Спустя немного времени по выходе он возвратился и, сидя подле меня, внимательно рассматривал мое оружие. «Твоя сабля, – говорил он, – судя даже по ножнам и ефесу, должна быть хорошей доброты». – «Ты отгадал!» – «А пистолеты?» – «Не худой!» – «Я страстный охотник до хорошего оружия, – про-

должал он с жаром, – и, не хвастая, скажу, что знаток в оном. Позволь мне посмотреть и полюбоваться!»

Говорится же: «И на мудреца бывает довольно простоты». Я, вынув из ножен саблю и из-за пояса пистолеты, ему отдал, а сам продолжал управляться с перепелками. Незнакомец подошел к окну, осматривал с видом удивления, делал разные пробы и, потихоньку приближаясь к дверям, мгновенно скрылся. Я оторопел и не знал, что об этом думать. Вдруг двери быстро открываются, и – представь мое удивление – я вижу врага моего, проклятого Истукария.

Тут я толкнул его в бок.

– Что ты толкаешься? – спросил Король и продолжал. – Вижу врага моего, проклятого Истукария, входящего с великою яростью в сопровождении двух казаков, из коих в одном узнал я похитившего мое оружие и тотчас догадался, хотя и поздно, что они – его слуги и чего я ожидать должен.

Истукарий, уподобляясь бесхвостому и комолому^{13} бесу, подбежав ко мне, возопил: «Наконец я поймал тебя, бездельник! Как осмелился ты ввести в почтенный дом злодея Неона, который обольстил дочь мою Неониллу, нещадно побил сына моего Епифраса!» – «Лжешь ты, старый дуралей, – сказал я равнодушно, – твоя Неонилла...»

Тут я в другой раз толкнул его сильнее прежнего.

– Да что ты опять толкаешься? – спросил Король и продолжал: – «...твоя Неонилла обольстила Неона, а сквернавец сын твой Епафрас побит за то, что осмелился с дурным намерением залезть ночью в чужой огород. Стыдись, подлец!» – «Праведное небо, что я слышу и от кого!» – вскричал Истукарий и, подскочив ко мне, изрядно грянул по макуше. Я также приподнялся, запустил правую руку ему в чуб, и – по крайней мере третья часть оного полетела на воздух. Тут началось истинное побоище. Ты согласишься, надеюсь, что я сражался храбро; но где же одному медведю управиться с тремя волками? Меня сбили с ног, связали, выволокли на двор, взвалили на корчмареву телегу и повезли.

Прибыв таким образом в хутор мошенника Истукария, меня внесли в овин, развязали и заперли. Вот тебе и повесть о моем плене; теперь твоя очередь рассказать, каким образом очутился ты в дьявольском доме и с помощью сего молодого человека освободил меня.

– Не премину сего сделать, – отвечал я, – но как уже полдень и обеденная пора приблизилась, то о сем важном деле надобно прежде всего подумать. Я вижу там в стороне от дороги нечто похожее на хату; вероятно, это корчма.

Мы поедем, отдохнем, и я расскажу тебе – с позво-

ления сего молодца – повесть о случае, приведшем меня в дом друга нашего Истукария.

Сопутники мои согласны были на сие предложение, и все пустились к усмотренному убежищу; но на деле вышло, что оно было гораздо отдаленнее, чем нам казалось. Однако ж мы дошли и, к немалому неудовольствию, увидели, что это не корчма, а пустая хата, которая, как казалось, служила в случае нужды пристанищем дровосекам.

– Что ж будем делать? – сказал Король с досадою, – пойдем далее. Жаль, что, издали глядя на сию хату, мы соблазнились. Но это почти всегда случается с теми, которые, смотря на вещи издали, заключают о их доброте.

После сих слов мы пустились вперед.

– До Пирятина лошадей не найдем, – говорил Король, – итак, Неон, в другой раз не оплошаем. В первой корчме заведемся сумою и будем всегда иметь в ней дорожный запас, дабы не ложиться спать без обеда.

Идучи далее и разговаривая о всякой всячине, мы неприметным образом дошли до необозримого дремучего леса, облегающего пройденную нами долину целым полукругом.

– Куда занес нас лукавый? – ворчал Король. – Тут не скоро доберешься до какого-нибудь ночлега. Не

лучше ли возвратиться назад и воспользоваться по крайней мере приютом в оставленной нами пустой хате? Теперешние обстоятельства, столько смутные в отношении к общему спокойствию, породили многие шайки разбойников, которые – как нам с тобою, Неон, и на опыте известно – под многоразличными видами производят грабительства всякого рода. Солнце клонится к закату. Кто скажет нам, куда выберемся в лесу сем?

Не мудрено напасть на другого Урпассиана, который не будет доволен нашими деньгами и одеждою. Пойдемте назад, – я лучше ничего не придумаю, хотя бы думал до самой глубокой ночи.

– Ах! я не в силах, – сказала Неонилла томным голосом, – сегодня ни одна кроха хлеба не была во рте моем. Я не могу идти далее.

– Стыдись, молодой человек, – сказал Король довольно сурово. – Когда я, старик, у коего поизломаны кости во многих сражениях, который в течение жизни своей прошел столько тысяч верст, и я решаюсь для общей безопасности пройти еще часа два, три, а ты...

Неонилла вздохнула, потупила глаза в землю и оперлась на плечо мое.

Ах! как показалась она мне тогда прекрасною! Где прежний огонь, в глазах блиставший, где пленительная улыбка ее, где розы, алевшие на щеках ее? При

всем том она была не менее прелестна!

— Король! — сказал я, распрямля усы и раздувши ноздри, — перестань упрекать молодого друга моего слабостию! без его решительности, без необыкновенной бодрости ты долго бы насиделся в овине, а по времени изрядно был бы потчеван арапниками. Ты видишь перед собою Неониллу.

Король изменился в лице и отскочил назад. Потом, собравшись с духом, подошел к застыдившейся красавице, обнял ее и, поцеловав в лоб, сказал:

— Прости меня, молодая женщина, что я, рассказывая случай, затащивший меня в овин отца твоего, не очень почтительно говорил о нем. Хотя я никогда не одобрю сего твоего поступка, потому что он по всем отношениям безрассуден; но, помня оказанную тобою услугу, готов и тебе служить верою и правдою. Знаю, что целый день провести в дороге не евши и для крепкого воина довольно тягостно, каково же должно быть для нежной женщины, с самого младенчества привыкшей ко всем удобствам жизни. Скажите же, однако, что будем делать?

Меж тем как мы, стоя на одном месте, рассуждали, на что решиться в таких сомнительных обстоятельствах, солнце закатилось, и настали сумерки.

Вдруг невдалеке раздался громкий свист, и у меня колени задрожали; вскоре послышался свист с другой

стороны, и Неонилла, с судорожным движением схватив меня за руку, произнесла со стоном: «Разбойники».

– Не мудрено, – сказал Король, закручивая усы. – Неон! – продолжал сей друг, обратясь ко мне, – ты еще нов в деле ратном, и я не осужу, если при первой стычке сердце в груди твоей затрепещет. Но припомни, что в жилах твоих обращается кровь благородного, воинственного моего друга. Если дело дойдет до драки, ты смотри на меня, как на пример тебе. Знай, что и я был некогда старшиною в войсках малороссийских, был во многих битвах, получал раны тяжелые, но никогда ни у кого не просил пощады, никому не отдавал сабли своей.

Едва проговорил он слова сии, как показались из леса два казака при саблях. Увидя нас, они остановились, взглянули один на другого, смигнулись и подошли к нам шагов на десять.

– Что вы за люди? – спросил один.

– Мы можем такой же вопрос вам сделать, – отвечал Король хладнокровно.

– Хорошо! Мы – лесные смотрители!

– А мы – прохожие.

– Но прохожие должны ходить по дорогам, а не напрямиком. Сколько перетоптано травы!

– Что ей сделалось?

– Нет, такой ответ недружеский. Надобно заплатить убыток!

– А сколько следует денег?

– Сколько у вас есть, все без изъятия, да, сверх того, в придачу уступить нам свою одежду и все оружие.

– Вы ошалели?

– Так вы на предложение наше не согласны?

– Нашли дураков!

– Еще повторяю!

– Хоть до завтра.

– В последний раз!

– Хоть осипни.

Тут вопроситель свистнул посвистом Соловья-разбойника. Король с быстротою молнии исторгает саблю, кидается на противника и повергает его к ногам своим; я, приметя первое его движение и ему последую, устремился на другого и рассек ему голову, хотя он и успел было обнажить саблю. Дабы не оставить никакого сомнения, мы повторили свои удары. Король, сняв шапку, пал на колени, перекрестился и произнес с умилением:

– Слава тебе, господи! – Вставши и оборотясь ко мне, сказал:– Спасибо, Неон! из тебя со временем человек будет; дай руку!

Оборотясь назад, мы ахнули: Неонилла без чувств на траве лежала.

– Милосердное небо! – вскричал я, бросился к ней и упал на колени.

– Вот видишь, молодой человек, – говорил Король с душевным огорчением, – до чего первая безрассудность довести может! Произнесенный падшим разбойником свист не будет тщетен; может быть, через минуту или две мы будем окружены целою толпою им подобных. Если б мы были одни, то, наверное, спаслись бы в лесу, а теперь?

Не отвечая ему ни слова, – скорбь, сожаление, отчаяние оковали язык мой, – я схватил Неониллу в объятия, положил на плечо и пошел скорыми шагами подле самого леса, осматривая, сколько ночная пора то позволяла, не сыщу ли места, где можно бы с безопасностью скрыться до восхода солнечного. Король в молчании следовал за мною, поддерживая опустившуюся голову бесчувственной. Я прошел шагов с пятьсот и начал ослабевать под своим бременем, колебался и наконец пал на колени. Король сказал:

– Подай ее мне!

Он переменял меня, и мы продолжали путь, но, к несчастью, ничего не видали, кроме сосновых, осиновых и дубовых деревьев, не могших служить нам надежным убежищем. Наконец, к великой радости, достигли мы просторного участка земли, поросшего самым густым орешником, окруженным калиновыми ку-

стами. Я раздвигал сию подвижную стену, а Король следовал за мною. Когда мы прошли саженой десять и притом увидели род маленькой лужайки, то остановились, сложили на траву свое бремя и сами уселись. Король хранил глубокое молчание, а я, признаюсь в слабости, я плакал неутешно. Не зная, что делать с нашею бесчувственною, мы придумали следующее: Король качал ее легонько с боку на бок, а я тер виски и ладони. Природа ли подействовала или наше врачевство было сильно, только Неонилла вздохнула, открыла глаза и спросила томным голосом.

— Боже мой! где я?

Я не мог удержаться, чтобы не обнять ее с нежностью и не запечатлеть страстного поцелуя на холодных губах ее.

— Ты с своими друзьями, — отвечал я, — и, кажется, в безопасном месте.

Утешься, милая Неонилла! От главной опасности милосердый бог нас избавил; будем же надеяться, что он, по благодати своей, избавит и от дальнейших.

— Ах! — говорила она, — когда я сегодня поутру оставляла дом отеческий, то думала ли видеть столько ужасов? Неужели я, уклоняясь от исполнения жестокой воли несправедливого отца, хотевшего сделать меня на всю жизнь несчастною, неужели я прогневила тем небо и навлекла на себя его мщение?

Неужели я виновата, если явилась в мире с таким сердцем, с таким нравом, что терпеть не могу старика, который захотел бы сделаться моим мужем?

Она вздохнула и замолчала; мы с Королем также молчали. Горестное состояние!

Начала показываться заря на восточном небе, и я, по совету Короля, легонько выбрался из своего убежища с тем намерением, чтобы осмотреть наше местоположение и поискать надежнейших способов выйти из сего проклятого лабиринта. Когда я, озираясь направо и налево, осматривал все окрестности, к великому удовольствию моему, увидел огромную лесную яблоню, обремененную зрелыми плодами. С какою жадностью я начал насыщаться и наполнять карманы, и как скоро сделался сыт и нагрузился запасом изобильно, то с неописанным торжеством продрался к бедным моим спутникам и предложил им свою скудную трапезу. Ах! за день перед сим с каким бы презрением отвержена была пища сия, и особливо нежную Неониллою, и с каким восторгом теперь принята всеми.

Я сел подле своей любезной и выбирал для нее самые спелые плоды, а в награду за то получал нежную улыбку и признательный взор.

Когда, таким образом, все подкрепили силы свои, то, принеся господу богу благодарение и испрося со-

действие его на дальнейшее путешествие, мы вышли из своей засады и наудачу пустились в левую сторону краем леса.

Глава V

Старые знакомцы

Мы не прошли и четверти версты, как увидели идущих прямо на нас человек около двадцати, одетых, как вчерашние лесные надзиратели, и вооруженных весьма исправно.

— Ну, — сказал Король, — теперь всякое сопротивление тщетно!

Предоставьте все мне и ни во что не мешайтесь!

Неонилла опять прижалась ко мне и вздыхала.

— Ах, Неон! — шептала она, — как небо жестоко наказывает за непозволительные удовольствия!

Мы сошлись с лесными рыцарями и поздоровались. Одетый несколько поотличнее других весьма учтиво спросил, каким образом так рано очутились мы в сем месте и куда шествуем?

— Мы в сем лесу и ночевали, — отвечал Король, — дабы рано поутру удовлетворить желанию видеться с начальником некоторых храбрых людей, которые, по общим слухам, в летнее время здесь занимаются охотою.

— А на что надобен вам начальник сих охотников? — спросил предводитель.

— Это одному только ему знать должно, — отвечал

Король.

— Однако ж посторонним людям видеть его не только затруднительно, но даже едва ли и возможно.

— Мы настоятельно сего требуем, и если не исполнено будет наше желание, то не быть бы в опале тому, кто нам в сем попрепятствует.

— Да какое вы имеете до него дело?

— Я сказал уже, что он один о том знать может.

— Так и быть. Мы исполним ваше требование и проводим к своему начальнику; но вы будете идти не иначе, как с завязанными глазами: сего требует непрменный устав нашего общества!

Король, подумав несколько, согласился на предложение; нам всем троим завязали глаза, и мы пустились с провожатыми, ведшими нас под руки. Я не дозволил никому из злодеев прикасаться к робкой Неонилле, а, подав одну руку проводнику, другою вел и поддерживал свою любезную. Дорогою спросил у Короля по-латыни:

— Диомид! какое твое намерение? Мы совершенно предаем себя в руки извергов!

— Это я и без тебя знаю, — отвечал он, — но я всегда был той веры, что с одним начальником-злодеем, каков бы он ни был, гораздо легче поладить, чем с десятью подвластными злодеями. Если уже несчастная судьба попутала нас на пути сем, то почему не

пожертвовать деньгами, только бы сохранить жизнь.

Более всего не должно забыть, что в покровительство наше отдалась женщина благородная, и мы обязаны не щадить жизни своей для спасения ее жизни и чести. Хотя в строгом смысле, конечно, нельзя назвать ее благородною, потому что преступила пределы добродетели; но опять большая разница, если я имение свое отдаю кому хочу, или если меня принуждают отдать оное тому, кто мне ненавистен.

Во время разговора моего с Королем Неонилла, держа меня за руку и крепко пожимая, время от времени вздыхала тяжелее, и наконец вздохи ее превратились в стоны. Для ободрений робкой милой подруги я старался идти сколько можно отважнее и, выступая с щегольскими ухватками, говорил ей на ухо по-польски: «Любовь не знает опасности».

После ходьбы, более часа продолжавшейся, нас остановили, развязали глаза, и мы увидели себя внутри небольшой палатки.

– Господа! – сказал наш путеводитель, – побудьте здесь, а я пойду доложить о вас нашему начальнику; между тем у меня позавтракайте, и мои люди будут вам, как самому мне, прислуживать.

Король представлял лицо самого веселого и сговорчивого человека. Он охотно согласился на предложение, и мы принялись за завтрак, который после

слишком постного яблонного ужина показался весьма вкусным. Король и я добрым порядком осушали чарки с вишневкою и другими наливками; даже Неониллу принудили мы отведать сего живительного эликсира. Словом, угощение было так хорошо, как бы в городской корчме.

Наконец наш хозяин, вошед, объявил, что можем допущены быть к их самовластителю. Мы пошли за ним и увидели прекрасную равнину, окруженную дремучим лесом. На восточной стороне стоял большой шатер; в некотором отдалении от него несколько других, но поменьше. На сторонах западной и южной видны были маленькие шалашики, сделанные из древесных ветвей. Мы введены в шатер атамана. Он разделялся красною крашенинною занавесью^{14} на две половины. От проводника своего мы узнали, что та, в коей тогда находились, служила приемною, столовою и для общих собраний; другая же, гораздо меньшая, была опочивальня, где также держали тайные советы. Атаман заставил нас ожидать себя более получа-са, вероятно для того, чтобы, придав себе более важности, увеличить нашу робость; или, может быть, и в самом деле ему было недосужно, ибо держал тайный совет с первым своим есаулом. Наконец полы занавеси распахнулись, и скорыми шагами вышел к нам высокий, дородный, смуглый мужчина. Глаза его блиста-

ли – по крайней мере мне так показалось – мрачным, убийственным огнем; усы его простирались до ушей. За ним следовал пожилой мужчина среднего роста, лицо коего показалось мне несколько знакомо. Атаман, подошед к нам с важностью князя, рассматривал внимательно каждого порознь, зато и мы не оставили его без внимания. Чем более соображал я все черты лица его, рост, взор, тем казалось мне достовернее, что сей великий атаман разбойничий есть не иной кто, как философ переяславской бурсы – Сарвил.

Атаман, осмотрев нас достаточно, спросил:

– Кто вы, господа? откуда? чем себя содержите? по каким причинам пожелали его видеть?

Услыша его голос, я совершенно удостоверился, что это Сарвил; почему, приняв веселый вид, сказал:

– Прежде нежели что-нибудь отвечать станем на вопросы великого атамана, позволь обнять в тебе славного философа Сарвила! Узнаешь ли во мне верного послушника твоего Неона Хлопотинского?

Он сперва изумился, бросил на меня быстрый испытующий взор, потом ласково улыбнулся и, обняв по-братски, сказал:

– Добро пожаловать, однокашник! Кто бы мог узнать? Так вырос, возмужал! Скажи же, какими судьбами ты забрел сюда?

– Я удовольствую справедливое твое желание, –

сказал я, — но позволь прежде рекомендовать общего нашего приятеля Диомида Короля, огорода коего дозволено от нас доставалось!

— Как! это он! — вскричал атаман засмеявшись. — Обнимемся, старик! Как же он принарядился! Право, я теперь столь живо припоминаю прошедшие случаи, что мне мечтается, будто все еще богословствую в проклятой бурсе! И этот молодой человек не был ли также знаком мне прежде?

— Никак, — отвечал я, — и я признаюсь тебе, Сарвил, в прежнюю доверенностию, что этот молодой человек есть жена моя и для некоторых важных причин носит не свое платье.

— Благодарю за доверенность, — сказал Сарвил, — хотя, впрочем, она для меня и не необходима. Конечно, я не мог знать, что сей молодец есть жена твоя, но с первого взгляда не скрылись от глаз моих проткнутые уши и спрятанные под платьем длинные волосы. Есаул Ариан! прикажи набрать стол.

— Мы уже завтракали в его палатке, — сказал я.

— Не мешает, — отвечал он, — после завтрака у есаула можно посидеть за столом у атамана.

Есаул вышел.

Король, приняв веселый вид, подошел к другому есаулу и, обнимая его, с комическою нежностью сказал:

– Почтенный друг Урпассиан! позволь поблагодарить за угощение! Ты недавно так был скромн, что лишил нас сего удовольствия.

– Как! – вскричал Сарвил, захохотав во все горло, – так это были вы, которых полюбил он за великодушный поступок, оказанный израненному казаку?

Можно ли было это подумать! – Он продолжал хотать.

Урпассиан, хотя и его атаман приглашал к завтраку, отговорился, представляя, что он, перехватя в своей палатке на скорую руку, должен сделать известные распоряжения во вверенной ему роте. Он удалился, стол приготовлен, и мы четверо уселись. Сначала Сарвил ел как голодный бурсак, приглашенный к столу зажиточного гражданина; после кушал с перемежкой, пил наливки и нас усердно потчевал. В это время много шутили насчет прежней жизни. Говорено было о Королевом огороде, а особливо не позабыто чудное приключение в саду благочестивых стариц.

– Ты изрядно подшутил тогда надо мною, Неон, – сказал весело Сарвил, – и если бы в то время попался мне, как из монастыря выгнали шелепами^[15], то действительно быть бы тебе без пучка; но теперь за то искренно благодарю.

Если бы я не был выгнан, то теперь бы где-нибудь в бедном селении дьяконствовал, а много-много что

поповствовал; а вместо того теперь я живу достаточно всякого архимандрита.

— Но так же ли покойно? — спросил Король, наливая.

— Почему же и не так? — возразил Сарвил, — в жизни нашей, конечно, много опасностей, но зато не мало и удовольствия; в монастырской жизни нет никаких опасностей, зато вечная скука.

— Итак, ты не намерен переменять образа теперешней жизни? — спросил Король.

— Не думаю! — отвечал Сарвил. Стол кончился, и мы встали.

— Я надеюсь, — сказал Король с видом искреннего доверия, — что Сарвил, как человек честный и ученый, не сделает нам притеснения и, по старинному знакомству, прикажет проводить на большую дорогу.

— С великою охотою, — отвечал Сарвил, — но теперь еще довольно рано, и мне хотелось бы рассказать вам случаи моей жизни и каким образом я из философа сделался великим разбойником.

Хотя было бы нам гораздо приятнее убраться как можно скорее из сего опасного места, однако отказом опасались оскорбить атамана, почему с веселым видом изъявили желание слушать его рассказы, и он начал:

— Вам обоим известно, когда и за что выгнан я из семинарии шелепами.

Выбежав за монастырские ворота, быстрыми шагами шел я сколько можно далее, не оглядываясь. Пришед на паперть церкви преподобного Вавилы, я сел и задумался. «Что буду делать? – говорил я сам себе. – У меня нет ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Куда приклоню бедную свою голову? Данных мне, по милости добродушного отца Герасима, пяти хлебов и нескольких плодов ненадолго станет. Я мог бы, конечно, и один распевать под окнами, но не смею; ибо если в ремесле сем поймают меня прежние товарищи, то накажут жесточее, чем правительство наказывает за кормчество; просить милостыни – стыдно!»

Начали звонить к обедням. Хотя никто еще из прихожан не успел узнать о моем посрамлении, но мне казалось, что оно написано на лбу моем; почему, отошед в уголок, сел подгорюнившись. В сем углу обыкновенно становились нищие. Я намерен был отслушать обедню и попросить у бога благословления на дальнейшие пути жизни моей. Я исполнил свое обещание и молился усердно.

Когда обедня кончилась и почти все богомольцы разошлись, я вздумал удалиться в какое-нибудь уединенное место, пообедать и подумать о ночлеге.

Поднимаю кису: ба! совсем не моя! Заглядываю внутрь, и вижу три ломтя черного хлеба и несколько луковиц. Одурь взяла меня, и слезы на глазах показав-

лись. Вместо прекрасных монастырских хлебов и садовых плодов грызть корки засохшие, Подобно крысе, конечно, больно. Я бросил нищенскую торбу с презрением на землю и вышел за церковную ограду. Бродя из улицы в улицу, с одного базара на другой, видя везде красные щеки, толстые чрева и чувствуя голод, какой только может чувствовать человек в двадцать пять лет, я в первый раз ощутил ненависть к человечеству и поклялся жить впредь на счет его какими бы то ни было способами. Наконец солнце закатилось, и густые пары меня окружили. Вы припомните, что это было около половины августа месяца. Однако ж голод не безделица, и ложиться спать не поевши самое дурное дело, почему и решился я идти на прежнюю паперть и поесть своих корок с луком. Прихожу, ищу своей торбы, но не тут-то было. Это меня не столько уже поразило. Я зарылся в густой бурьян, росший у забора, сотворил молитву и улегся. Хотя в ночь сию никто не прерывал сна моего, но он был легок, как у птицы, и прерывист, как у преступника. Звон к заутреням разбудил меня. Я выполз из бурьяна и вошел в церковь помолиться. Еще никого не было, кроме пономаря, засвечавшего лампады. Мне случилось стать у тарелки, на коей лежали деньги, принесенные правоверными в дар господу.

Лукавый как раз предстал ко мне, шепча на ухо:

«Глупец! Почему ты не пользуешься? Не упускай случая, какого, вероятно, не скоро найти можешь!»

Так шептал мне бес, и я послушался лъстивого голоса его. Пользуясь случаем, что пономарь ушел в придел, я опустил обе руки в тарелку, захватил по полной горсти денег и, смиренно вышед из церкви, спрятал в карманы.

Сошед с паперти, я бросился бежать со всех ног. Колени подгибались, в ушах звенело, в глазах мерещилось; мне казалось, что преподобный Вавила гонится за мною. Таково мучит совесть при соделании первого преступления; при втором разе она вопиет менее внятно, при третьем еще менее, а там мало-помалу совсем замолкает.

Глава VI

Ярмарочный приятель

Пришед на самый дальний базар, я купил булок, меду и слив. Это было в конце успенского поста, как вам и прежде сказано. У ближней шинкарки я выпил добрую меру пеннику и, уединясь в бурьян, начал насыщаться. Мед показался мне весьма горек; почему я, уложа его и булки на листок лопушника, побежал опять к шинкарке и потребовал мерку полынной водки, дабы одною горечью отбить другую. И действительно, после сего опыта мед показался мне сладок. Насытившись, начал я считать казну свою. Высыпав из карманов деньги, я счел около двадцати злотых как серебряною, так и медною монетою. Какая бездна денег!

После сего я шатался по городу где ни попало. Заходил к разным шинкарям и шинкаркам, покупал на базарах вареных рыбу и раков и, словом, так пиршествовал, как никогда в бурсе. На дворе сделалось темно, и тут-то я вспомнил о ночлеге, ибо в другой раз спать в бурьяне мне уже не нравилось.


Думая да гадая, где бы приклонить голову, я вспомнил, что в Переяславле нет ни одной души мне знакомее, как шинкарки Мاستридии, и я надеялся, что она

дозволит мне [остаться] хотя на чердаке. С сими мыслями побрел к дородной вакханке.

Приказав подать полкварты вишневки, я начал точить лясы и рассказывать всякие были и небылицы. Как ни красноречиво разглагольствовал, однако время было ночное, и посетители, подобные мне, все разошлись. «Пора и тебе уйти, Сарвил, – сказала Мастридия, – приходи завтра досказать свои повести!» – «Никак! – отвечал я, – надо же допить вишневку, а там и повесть кончится».

Таким образом продолжал я помаленьку пить и врать, а между тем родились у меня в уме кое-какие замыслы.

Говорить много нечего. Поутру отведен мне маленький чуланчик и приготовлена войлочная постель, каковой у меня отроду не бывало. Я начал хозяйничать, когда мне того хотелось, то есть отбирал деньги у питухов^{16} и частью отдавал хозяйке, частью клал в свой карман. Податливая Мастридия одела меня с ног до головы в новое платье, ел я сытно, пил со вкусом, чего ж больше надобно? При наступлении зимы сделан жупан на овечьем меху, дабы я мог удовлетворить охоте своей шататься по городу; словом, ничего не упущено, чтоб доставить мне жизнь довольную, веселую. Там прожил я до самого мая месяца другого года и в это время должен был оставить та-

кую жизнь. Отчего же?  шинок наш начал учащать один черноморец, настоящий гигант Енцелад. Когда он шел, то земля стенала; а когда, бывало, наполнясь хлебной эссенции, всхрапнет, облокотясь на стол, то стены дрожали и звенели окна. Самых бесстрашных одним помаванием усов приводил в трепет, подобно древнему Юпитеру, колебавшему всю природу движением бровей своих. День ото дня посещал он шинок наш чаще, и день ото дня Матридия делалась к нему благосклоннее.

В один вечер черноморец, празднуя победу свою над турецким наездником, который вызывал на поединок двадцать человек, заказал домашний банкет, на коем я и Матридия были первые гости. Съедено и выпито не мало, и веселье было не хуже свадебного. Проснувшись поутру, я удивился, видя, что лежу в чулане на войлоке и – один.

Первое ощущение мое было – бешенство, второе – мщение. Ярость обуяла меня; но вдруг представился мне стол, покрытый сулеями, бутылками и разной меры флягами с различными напитками. Выпив две чары запечанной водки, я одумался. «Что хочу делать? – мыслил я. – Почему знаю, что и я в известное время не сделал бы кому-нибудь такого же подрыва, какой мне теперь делает черноморец? Да и что пользы от их смерти? Одна беда, и беда не малая!»

Видя, что две чарки запеканной столько придали мне ума и великодушия, я осушил еще две, дабы сделаться и того умнее и великодушнее. Последствие оправдало мою догадку. Я нашел топор, взял его в руки и пошел в каморку, где, разломав сундук, пересыпал из кошельков золотые и серебряные деньги в свои карманы, и вышел из дому, а там и из города, направляя путь по дороге к городу Пирятину.

Идучи до самого вечера, я не чувствовал усталости, подкрепляя силы пищею и питием в попадавших мне шинках. Пришед в село Швитково, верстах в тридцати от Переяславля, я не остановился бы на ночь, если бы не соблазнила меня случившаяся там ярмарка. Осведомясь тщательно, где продают тютюн и вино, я скоро нашел и то и другое. Запасшись сими дарами природы и искусства, а сверх того, кое-чем и для ужина, я избрал местом ночлега пустой, кинутый огород, поросший превысоким бурьяном. Я забрался туда со своим запасом, поужинал как нельзя лучше и, пожелав Мастридии и сию ночь провести столько же приятно, как прошедшую, я растянулся и захрапел.

Крик, шум и гомон разбудили меня с восшествием солнца, а сие значило, что ярмарка опять открыта и торгоши выставили свои товары. Я прошел рядом и не мог налюбоваться великолепием, мною доселе не виданным; ибо хотя и в Переяславле бывают ярмар-

ки, но бурсакам строго запрещено посещать оные.

Всего охотнее искал я глазами вчерашнего шатра, где так весело провел вечер. Сейчас я нашел его и принялся за пиршество. Но как и веселиться одному довольно скучно, а особенно человеку с моим нравом и привычками, то я в сей же раз свел тесную дружбу с Арефою, дьячком из села Хитрова, который показался мне не последним весельчаком. Я с немалым удовольствием потчевал его блинами и пирогами, вином и наливками, а он еще с большим повествовал мне разные небывальщины. Проводя так день за днем, я прожил тут три дни, время от времени крепче прилепляясь к моему искреннему другу дьячку Арефе, от которого даже не скрыл, что у меня в карманах есть до пятисот злотых, следовательно, он может без зазрения совести на мой счет веселиться.

В сумерки третьего дня дьячок Арефа сказал: «Любезный друг Сарвил! я так доволен твоим потчеванием, что хочу и сам угостить тебя. У знакомой мне шинкарки Дросиды, очень близко от спальни твоей, в пустом огороде, заказал я сытный ужин, который прошу разделить со мною. В напитках недостатка не будет». Я охотно склонился на дружеское предложение, и мы отправились в шинок. И действительно, друг мой Арефа говорил правду. Я очень доволен был его ужином, а и того более напитками. Мы бражничали до

полночи и должны были выйти насильно, ибо Дросида совсем не походила на Мастридию. Посему друг Арефа, из угождения мне, согласился провести ночь в бурьяне вместе со мною. «Куда как люблю я, – говорил он, – после доброго ужина уснуть в летнюю пору под открытым небом! Здесь же и то еще угодье, что под боком шинок. Как скоро проснемся, то сейчас поздороваемся с Дросидою». Вследствие сего мы оба заползли в бурьян, растянулись и вскоре започивали.

Когда я проснулся и поднялся на ноги, то увидел, что солнце было около полудня. Друга Арефы подле меня не было. Я потащился к Дросиде и приказал подать что-нибудь позавтракать, а между тем, поставя подле себя сулею с запеканною, потчевал сам себя, пропуская чарку за чаркою. Когда сулея была высушена и поданная сковорода яичницы съедена, то я вздумал расплатиться и идти на ярмарку и поискать своего друга. Опускаю руку в карман – пусто; опускаю в другой – ни копейки; выворачиваю карманы – одна пыль и хлебные крошки посыпались. Я делаю то же с шароварными карманами, и– следствие одно. Меня ударило в пот. Дросида, прилежно взиравшая на каждое мое движение, сперва покраснела, а после побледнела. Я смотрел на нее печально, она на меня и того печальнее. Известно, что шинкарки во всем све-

те красноречивы и храбры. Дросида, поправя очипок⁷ и засуча рукава, подскочила ко мне и, топая ногами, закричала: «Как, злодей! ты только любишь веселиться на чужие деньги? Нет! этому не бывать! Что вчера ужинал на счет какого-то дьячка, так сегодня вздумал завтракать на мой счет? Нет! этому не бывать! Сейчас подай свой бриль!»

С сими словами она бросилась к столу и протянула руки; но я так ловко ударил ногою ей под ноги, что она со всего размаха стукнулась носом о скамейку, и кровь брызнула; я сделал ораторское движение рукой, и она полетела вверх ногами. Тогда, пользуясь обстоятельствами, я схватил бриль и давай бог ноги, а выскочив за порог дома, зацепил в обе руки по доброй сулее с разными водками. Добежав до конца улицы, я оглянулся. Дросида, стоя у порога, протягивала ко мне кулаки и болезненно вопила. Я бросился в другую улицу, а там в третью, где и пошел уже скорым шагом, поворота окольною дорогою назад к месту ярмарки. Кто опишет мое удивление и ужас, когда я ничего не взвидел! Все разъехалось, разошлось, расползлось. «Стало быть, и тебя не сыщу, – вскричал я горестно, – о неверный друг Арефа! это все твое дело! Сохрани тебя ангел хранитель, когда мне попадешься! Сейчас иду в село Хитрово, отыщу церковь,

⁷ Род чепчика, употребляемого мещанками.

где ты дьячествуешь. Куда я теперь сунусь? Что начну делать? Да будет проклята ярмарочная дружба!»

После сих слов напала на меня благородная решительность; я высуслил примерно чарки две запеканной^{17}, вышел из села Швиткова и дал волю ногам своим брести, куда они хотели. Я шел недалеко большой дороги, и, как в полдень порядком позавтракал, а за пазухою был в довольном количестве другого рода запас, то я не заботился о дальнейшем.

Я шел до глубоких сумерек, не видя никакого селения, а если бы и видел, то что пользы? У меня не было ни полушки, а не везде так дешево можно разделываться, как в селе Швиткове с шинкаркою Дросидою. Почему, забравшись в рожь, лег на борозде и, прежде облобызавшись с сулеею, уснул крепко.

Глава VII

Прекрасная жидовка

Я разбужен был пением жаворонков. Лежа на спине и смотря на голубое небо, алевшее со стороны востока, слушая пение разных птичек, то порхающих, то летающих, то прыгающих по земле, я задумался. «Участь моя довольно горька, – говорил я вслух, ибо не опасался быть подслушанным, – но она несравненно отраднее, чем прежняя в бурсе, ибо я – свободен, как и эти птички. У меня есть еще сулея, полная водки; если б к сему послал всевышний ломоть хлеба, то чего мне более? У Матридии, конечно, жил я в неге и довольстве, но зато не дешево платил за каждый кусок жаркого и чарку наливки».

Встав, вышел я на полянку, усыпанную цветами разного рода, под листками коих рделась спелая земляника. Не имея хлеба, я начал собирать ягоды. В это время очутился молодой человек в хорошем охотничьем платье, с котомкою за плечами. Он прицеливался в парящего в небе жаворонка. «Эй, не попадешь!» – сказал я. Он выстрелил и в самом деле не попал: однако ж неудача его не огорчила: он вторично зарядил ружье. «Государь ты мой! – сказал я, приблизясь к охотнику, – зачем терять заряды?» – «Разве ты луч-

ше потрафить можешь?» – «Надеюсь!» – «Возьми ружье, посмотрим!»

Только лишь получил я в руки свои ружье, как родилась и мгновенно укоренилась мысль овладеть оным. Поставя сулею на землю (другая, яко бездушная, оставлена на борозде, где ночевал), я сказал: «Молодец! выкушай-ка сколько-нибудь из сего дорогого сосуда, ты, верно, устал». Он с охотой исполнил приглашение. Тогда я, отошед шагов на десять, прицелился в него и вскричал сердито: «Сейчас скинь и положи подле сулеи свою суму и пояс с зарядами, иначе я тебя убью!» Молодец мой оцепенел и не знал, что делать. Я вторично воззвал: «Исполни мое приказание и не дожидайся третьего возгласа, или ты погибнешь!» Молча, трепещущими руками снял он с себя суму, отстегнул пояс, уложил то и другое возле сулеи, поклонился низко и пошел по дороге к селу Швиткову, а я, с восторгом бросившись к суме, развязал и, к неописанной радости, нашел в ней жареную индейку и несколько белых булок.

Утолив голод, я пошел далее. Пока велся запас, то я мало заботился о будущем; но как скоро сумма и сулея сделались пусты, то я весьма ясно почувствовал, что пока в карманах будет свистеть ветер, то и на желудке будет тошно, следовательно, так или сяк, а надобно добывать денег. Составя план к обогащению, в

глубокие сумерки вступил я в богатое село Вороново, дошел до церкви и под крыльцом улегся, но во всю ночь не смыкал глаз.

Немного за полночь, зная, что пономарь скоро появится с ключами, и помня, как удачно представлял я злого духа, пошел ко рву, окружавшему паперть, где после бывшего дождя стояло несколько воды. Я разделся донага и весь с головы до ног выпачкался грязью; после сего подвига взяв с собою одну суму, а платье сложив у ограды, притаился у крыльца церковного. И действительно, пономарь не замедлил показаться с фонариком, бренча ключами. Как скоро он вступил в церковь и поставил фонарь на пол, я ворвался вслед за ним и закричал так неистово, что самому стало страшно. Пономарь, увидя страшилище, затрепетал, поколебался и пал на землю, бормоча невнятно молитву. Его же поясом я связал ему руки; потом, взяв ключи и фонарь, отыскал церковный сундук, отпер и начал наполнять суму золотыми и червонцами, что было весьма удобно, ибо золотые и серебряные деньги лежали отдельно от медных. Когда в сундуке не осталось ни одной монеты, я вышел из церкви, запер дверь и ключи закинул в бурьян. С трепетом — мне казалось, что в меня действительно вселился бес, — бросился к платью, вымылся наскоро в луже, оделся и пустился в поле.

Когда совсем рассвело, то я счел свою казну и нашел до тысячи злотых.

Какое несметное богатство! Тут родилась мысль кинуть наружность дьячковскую и преобразиться в пана. На сей конец в первом селении, к которому я прибилсь, велел содержателю корчмы призвать бородобрея и лишился без всякой жалости толстого пучка, отращивание коего стоило мне великих трудов и долгого времени.

Чтобы денег своих не тратить даром, таскаясь по полям, лесам и селам, а проживать их прямо по-дворянски, то я решился идти немедленно в Пирятин и там себя показать и других посмотреть. До самого города не случилось со мною ничего достопамятного. По прибытии в оный я нанял уютный чуланчик в корчме жида Измаила и приложил первое попечение одеться как можно щеголеватее. В богатой черкеске, с подбритым затылком и усами, опоясанный саблею, начал я разгуливаться по городу. Я посещал базары, шинки и церкви, и что мне нравилось, за то платил щедрою рукою. В дни ненастные, оставаясь в корчме, беседовал с приходящими в оную утоплять в вине скорби душевные, или — если никого не было — с Измаилом, или женою его Сарою, или с дочерью их Сусанною, милою, прекрасною Сусанною. Она была по шестнадцатому году, и, признаюсь, я ничего пре-

лестнее до сих пор не видывал. Когда ее не было в обществе, то я чувствовал какую-то пустоту в сердце: разговоры мои делались сухи, мысли рассеянны, все поступки принужденны; зато когда милая девушка являлась с шитьем (отец ее, между прочим, был женский портной и в сем мастерстве помогали ему жена и дочь), тогда глаза мои воспалялись, — это я чувствовал, — щеки покрывались багряною краскою и язык делался гибче и поворотливее вьюна. Я рассказывал им о домовых, леших и оборотнях разного рода и о пакостях, какие строят они правоверным, об удалстве старинных наших витязей и о проказах злых духов и чародеев. Невинная Сусанна слушала с открытым ртом, с устремленными на меня взорами. Она дышала нежностью, и каждый взгляд ее сыпал пламенные стрелы в мое сердце. Я не на шутку влюбился и сделался мечтателем. Сусанна являлась мне во сне так ясно, отдельно, как бы наяву. Сонный был я отважнее, ибо, не обинуясь, объявил ей любовь свою, слышал о ее соответствии, пользовался ее нежностью и утопал в блаженстве; просыпаясь, тщетно ловил я прекрасную тень, призывал ее страстным голосом, простирая трепещущие руки: она отлетала так, как тень Евридики от певца Орфея^{18}, и никакие заклятия не могли возвратить ее.

Так прошло лето, так прошла осень и зима. Томле-

ния мои с каждым днем увеличивались, и, наконец, я сделался сумасбродом. При самой веселой беседе корчемных посетителей я сидел в углу подгорюнившись, как столетний инок; в другой раз, будучи один в своем чулане, поднимал хохот, заводил пение и скачку. Хозяева, зная, что я один, не раз покушались думать, что состою в связи с демонами и на досуге забавляюсь с ними.

Между тем казна моя приметно умаялась; итак, у меня завелись вдруг две заботы: первая – об удовлетворении страсти моей к Сусанне, а вторая – о наполнении кошны. Оставив последнюю статью без особенного внимания, я занялся первой. «Что, если я тайным образом, для одного вида, сделаюсь жидом, – думал я иногда, – и потребую у Измаила руки его дочери? Опасность очевидна! Об этом проведают, безмерность любви отнюдь не послужит оправданием, и я погиб невосвратно. Как бы Сусанну сделать христианкою?

Родители ее ни за что в свете на сие не согласятся. Ах! какой злой дух напустил меня поселиться в корчме сей!»

В противоположном конце города жил золотых дел мастер жид Исаак, родной брат Сары, жены Измаиловой; у сего Исаака был сын Товий, малый лет двадцати, статен и пригож. Их обоих видал я иногда в корчме

нашей, но не находил никакой надобности знакомиться. С самого начала апреля месяца сей Товий каждый уже день посещал своего дядю и приметно увивался около Сусанны со всею жидовскою нежностью. Сначала приписывал я сию вольность званию брата и нимало не беспокоился; но вскоре увидел нечто совсем другое.

Сусанна охотно оставалась с ним наедине, охотно слушала его напевы и за поцелуи также охотно платила поцелуями, и это происходило иногда в присутствии родителей и даже посторонних. Я взбешен был до бесконечности и не знал, что думать о сей небывалой странности. Скоро сам Измаил вывел меня из мучительного недоумения. «В непродолжительном времени, – сказал он в один вечер, – ты, пан Сарвил, будешь веселиться у нас на свадьбе». – «На какой свадьбе?» – «Мы выдаем нашу Сусанну за брата ее Тovia. Не правда ли, что настоящая пара?» Я так был ошеломлен, как бы кто молотом огрел меня по затылку. «Да!» – отвечал я улыбаясь; но целая буря редела в сердце моем, и я насилу мог произнести это слово. Потом, сказав, что у меня заболела голова и что иду спать на сенник, оставил влюбленных с их семейством.

Я принадлежу к числу людей, которые, видя вдали грозящую им опасность, нимало о том не беспокоятся

и не прежде начинают принимать какие-либо меры к отвращению оной, как увидят, что со всех сторон опутаны уже сетями бедствия. Это, конечно, неблагоприятно; но что ж делать?

В течение почти целого года молчаливой любви моей я довольствовался взглядами, вздохами, а изредка двоесказательным словцом; теперь же, как скоро узнал, что и сих невинных знаков моей нежности делать уже не удастся, а более всего мысль, что Сусанна, милая, прекрасная Сусанна, будет принадлежать другому, — все сие ускорило мою деятельность, и я составил план к отвращению бури и удовлетворению пламенных желаний; посему в третий раз решился представить в лице своем злого духа. Дело происходило следующим образом.

Недалеко от корчмы стояла кузница. Я бросился туда и за один золотый нанял у хозяина самое запачканное платье до утра. С сим приобретением пустился я на пустырь, где некогда — во времена самые давние — была церковь и кладбище, чему теперь и следа не осталось, а известно только по преданиям, однако ж на месте сем никто из православных селиться не хочет; оно стоит пусто и поросло бурьяном; сюда-то залез я в ожидании полночи, ибо заметил, что влюбленный Товий не прежде сего времени оставлял корчму, да и то по неоднократным напоминаниям дяди, тетки

и самой невесты.

В глубокие сумерки я переоделся и ожидал своей жертвы, запасшись вместо всякого оружия одними ножницами. Вдалеке слышал я пение петухов, и Товий показался. Он шел тихо, вероятно, мечтая об утехе, какие скоро будет вкушать с Сусанною. Поровнявшись со мною, он остановился, услыша кряхтенье, скрежетанье и щелканье зубами. При свете месяца приметно было, что еломок на целые полвершка поднялся выше^{19}. Вдруг я выскочил и к нему устремился.

Первым движением бедняка было бежать; но я вмиг догнал его, вскочил на спину и ухватился руками за пейсы. Молодой человек, не стерня такой тягости, а притом будучи объят ужасом, повалился на землю. Тут началось истязание. Я попеременно бил его, давил, щекотал и потом опять щекотал, и, продолжая комедию сию с час времени, довел бедного жиденка до бесчувствия.

Тогда, намереваясь прежде обрезать одни пейсы, я остриг ему всю голову до самого темени и отволок в бурьян; потом, наскоро одевшись в свое платье, занятое припрятал, дабы поутру возвратить хозяину, после чего, пришед домой, перелез через забор, забрался на сенник и уснул спокойно, будучи уверен, что свадьба поневоле отложена будет на несколько

месяцев, ибо с остриженной головою без драгоценных пейсов как можно показаться в люди?

Я встал не рано. Когда явился в корчме, то первый представившийся предмет была плачущая Сусанна. Хотя я и очень знал причину слез сих, однако спросил с соучастием друга. «Увы! – отвечала томная красавица, утирая слезы, – видно, участь моя подобна жалкой участи дочери Рагуиловой^{20}, ибо и в меня влюбился злой дух, который сею ночью измучил до полусмерти жениха моего Товия». – «Скажи, пожалуй, как это было?» – спросил я с нежностью, взяв ее за руку. Она рассказала мне то, что вы уже знаете, и присовокупила, что с восходом солнца бедный Товий, к ужасу родителей, явился в дом свой в виде пугалища. Он тщательно подобрал свои пейсы, валявшиеся в пыли, и ими утирал слезы. Все предались горести неизреченной и совершенно не знают, что делать и даже думать.

Родители жениха и невесты присудили, чтобы для утешения больного, изуродованного Товия Сусанна посещала его каждодневно хотя на несколько минут, что и начато того же самого дня. Не видать Сусанны и знать, что она находится подле жениха своего, – адское мучение! Я стократно жалел, что не защекотал его до смерти, ибо думал, что умертвить жида не грешнее, как и полюбить жидовку.

Глава VIII

Неожиданное спасение

На ту пору наш в Пирятине пан Докиар, муж отличный по многим отношениям. Он был довольно богат, иногда довольно сговорчив, а иногда довольно вздорен. Узнав образ его мыслей, привычек, препровождения времени, я предстал к нему. «Честнейший господин! – говорил я, – ты видишь перед собою такого человека, который готов умереть за православие. У меня на примете есть жидовка, которая нетерпеливо желает приобщиться к сонму правоверных. Благоволи подать к сему способ».

«Чем же я могу служить тебе?» – спросил Докиар, опоражнивая чару.

«Православный господин! – говорил я, изогнувшись в дугу, – у тебя есть хутор на острове реки Удая; ближе к нему селение принадлежит тебе же. Напиши к священнику села того, чтобы он, окрестив жидовку, соединил меня с нею узами законного брака; а между тем дозвожь на хуторе твоём прожить несколько дней, пока в жидовских головах не пройдет буря».

«Хвалю молодца за обычай, – сказал Докиар, разглаживая усы, – именно так поступать надобно! Сейчас писарь мой Евграф настрочит грамотку к управи-

телю, и дело сделано будет как нельзя лучше».

И в самом деле вышло по-сказанному В то же утро отправился нарочный в село и в хутор с предписаниями; окончание дела относилось уже ко мне. Я сказал, что Сусанна каждый день навещала жениха своего Товия; на сем обстоятельстве основал я план своего действия. «Измаил! – сказал я в тот же вечер хозяину, – ссуди меня твоим возком с лошадьёю на одни сутки, а я тебе заплачу за то пять злотых. Меня приглашает приятель к себе на хутор, а отказаться мне не хочется». Жид, получив в то же время обещанную плату, несказанно восхитился, сам впряг лошадь, подал мне вожжи и выпроводил за ворота, желая мне хорошо повеселиться.

Настали сумерки. Достигнув жилища Исаакова, я объявил Сусанне, что отец ее, неизвестно мне для чего, желает ее сейчас видеть и для того прислал возок. Жиды легко дались в обман, и милая девушка села со мной, ничего не подозревая. «Куда же ты едешь?» – спросила она, видя, что мы выехали из города. «В самое безопасное место, – отвечал я. – Сусанна! участь твоя и моя решена! Ты должна сегодня же сделаться моею женою!» – «Я? твоею женою? – спросила она с ужасом. – Но разве ты забыл, что я жидовка?» – «Это главному делу не мешает, – отвечал я, – мало ли из вашего народа есть таких, коих память и мы, право-

славные, убажжаем! Как бы то ни было, сего еще вечера ты будешь христианкою! – С сими словами вытащил я из-за пазухи пистолет и взвел курок. – Сусанна! – продолжал я свирепым голосом, – из теперешнего поступка ты можешь понять безмерность любви, кою наполнено к тебе сердце мое! Намерение твердо. Ты будешь моею женою, или нас обоих не будет на свете». Сусанна тихо плакала, стенала, но я был непоколебим, как утес гранитный. Мы прибыли в обетованную землю; священник, получив писание пана Докиара, принял нас с отверстыми объятиями. Кум и кума были готовы, двери церковные отверсты. Не прошло и часа, как Сусанна превращена в Серафину и счастливый Сарвил сделался нежным супругом. Я не пожалел злотых.

У священника приготовлен великолепный ужин, причем и напитки забыты не были. На ночь отправился я в хутор пана Докиара, где и нашел все приготовленным к нашему приему.

Семь дней провел я в совершенной неге и довольстве. Сусанна начала привыкать к новому образу жизни, читала исправно по утрам и вечерам христианские молитвы и была наилучшая жена. Она до крайности была тиха, кротка и послушна. В осьмой день после свадьбы я переселился в Пирятин и пристал прямо в дом пана Докиара. Он принял меня с женою весьма

сухо и, приказывая дворецкому отвести нам на первый случай жилище в курятнике, молвил: «Надобно признаться, что ты, молодец, с женитьбою своею поступил опрометчиво. Какова бы ни была жена твоя, но все она никогда не забудет, что родилась и выросла жидовкою. Я позволяю вам пробывать в моем доме целую неделю, а там убирайтесь хоть к черту в омут».

Такая неожиданная встреча немало меня подивила. Я сейчас составил план, как провести дозволенное мне время в доме Докиара, и, занявшись ласками моей Серафины, не видал, как летело время. На ту пору случилась в Пирятине ярмарка, и стечение народу было чрезмерное.

Серафина, приметив, что кошелек мой с наступлением каждого дня делается тощее, сказала: «Друг мой! как ты думаешь? Не постараться ли нам поладить с отцом моим?» — «Разве ты считаешь это возможным?» — «Почему же и не так? Хотя он и жид, однако и отец, а я у него единственная дочь. Как бы хорошо было, если бы он усыновил тебя!» — «Ин попробуем!»

Вследствие общего соглашения Серафина отправилась к родителям с мирными предложениями. Она не замедлила возвратиться и обрадовала меня несказанно повествованием о ласковом приеме, какой ей был сделан. Измаил совершенно покорился

судьбе своей и, видя, что порчи никак уже поправить нельзя, признал меня за своего зятя и приказал просить в дом свой. Хотя такое смирение обиженного жиды сначала меня удивило, но жена ласками своими умела отклонить всякую недоверчивость. В тот же день мы отправились в корчму и расположились в отведенной нам комнатке. Измаил и жена его рассыпались в учтивостях всякого рода, и первый объявил за тайну, что он – может быть – и сам скоро окрестится, и тогда заживем все как нельзя ладнее.

По случаю ярмарки он отсчитал Серафине сотню золотых на мелкие покупки. Из денег сих взял я на свою долю целую половину и пошел шататься по базару, стараясь тщательно не преминуть ни разу прелестного шатра, где разливался пенник и заседало самое великое общество, коему имел я случай поведать об удалстве своем касательно обращения Сусанны в Серафину и моей женитьбы, о примирении с тестем и переезде в дом его на жительство. Под ночь я опочил мирно в объятиях жены-любовницы, и никакая забота меня не тревожила.

Пение петухов возвестило полночь, и я проснулся. Хочу потянуться, но не тут-то было. Приведя несколько в порядок свои чувства, ощущаю, что я, связанный крепко за руки и за ноги, нагой лежу на холодном полу. Такое состояние крайне меня изумило. «Неужели

тесть мой изменник? — говорил я, барахтаясь по полу, — неужели он намеревается мстить своему зятю?»

Когда я не знал, что и подумать, вдруг отворяются двери, и в мою опочивальню входит с полдюжины жидов. Принесенными свечами они осветили комнату, и я, к неопisanному ужасу, увидел, что каждый из них вооружен был изрядною плетью, из сырых кож сплетенною. Тесть мой и его шурин Шаах предводительствовали сим отрядом. И самый недогадливый на моем месте сейчас бы догадался, к чему дело клонится. Жиды с возможным смиренномудрием окружили меня, подняли вопль и начали стегать по чему ни попало. Я свирепствовал, силился разорвать свои окovy, но тщетно! С четверть часа продолжалось жестокое истязание и кровь моя текла ручьями. Наконец руки мучителей устали, и они захотели отдохнуть. Тогда Измаил после долгого бормотанья на неизвестном мне языке, обратясь ко мне, говорил: «Ты погубил единственную дочь мою, изменник, так справедливость требует, чтобы и сам погиб злою смертью. До тех пор будем терзать тебя, пока приметно будет в тебе дыхание. Пусть нечестивая кровь твоя источится по капле! Друзья мои, начнем сызнова!»

С сими словами они подняли плети, намереваясь продолжать угощение, как послышавшийся в сенях великий шум и стук остановили сих извергов. Двери

быстро отворились, и мгновенно появилось к нам более двадцати черноморцев, исправно вооруженных. «Если вы – христиане, – возопил я болезненно, – то спасите собрата своего от мучительских рук жидовских! Посмотрите, что сии неверные со мною сделали!»

Оторопевшие евреи несколько поправились. Измаил храбро подступил к начальнику казаков, изогнулся в пояс и произнес: «Если вы, честные господа, зашли в корчму мою попить и погулять, то я очень рад, хотя, правду сказать, теперь несколько еще рано. Прошу не удивляться, что мы несколько строго поступаем с сим бездельником. Если вам рассказать его злодеяние, то чубы ваши станут дыбом!» – «Не трудись рассказывать, – вскричал начальник, – нам все известно. Обратишь жидовку к православию и потом на ней жениться есть подвиг истинно славный! Ребята! перевяжите всех жидов, осмелившихся пролить кровь неповинную, а если кто из них отважится пошевелить губами, не только языком, у того сейчас не будет ни губ, ни языка». Сказав сии грозные слова, он обнажил саблю и начал махать ею над головами уstraшенных. Часть казаков начала перевязывать жидов, а начальник первых, перерезав веревки, меня удручавшие, и подняв на ноги, сказал: «Не правда ли, дорогой приятель, что теперешняя услуга моя

стоит не менее двух или трех сотен золотых, которые нашел я в твоих карманах после ужина у приятельницы Дросиды? Узнаешь ли во мне ярмарочного друга твоего Арефу?» – «Праведное небо! – вскричал я, обнимая его, – какими судьбами тебя здесь вижу и кто ты таков подлинно?» – «Любопытство твое удовольствию после, – отвечал он, – а теперь надобно хлопотать об общей пользе. Жид Измаил! подавай ключи от сундуков твоих, не дожидаясь, чтобы мы их разломали». – «Честнейший господин! – отвечал жид со смирением, – что значит мой ничтожный скарб для твоего великолепия?» – «Но мешает, – отвечал Арефа, – и малому есть счет».

Тут началось опустошение дома Измаилова. Жиды, лежа связанные на полу, вздыхали и плакали, однако сколько можно тише. Я собирался было добрым порядком наградить своего тестя за угощение, но Арефа отклонил кровопролитное намерение; я удовольствовался тем, что у каждого из супостатов приказал остричь голову и бороду.

После сего он сказал мне: «Сарвил! из последнего похождения твоего вижу, что ты человек отважный и рожден к великим подвигам. Оставаться в Пирятине для тебя опасно и даже, может быть, губительно; я предлагаю тебе мою и товарищей моих дружбу. Если еще твоя жидовка тебе не опротивела, то возьми и ее с

собою. Жизнь, какую мы проводим, конечно, не без хлопот, но кто избежит их? И сам великий гетман малороссийский не может похвалиться всегдашним спокойствием, а тем менее веселием!» Я сейчас догадался, какого покроя были товарищи Арефины и кто он сам таков. Будучи уверен, что если стану вести жизнь открытую, то жида рано или поздно меня доконают, и я склонился на предложение нового знакомца. Отыскав Серафину в мучном анбаре, я взял ее с собою, и все, обремененные пожитками сынов Израиля, отправились в путь.

Дорогою Арефа рассказывал следующее: «Прибыв с частию товарищей на ярмарку в Пирятин для обыкновенного своего промысла, я тотчас узнал тебя под шатром и намеревался открыться, но поопасся твоей запальчивости и чтоб ты, мстя за похищение злых, не наделал мне великих хлопот; почему решился ждать случая, пока увидимся наедине. Частию от тебя самого, а частию от других, я узнал все обстоятельства, предшествовавшие и следовавшие твоей женьитьбе, и немало подивился твоей оплошности, что ты вверился тестю, жиду оскорбленному. Поутру еще принято нами намерение в наступающую ночь посетить Измаилову корчму, как богатейшую во всем городе, а узнав, что там найду и тебя и могу предостеречь от очевидной опасности, я был еще решительнее на

сие приятное и полезное препровождение времени. Согласись, Сарвил, что без нашей благовременной помощи ты погиб бы невовратно».

На другой день под вечер прибыли мы на это самое место. Дремучий лес, простирающийся от Пирятина до Переяславля по берегам рек Десны и Удая, служит нам надежным убежищем. Около полуверсты отсюда, на прекрасной долине, со всех сторон окруженной непроницаемым лесом, расположены хаты, в коих проживают наши жены и дети. В течение четырех лет моей пустынной жизни я умел отличить себя мужеством и расторопностью. После печальной кончины храброго Арефы, вознесенного в Киеве на виселицу, все товарищество единодушно провозгласило меня своим начальником. Первое попечение мое было вкоренить в головы моих сотрудников, что смертоубийство не доказывает ни ума, ни храбрости, и потому я запретил оное под смертною казнию; удальства всякого рода были только у меня в чести. Как, например, не похвалите вы образцовой комедии Урпассиана, в которой сами представляли первые лица? Я живу в изобилии и не беру на свою душу ни одной капли человеческой крови.

Общество наше гораздо расширилось, но порядок нимало не нарушен. Летом живем мы, по подобию древнего Израиля, в пустыне, а зимой соединяемся с

женами под одними кровлями. Серафима родила мне двух прекрасных детей; чего ж еще желать более?

Тут Сарвил окончил свою повесть. Мы поблагодарили его за доверенность и возобновили просьбы отпустить нас восвояси; он склонился на представление и дал в проводники двух товарищей. После братских объятий мы отправились в путь и при солнечном закате вышли из ужасного леса. Проводники, указав нам вдали на верх колокольни, объявили, что далее идти не осмеливаются.

Поблагодарив за услугу, мы пустились к указанной цели.

Глава IX

Нечаянная женитьба

Уже ночь раскинула по небу мрачные тени, как мы приблизились к селению. Король остановился, прищурился, и, ударя себя по лбу, сказал:

– Видно, Неон, мы околдованы! Примечаешь ли ты эту церковь и колокольню? Не знакомы ли они тебе несколько?

Я пялил глаза и скоро догадался, что мы опять в селе Глупцове.

– Ах, боже мой! – воззвал я, – это самое то место, где сегодня назначено было бракосочетание Неониллы!

– Слава богу, – говорила она, – что день сей прошел не хуже. Для меня во сто раз приятнее было провести ночь в дремучем лесу на сырой земле, а день среди разбойников, чем с дедом Варипсавом!

– Однако, Неонилла, – заметил Король, – на хуторе отца твоего теперь изрядная суматоха, и если не сделана погоня, то неотменно последует. До корчмы добираться нам нечего: она самое ненадежное убежище. Я думаю остановиться в сем ближнем доме и щедро заплатить хозяину за скромность и укрытие нас на некоторое время.

В сем намерении мы постучались в ворота, и встречены стариком в литовском платье. Нас ввели в светелку и подали ночник.

– Хозяин! – сказал Король, усевшись на лавке, – мы надеемся, что ты человек честный, а потому будем говорить с тобою откровенно. Мы имеем в сем краю злого неприятеля, который ищет погубить нас. Хотя в каждом городе мы не имели бы причины его опасаться, но в селениях и в поле он может нам сделать насилие. Вот тебе десять червонцев за то, что в доме своем дашь нам пристанище и никому не объявишь, что у тебя есть кто-либо посторонний. За всякую же пищу, какой потребуем, будет особо заплачено.

Хозяин, приняв деньги и уложив в карман, сказал с улыбкою:

– Господа! я также надеюсь, что вы честные люди, и даю слово, что доверенность ко мне вас не обманет. Хорошо, что вы не пожаловали сюда раньше, а то неотменно не миновали бы рук панов Истукария и Варипсава.

– Как? что такое? – вскричали мы все трое в один голос.

– За два дня, – продолжал хозяин, – уже все селение знало, что сегодня назначено быть бракосочетанию дочери Истукария Неониллы с Варипсавом. Все собрались в церковь, любопытствуя видеть обещан-

ное великолепие.

Богослужение кончилось, мы все ожидаем долгое время жениха с невестой и со всем родством, но тщетно. Наконец прискакали верхами Истукарий, Варипсав, Епафрас со многим множеством вооруженных друзей и служителей. «Не видал ли кто из вас, – вскричал отец к собравшемуся народу, – беглой дочери моей Неониллы, злодея бурсака Неона и старого плута, Королем называемого? Кто мне откроет следы их, тому дарю пару лучших волов из моего стада и дюжину овец с двумя баранами». Все поселяне с недоумением глядели друг на друга и пожимали плечами; наконец священник отвечал за всех, что о таких беглецах и не слыхали, иначе не для чего было бы православным собираться и в церковь. «Надобно их преследовать и поймать, – вопиял с бешенством Истукарий, – и я дозволю выщипать себе весь чуб по волоску, если не отомщу за себя примерным образом».

С сими словами Истукарий и все сопутники выбежали из храма, бросились на коней и поскакали по дороге к Пирятину. Теперь видите, дорогие гости, что я узнал вас с первого взгляда; но божусь, что не изменю вам ни одним словом. Я должен о людях заключать по себе. Каково было мне на сердце, когда покойные родители хотели меня в двадцать лет женить на со-

рокалетней вдове-шинкарке? Я бросил все и убрался в Запорожчину, где и пробыл до тех пор, пока не дозволено было взять за себя любимую мною Марину. У меня в саду есть маленькая хата, где помещу тебя, Неон, и тебя, Неонилла; а ты, Король, выбирай любое – или на сеннике, или на гумне. В сих убежищах никто не вздумает вас беспокоить.

– Ты добрый человек, – сказал Король, – и будь уверен, что при расставании без надлежащей награды не останешься.

После легкого ужина, состоящего из древесных плодов, сыра и яиц, всякий из нас отправился на покой, который после прошедшей суматошной ночи был весьма нужен. Я и Неонилла рано поутру разбужены были ужасными ударами грома и бурным свистом ветра. В маленькое оконце видно было, что потоки молнии не оставляли небосклона; деревья скрипели, дождь и град бил в крышку и стены нашего убежища, и я каждую минуту ожидал, что оно взлетит на воздух.

– Не правда ли, Неон, – сказала Неонилла со вздохом, – что с тех пор, как я тебя полюбила и отдалась влечению сей страсти, злой дух путает каждый шаг наш? Кажется, идешь вправо, а очутишься с левой стороны!

– Не совсем справедливо, любезная, – отвечал я, – и нам грех роптать на судьбу свою. Сколько раз грози-

ли нам опасности, и мы от них нечаянно избавлялись. Даже самая прошедшая ночь, если б была подобно этой, то нам в лесу было бы гораздо хлопотливо. А теперь о чем думать? Мы сухи и согреты, а сверх того, такая погода поубавит в упрямом отце твоём охоты гоняться за нами, и он прежде времени поспешит в Переяславль.

Сими словами я успокоил красавицу, и мы очень терпеливо ожидали рассвета. Наконец настало утро во всем блеске и величии; громы и свисты бури умолкли, и лучезарное солнце величественно катилось по небу голубому.

Мы оделись и вышли в сад. «Как прелестна природа после бури! Такова-то кажется нам всякая тихая минута после житейского ненастья. Не будем же роптать на мудрое провидение, если не все дни наши будут ясны; видно, таково изволение всемогущего. Он знает, когда беспечный слух наш поразить ударом грома и когда сумрак души нашей озарить лучами своей благодати!» — Так мыслил я и старался мысли сии перелить в душу своей подруги.

В сем гостеприимном доме провели мы около недели, боясь показаться даже на улице, дабы не напасть на Истукария или кого-либо из знакомых.

Хозяин и его домашние служили нам, как ближним родственникам, за то и мы не были скупы. Король на

досуге беседовал с ними как истинный философ, проведший жизнь посреди испытаний. Словом, если бы нас не занимала мысль скорее достичь Батурина, то мы очень были бы покойны в своем убежище.

В пятые сутки хозяин, по наущению Короля, ходил в хутор Истукария, дабы от говорливого Власа проведать, что можно, о его господине. Под вечер он возвратился с веселым лицом и сказал:

— Отец твой, красавица, вчера еще отправился со всеми домашними в Переяславль, обещая сыну своему Епафрасу сделать его единственным наследником всего имения, исключив непослушную дочь от всякого в том соучастия.

Последняя угроза нимало нас не потревожила. Нам казалось, что денег, какие у нас были, станет на всю жизнь, хотя бы мы прожили Мафусаиловы лета ^{21}.

На другой день поутру назначено быть походу, почему Король, опасаясь, чтоб и впредь не довелось так же поститься, как в день побега из хутора Истукарие-ва, и ужинать лесные яблоки, купил у хозяина торбу и баклагу и пошел в корчму заказать кое-что съестное и запастись добрым вином.

Оставшись одни с Неониллою, мы пошли в сад. С некоторого времени начал я замечать в ней скуку и уныние, а иногда видел слезы на прелестных глазах ее. Пользуясь случаем, я приступил с вопросами.

Долго она стояла молча и вздыхая, наконец спросила с необыкновенною ласкою:

– Разве ты не замечаешь в наружности моей никакой перемены?

– Совсем никакой! – отвечал я. – Ты так же прекрасна и любезна, какою казалась мне за четыре месяца пред сим, при начале любви нашей!

– Ты обманываешься, – говорила она, потупя взоры, – всмотрись в меня хорошенько: огонь в глазах начинает меркнуть, свежесть в лице исчезает, стан не так строен и гибок, как был прежде. Увы, Неон! я – беременна.

Я оцепенел от ужаса и едва мог на ногах удержаться. Облокотясь о дерево, я смотрел на нее неподвижными глазами. Теперь и я начал уже замечать в ней действительную перемену. Я не мог различить чувств своих.

Горесть, раскаяние, жалость и любовь терзали сердце мое то порознь, то совокупно. Тут Неонилла, приняв боязливый вид, сказала вполголоса:

– Ах, как я злополучна! Вместо того чтобы сею вестью обрадовать любезного, я его огорчаю! Ах, Неон, Неон! что со мною будет? Куда я денусь?

Что сделаю с несчастным залогом преступной любви моей?

Тут она зарыдала и, вскричав: «Неон! не погуби ме-

ня и своего дитяти!»

– упала к ногам моим и обняла колени.

Я вышел из своего бесчувствия; бросился в ее объятия, поднял и спросил с чувством, более горестным, нежели нежным:

– Что же велишь мне делать, моя Неонилла?

– Как? И ты спрашиваешь? – отвечала она. – Долго ли нам еще преступничать? Разве в селе сем нет храма божия, разве нет священнослужителя: пойдем предстанем пред алтарем господним и освятим любовь свою взаимными клятвами в вечной верности.

– Но, Неонилла, – сказал я, заикаясь, – в этом наряде священник не узнает в тебе женщины!

– Это препятствие самое ничтожное, – отвечала она, ласкаясь ко мне со всею нежностью, – одна из дочерей нашего хозяина в мой рост. За небольшую плату я достану у нее на вечер праздничное платье. Милый друг! пойдя к священнику предупредить его об этом; вслед за тобою и я буду со всем здешним семейством.

Я так ошеломлен был всем виденным и слышанным, что, не отвечая ни слова, побрел к священнику.

«Вот тебе и на! – думал я дорогою, – кто б мог подумать, что я сделаюсь зятем надменного Истукария. Но Мелитина, милая Мелитина! Что ж такое?

Невинная девушка не дала мне на себя никакого

права. Она, вероятно, и не знает о любви моей. А Неонилла! Ах! она всем для меня пожертвовала: добрым именем, отцовским именем, она мать моего дитяти! права священные, неотъемлемые!»

Посетив священника и положив пред ним горсть злотых, я сказал:

– Честный отец! рассуди меня с моею совестью. Я заезжий пан и не без достатка. В сем селе проживая по некоторым обстоятельствам довольно долго, я влюбился в крестьянскую девушку, умел и сам понравиться неопытной красавице, обольстил ее и сделал матерью; теперь я намереваюсь загладить грех свой и на ней жениться: хорошо ли я делаю?

– Самое спасительное дело, свет мой, – отвечал священник, – и я не знаю другого способа загладить пред богом такое грехопадение. Приводи в церковь свою невесту, и я соединю вас узами брака.

– Она и сама скоро будет, – говорил я, и мы отправились во храм.

Неонилла не заставила себя долго дожидаться. Она появилась в сопровождении всей хозяйской семьи; бракосочетание совершено, и мы сделались супругами. Признаюсь, что я все еще не знал, радоваться ли мне, или печалиться, – однако ж заметил, что Неонилла в женском платье, хотя и крестьянском, обворожила всех своею красотою и любезностию. Не

дожидаясь Короля, я велел изобильно подать нали-
вок и закусок и сел за стол с женою рядом, как водит-
ся, а вокруг нас расположилось все семейство. По ме-
ре того как полные чарки были опорожниваемы, мы
делались веселее, и уже две хозяйские дочери и две
невестки начали мурлычать свадебные песни, а му-
жья их стучать ногами такту, как вдруг Король, обре-
менный поклажею, ввалился в свадебную комнату.

Глава X

Невежливый жених

Увидя такое неожиданное явление, Король остановился у порога и протирал глаза. Его молчание смутило меня и Неониллу. Я протянул, к нему руку и сказал:

– Любезный друг! обойми жену мою и садись веселиться.

– Как? – спросил он довольно сурово, – какую жену?

– Неониллу!

– Когда успел ты?

– Сего вечера мы обвенчаны!

Он крепко потер свой чуб и молча вышел.

– Неон! – сказала жена моя, – если Король тебе друг, то, узнав причину, для чего мы поторопились, долго упрямыться не будет; если же вздумал бы и оставить нас, то неужели моя любовь не заменит его любви? Будь покоен: я беру на себя помирить его с нами.

Тут она встала и вышла, а мы продолжали веселиться, мало заботясь, сердится ли кто на нас или нет. Однако ж, к большей еще радости, Неонилла скоро возвратилась, ведя Короля за руку.

– Неон! – сказал старик, обняв меня, – я теперь узнал причину, по которой ты обязан был жениться

на Неонилле, если не хотел сделаться злодеем, недостойным ни милости от неба, ни от людей помощи. Дай бог, чтобы все обратилось к лучшему! Велика власть и милость господня!

Король принял участие в общем веселии, которое продолжалось гораздо за полночь. Путешествие отложено еще на целый день. Как мы не опасались уже ни обысков, ни погони, то порядочная брачная постель была нам приготовлена в светелке, а Король переселился на ночь в садовую хату.

Наутро Неонилла, осыпав меня ласками, сказала: — Друг мой, я заметила, что в женском платье нравлюсь тебе более, чем в мужском, — да это и естественно; а потому сегодня поутру надену мужское в последний раз. А как в своем путешествии пешком или верхом для меня весьма неудобно, то я нашла средство отвлечь и сие затруднение. На известном тебе хуторе отца моего есть прекрасная бричка; мы запрежем ее в четыре надежных коня, уложим мою постель и весь платьной наряд отцовский, матернин, братнин и мой. Не правда ли, что моя выдумка весьма разумна? Как скоро все приведено будет в надлежащий порядок, я переоденусь опять в свое платье и никогда более не скину. Где будешь ты, там буду и я. На отца и брата я мало надеюсь; но что касается до матери, то она меня не оставит.

Она сама говорит, что я – настоящий образ молодых лет ее, за что всегда жаловала меня особенно.

Я похвалил такую разумную догадку моей дорогой половины. Одевшись, соединились мы с Королем и открыли ему предположение свое путешествовать с лучшею удобностию. Он сначала заметил, что такое приобретение походить несколько будет на воровство.

– Никак! – возразила Неонилла, – я дочь Истукария и могу воспользоваться кое-какими вещами из его дома, тем более что во власти его осталось много дорогих вещей, собственно мне принадлежащих, которые гораздо дороже стоят тех, кои теперь возьму я себе по нужде.

Король принужден был согласиться на сии доводы, и мы, взяв с собою старшего хозяйского сына, отправились в хутор. Пришед в господский дом, нашли двери на замках, почему принуждены были искать Власа в людской избе.

Нашед всех за делом, Неонилла спросила важным голосом:

– Узнаете ли дочь вашего господина?

Все ударились бежать, крестясь и отплевываясь.

– Куда? – вскричала Неонилла, заградив им дорогу, – неужели платье могло так переменить лицо мое, что вы не узнаете уже своей Неониллы? Влас! сию

минуту впряги в новую бричку четырех коней и подъезжай к крыльцу господского дома, а между тем отдай мне ключи, если не хочешь, чтобы мы отбили двери и тебе порядком досталось от отца моего.

Влас, трепеща всем телом, подошел к Неонилле и, вручая ключи, сказал:

– Если ты и в самом деле не оборотень, то бога ради перекрестись!

Жена моя охотно исполнила благочестивое сие желание, и бедный Влас сделался посмелее. Он пошел в сарай и начал впрягать лошадей вместе с сыном нашего хозяина, а мы отправились в дом и начали укладывать пожитки. Занятия наши недолго продолжались. Бричка подвезена, и все порядком уложено, а особенно пышная постеля, столь необходимая утварь для нежной замужней женщины. Для утешения бедного Власа я дал ему несколько злотых, и он, забыв все, вслед за нами поплелся к очаровательной корчме. Мы перед обедом успели в село Глупцово, целый день провели в пиршестве и решились, не откладывая вдаль, наутро пораньше пуститься в дорогу. Посему я и Неонилла положили эту ночь провести в бричке.

На другой день, проснувшись, я почувствовал легкое колебание нашей колесницы, которая вскоре и остановилась; Неонилла покоилась еще сладким

утренним сном; приятная улыбка блистала на полуотверстых губах ее, на щеках играл прелестный румянец. Ах! как она показалась мне прелестною и как я благодарил судьбу, соединившую меня с сею красавицею! Я вышел из своей походной спальни и нашел, что лошади были уже выпряжены и пущены на траву.

Подле тенистой рощи бодрственный Король приготавливал обед.

— Ты долго спишь, приятель, — сказал он, — человеку, готовящемуся вступить на поприще брани, надобно приучаться к бодрствованию! Мы уже от села Глупцова отъехали двадцать верст и к ночи будем в Пирятине.

— Когда я буду на поле брани, то, верно, подле меня не будет Неониллы, — отвечал я.

Он улыбнулся и продолжал свое дело. Скоро вышла и наша хозяйка, совсем одетая. Мы уселись на траве и обедали с великою охотою, после чего Король улегся отдыхать, а я с Неониллою вздумали прогуляться недалеко от становища.

— Друг мой! — сказала жена, — я сделалась твоею по особенной любви и доверенности, совсем не зная, кто ты подлинно. Расскажи мне теперь о своих родителях.

— Увы! — отвечал я, — и мне совершенно неизвестно, кто они и где находятся. Хотя Король и друг его Мемнон об них знают, но, несмотря на частые мои докуки,

ничего не объявляют.

Тут я рассказал все, что знал о самом себе.

– Что ж делать? – сказала Неонилла. – Довольно, что родители твои люди благородные, и никто из родных не упрекнет меня, что вступила в союз неравный. Будем ждать и надеяться.

Поговорив о сем предмете, я изъявил желание знать и ее историю.

– О! – сказала Неонилла улыбаясь, – моя история хотя не длинна, но также довольно любопытна. В угодность твою я открою, между прочим, нечто, чего никто, кроме меня, не знает. Может быть, тебе уже известно, что отец мой молодые лета свои проводил в Киеве, как в таком городе, где достаточный человек может найти все веселости. Там женился он на моей матери, и там родились я и брат мой Епафрас. Мне было уже шесть лет, когда правительство назначило отца старшиною в Переяславль. Он отправился к должности с моею матерью и братом, а я, с общего согласия, оставлена для воспитания в доме дяди, богатого гражданина пана Тивуртия. У него часто собирались гости самые знатные и образованные, и от них-то научилась я той свободе и непринужденности в обращении, которые отличают городских жителей от деревенских. До шестнадцатилетнего возраста я и не знала никаких печалей и огорчений. Я понемногу учи-

лась, часто играла на лютне, пела и плясала. Кто ни приезжал к дяде и куда он ни возил меня, везде встречала я одни ласки, похвалы и приветствия; если же от кого и досадно было мне слушать ласкательства, так это от знатного и богатого пана Памфамира. Он был не стар, но так изуродован, что страшно было на него глядеть. Оспа налепила на один глаз бельмо и все лицо испестрила разноцветными сшивками; вдобавок красные волосы его съежились и переплелись, как у арапа. Когда он смотрел на кого пристально, то глаз его воспалялся и быстро двигался во все стороны, как у колдуна. Нежные слова и ласковые приветствия сего человека, как я уже заметила прежде, были для меня несносны. Хотя я никого не любила, но чувствовала, что пана Памфамира способна ненавидеть. От встречи с ним убегала я весьма тщательно, с нарушением иногда учтивости, и тогда страшный глаз его блистал гневом и мщением. Мне исполнилось шестнадцать лет, и отец мой с матерью приехали в Киев и остановились в доме дяди. На другой день я позвана была пред родителей, и отец говорил: «Неонилла! ты уже невеста, и мы приехали к тебе на свадьбу. Через неделю ты будешь женою предостойного мужа. Он молод, богат, знатен, храбр и умен: видишь, сколько достоинств в одном человеке. Хотя, правда, он не совершенный красавец; но в мужчине красота не есть

достоинство. Он более года вел со мною на сей предмет переписку; но я взял за правило не выдавать тебя раньше шестнадцати лет, и он должен был смириться предо мною». — «Кто же мой жених?» — спросила я.

«Выбрать тебе мужа было мое дело, а твое будет за него выйти. Мне всегда нравились такие девицы, которые не прежде узнавали женихов своих, как под венцом. Кротость и стыдливость — суть лучшие украшения всякой женщины».

Как я никого не знала, кто бы особенно был мне по мысли, то весьма равнодушно выслушала сие предложение. Срочная неделя пролетела как вихрь.

Каждый день я занята была с утра до вечера примериванием дорогих платьев и других уборов. Настал роковой день, и я, одетая великолепно, отвезена в церковь дядею Тивуртием. Когда меня подвели к жениху, я взглянула на него и оледенела, — это был ненавистный Памфамир. Дрожь разлилась по моим жилам, холодный пот оросил лицо мое, руки и ноги дрожали. Меня поставили у наложницы, и торжество началось; не успела я опомниться, оно уже и кончилось.

Со всеми спутниками отведена я в великолепные палаты моего мужа и усажена за богатым столом.

Глава XI

Муж по имени

Во время брачного торжества я пребывала в глубоком молчании и с стесненным сердцем рассуждала о горькой своей участи. Наконец, напала на мысль, которая мне понравилась, и я решилась: отгадай, на что? Я решилась лучше пойти в монастырь или даже и умереть, чем сделаться настоящею женою ненавистного человека. «Довольно с него и одного названия мужа; но чтоб он владел моею особою – никогда, никогда!» Утвердясь в сей мысли, я сделалась покойнее, и румянец гнева покрыл бледные щеки мои. Муж, толкуя перемену сию в свою пользу, рассыпался передо мною в учтивостях. День прошел, настала ночь, и нас отвели в опочивальню.

Когда я с мужем осталась одна, то он с щегольским видом подскочил ко мне и хотел помогать раздеваться; но я, отступив на несколько шагов, сказала с возможною важностию: «Остановись, пан Памфамир! и не смей подступать близко. Хотя ты и об одном глазе, но мог приметить, что я нездорова. Пока совершенно не оправлюсь, будь уверен, никакая власть не принудит меня сделаться настоящею твоею женою; будь до времени доволен и одним названием мужа!»

Вот тут посмотрел бы кто, как он изменился. Глаз его сверкал, как раскаленный уголь, губы дрожали. «Понимаю! – произнес он наконец, – что значит это упрямство; но я докажу, что уже не ребенок и дурачить себя не позволю. Оставайся здесь, а я найду себе место». С бешенством выбежал он из спальни, и я, скинув головной убор и верхнее платье, легла в постелью.

Легко представить можно, сколько ночь та была для меня горестна. Я просыпалась каждую минуту и к утру почувствовала себя действительно больною. Родители, вошед ко мне, поздравляли с благополучным окончанием брака, из чего заключила я, что Памфамир скрыл от всех истину, и в первый раз почувствовала к нему некоторую благодарность.

Свадебные праздники прошли; родители мои и гости разъехались, и я осталась одна оплакивать свою горе. Всякую ночь муж, провожая меня в спальню, спрашивал: «Все ли еще ты нездорова?» – «Да!» – отвечала я, и он с крайним огорчением удалялся. Так проходил день за днем, неделя за неделей, так прошло три месяца.

Сия чудная супружеская жизнь не мешала моему мужу давать частые обеды и ужины и везде возить меня в гости. При посторонних ни одним взглядом не обнаруживал он неудовольствия; но когда оставались одни, то я терпела от него ругательства и угрозы.

Известно, что муж, чувствующий себя недостойным любви жены своей, всегда бывает рабом ревности.

В сие время показался в киевских обществах граф Хмаринский, племянник воеводы. Он был молод, пригож и великий угодник женского пола. Все на него заглядывались, так мудрено ли, что и я наряду с прочими зевала на искусные танцы его и охотно слушала нежное болтанье, коему научился он, воспитываясь в Варшаве. Муж мой скоро заметил его взгляды, на меня обращаемые, и пожимание руки в танцах. Он бы охотно запрятал меня в один из хуторов своих, но стыдился признан быть ревнивым; сверх того, опасался отказать Хмаринскому от своего дома, по его близкому родству с воеводой, который мог бы навлечь ему великие хлопоты. Так прошли, как я сказала прежде, с небольшим три месяца после мнимого моего замужества.

По случаю святочных праздников и всерадостного дня рождения Памфамирова он назначил у себя в доме пир великолепный. В сумерки собралось множество гостей, и в числе их молодой Хларинский. Загремела музыка, и начались танцы. Когда я сошлась с моим волокитою, то он сунул мне письмецо в руку. Я так была нова и неопытна в подобных приемах, что муж тотчас заметил сии шашни. Он подошел ко мне с изменившимся видом и грозно сказал: «Поддай!» Не без

замешательства я отдала роковую записку, и он удалился в свой кабинет. Происшествие сие, почти всеми гостями виденное, остановило танцы и родило на лице каждого горестное уныние. Скоро появился Памфамир, подошел к Хмаринскому и сказал вполголоса. «Мне нужно слова два сказать тебе наедине». Молодой человек язвительно улыбнулся, подал ему руку, и они скрылись в кабинете. Некоторые из гостей хотели было следовать за ними, но нашли двери назаперти. Глубокое молчание царствовало в танцевальной комнате, музыка остановилась. Вдруг раздается выстрел; все вздрогнули и подняли крик. Многие бросились к дверям и опять остановились, услыша другой выстрел. Шум, тревога и смятение потрясали стены; служители сбежались, и, по приказанию моего дяди, двери от кабинета Памфамирова выломлены. Боже!

Какое ужасное зрелище представилось! Два бесчувственные трупа плавали на полу в потоках дымящейся крови. Я едва могла стоять на ногах, побрела к столу, взяла роковое письмо и сожгла на свечке не читавши. В одну минуту собраны были медики польские и жидовские. Они принялись осматривать тела, и женщины удалились. Дядя мой Тивуртий при свидетелях опечатал все в доме, а меня отослал в свой. Я не могла прилечь, да и все не спали, пока не приехал дядя. «Что? что?» – вскричали в один голос жена его,

дети и я. «Очень худо, — отвечал он печально. — По надлежащем осмотре тел найдено, что у Хмаринского раздроблено левое плечо, но он еще жив, почему со всею бережливостию отнесен в палаты своего дяди. Над Памфамиром возились долее, и когда он начал уже леденеть, то врачи догадались, что он умер и что ему нужен гроб, а не лекарства». Приготовление похорон дядя Тивуртий предоставил себе.

На другой день я получила назад свое приданое, на третий похоронила мужа, умолчав пред всеми, что он никогда таковым не был. По совершении сего печального обряда я возвратилась к отцу.

Тут Неонилла остановилась, и я заключил ее в свои объятия. Бричка была готова, и мы отправились в дальнейший путь. До самого Батурина, в продолжение четырех дней, не встретили мы ничего, достойного внимания и рассказа. Мы были здоровы, веселы, довольны. Подъезжая к городу при благовесте к вечерам, Король сказал:— Я думаю, что о жилище мы не должны беспокоиться. За двадцать лет с небольшим оставил я в Батурине приятеля, который, надеюсь, не позабыл еще моей услуги. Я коротенько расскажу вам его повесть.

Когда я был еще в уважении при дворе гетмана и в доверенности на его советах, то, возвращаясь однажды из дворца, нашел у ворот моего дома мужчи-

ну лет в тридцать и женщину в двадцать с маленьким дитятей на руках.

Они были босы и в лохмотьях; бледные лица и впалые глаза ясно изображали истощение сил их. На вопрос мой, что они за люди и чего хотят, мужчина отвечал: «Я – черноморец и жил в Сечи Запорожской. Имя мое Ермил.

Бывая нередко в походах, я познакомился с казацкою дочерью Глафирою. Мы понравились один другому и сделались мужем и женою. Вместо того чтоб мне изредка навещать свою Глафиру, я был столько неразумен, что, презрев один из коренных законов черноморского войска, захотел быть с нею неразлучен.

Тайно ото всех я из внутренности моей землянки выкопал другую и, пользуясь темнотою осенней ночи, умел проводить туда Глафиру. Пока мы были одни, я мог скрывать ее пребывание. Я ловил рыбу, крал у малороссиян овец, и мы были сыты. При начале сего лета жена родила мне сына, которого я в честь деда назвал Муконом. Я плакал от радости и прискорбия, ибо сердце мое предчувствовало близкое несчастье. Пронзительный вопль младенца услышан был прохожими; донесено куренному атаману;⁸ в землянку мою вломилась целая толпа, и Глафира найдена. Ужас сы-

⁸ Курень – значило отделение некоторой части казаков и жилища куренного атамана. Все Запорожье разделено было на курени.

щиков был неописанный. Они удивлялись, что Сечь не провалилась еще сквозь землю или не сожжена небесным огнем, подобно Содому, за то, что женщина присутствием своим осквернила освященное место.

Я взят под стражу, и войсковой атаман дал повеление, наказав меня примерно за такое непростительное беззаконие, выгнать с женою и младенцем из Сечи.

Вследствие сего меня вывели на публичную площадь и при стечении бесчисленного народа выбрили голову и усы, а в заключение, влепив в спину сотню ударов киями,⁹ прогнали за самые ворота. Я взял плачущую жену за руку, и мы – как и следовало – направили путь к жилищу моего тестя. Пришед на место, мы его не узнали; все селение представляло груды золы и угля. От пастухов, вблизи со стадами находившихся, мы узнали, что за месяц перед тем крымские татары напали на селение, часть жителей побили, другую увели в плен и, разграбив жилища, сожгли оные. „Что нам, бедным, делать?“ – „Постой, Глафира, не плачь, – сказал я жене. – Не одни черноморские казаки на земле существуют; есть другие, кои не запрещают держать при себе жен и воспитывать детей. Пойдем в Батурин! Имя божие нас доведет туда“.

⁹ Посохи, у коих на верхнем конце бывает или природная, или приделанная головка.

Мы пустились в путь; но он не ближний. Надежда на бога нас не обманула, и мы пришли сюда живы; но – вагляни на наше состояние, милосердый пан, и сжался над нами».

Так говорил Ермил, и я чувствительно был тронут горестным его положением. Они введены в мой дом, накормлены и одеты благопристойно. Когда муж и жена поправились от дороги и продолжительного поста, я, призвавши их обоих, сказал: «Добрые люди! надобно иметь кусок хлеба, но надобно и трудиться. Недалеко от Батурина есть у меня большой хутор, где находятся стада рогатого скота. Хочешь ли, Ермил, быть главным смотрителем над пастухами, а ты, Глафира, надзирательницею за коровницами?» Они упали к ногам моим и благодарили со слезами за милость. В тот же день они отправлены на хутор и пробыли там пять лет. Во все это время я весьма был доволен их усердием и верностью. Стада мои заметно умножались, ибо бдительный Ермил пресек всякого рода кражу, и пастухи не смели уже продать ягненка под предлогом, что его съели волки, а прежде это было весьма нередко. Время от времени я награждал мужа и жену одеждою и небольшими деньгами. Они – по собственным словам – жили как в раю господнем.

Глава XII

Благодарные

По прошествии сих пяти лет поднялась над головою моей буря, сделавшая в жизни великую перемену. По делу отца твоего, Неон, в коем я принимал великое участие, о чем узнаешь в свое время, гетман Никодим рассвирепел на меня несказанно. Он собрал на совет всех полковников Малороссии и предложил им рассмотреть мой поступок. В угодность властелину судии объявили меня недостойным носить почтенное звание войскового старшины и с тем вместе пользоваться своим значительным имением и проживать в Батурине, где, конечно, могу повстречаться с гетманом и оскорбить взоры его. Таким образом мой городской дом, мои хутора со всем имуществом объявлены принадлежностью отечества, а я изгнанником из столицы. К счастью, я имел друзей, которые о сем решении уведомили меня заблаговременно, и я мог все свои деньги и дорогие вещи спрятать в надежные руки. На другой день явился ко мне Ермил с женою и сыном. «Диомид! – сказал он, – хутор, где жил я с семейством, тебе более не принадлежит. Все пастухи остаются на своих местах и притом охотно, надеясь, что собственность отечества красть удобнее, чем господ-

скую. Что касается до нас, то мы на хуторе оставаться не хотели. Когда ты был богат, то делал нас счастливыми; теперь стал беден, но это не дает нам права тебя оставить. Где ты, там и мы, и по самую смерть твои верные слуги. Где-нибудь найдем же себе убежище. Мы будем работать и кормить тебя, а когда поустареем, то подрастет Мукой; мы его женим; ты без услуги не останешься».

Такая благодарность тронула меня до слез. «Друзья мои! – сказал я, – вы ошибаетесь, считая меня бедным. Я имею более денег, нежели сколько мне нужно по будущему образу жизни, и я вам докажу это сегодня же. Побудьте здесь и дождитесь моего возвращения».

У меня на примете был продажный домик в конце Батурина с небольшим садом и огородом; я тотчас купил его на имя Ермила и снабдил всеми принадлежностями. Устроив все как следовало, я привел туда нового хозяина с женою и сказал: «Этот дом принадлежит вам. Ты, Ермил, так хорошо управлял чужим хозяйством, что стоишь иметь свою собственность. Все, чего я от тебя требую, состоит в том, что если судьба приведет меня когда-либо в Батурин, то дать мне в сем доме убежище». Ермил и Глафира плакали, целовали мои руки и осыпали благословениями. Я обнял каждого из них, простился и – выехал из столицы.

Хотя более двадцати лет я не видал Ермила, но уверен, что он не переменился и от чистого сердца рад нам будет; если же его нет более на свете, то его сын, надеюсь, не менее отца будет добр, чувствителен и благодарен.

— Но, почтенный друг! — говорил я, — ты нам сказал, что при выезде из Батурина имел довольное количество денег и дорогих вещей; что же принудило тебя сделаться в Переяславле огородником, чтобы каждое лето сражаться с бурсаками?

— На это были основательные причины, о коих расскажу в другое время, — отвечал Король, и мы въехали в город.

Неонилла, воспитанная в Киеве, мало на что обращала внимание, зато я пялил глаза на все встречающиеся предметы. Какая разница во всем против Переяславля и Пирятина! Мы ехали тихо вдоль города, и на конце оно остановил Король лошадей у ворот не нового уже, но красивого и порядочного дома. На стук Короля в ворота вышел молодой человек, видный собою и дородный.

— Как тебя зовут, молодец?

— Муконом.

— Отпирай же ворота, я привез гостей. Ворота отперты, мы въехали на двор, я и Неонилла вышли из брички, и Король сказал:

– Мукой, жив ли отец твой Ермил и мать Глафира?

– Живы и здоровы!

– Где они?

– Мать прядет в избе, а отец собирает плоды и овощи для продажи завтра на рынке.

– Ну, Мукой, побудь же у лошадей, а мы пойдем к отцу твоему.

– Анна! – закричал Мукон у окошка, и вмиг выскочила на крыльцо молодая, пригожая крестьянка, – проводи сих господ в сад к отцу, – сказал он, – а я распрягу лошадей и поведу под навес.

Анна пошла вперед, а мы за нею последовали.

– Не жена ли ты Муконова? – спросил Король.

– Жена.

– Давно ли замужем?

– Около пяти лет, и у меня уже трое детей.

– Согласно ли живешь с мужем?

– О чем нам спорить!

Мы вошли в садик, который был невелик, но преисполнен всяких плодовых деревьев. Прошед до конца, мы не видали хозяина, и Анна должна была вскричать громко:

– Батюшка! где ты?

– Что ты, Анна? – раздался голос с вершины кудрявой яблони, и мы подошли под самое дерево.

– Сойди на низ, – кричала Анна, – к тебе пришли

гости.

– Скажи им, что скоро буду; дай ощипать эту только ветку: ведь не в другой же раз лазить.

– Гости здесь, – продолжала Анна, – и они приехали в бричке в четыре лошади.

– Лезу, лезу!

Ермил медленно спускался с дерева, ибо ему быть проворным мешала большая торба с яблоками, привязанная к поясу. Став на земле, Ермил отвязал торбу и положил на траве, а сам бодро, с веселым видом подошел к нам, поклонился с козацкою ухваткою и ласково спросил:

– Что вам, господа, от меня угодно?

Король несколько времени молча его рассматривал, и Ермил также с приметным смятением глядел ему в глаза.

– Как, Ермил, – сказал Король, – ты не узнаешь уже своего старинного приятеля?

– Мати божия! – говорил вполголоса Ермил, – как лицо переменялось; но голос, голос все тот же! Так! – вскричал он, бросился к Королю и, став на колени, обнял ноги его. – Ты наш благодетель, – говорил он, – наш ангел-хранитель, ты Диомид Король.

– Диомид Король! – вскричала Анна и со всех ног бросилась из саду.

– Встань, друг мой, – говорил растроганный Ко-

роль, – встань! Я не с тем к тебе приехал, чтобы привести в смятение, а единственно для сего молодого человека, моего родственника, который желает определиться ко двору гетмана.

В сей госпоже ты видишь жену его. Встань же, Ермил, встань, друг мой, дай обнять себя!

Ермил продолжал обнимать колена своего благодетеля, и седые усы его напоены были слезами. Вдруг раздался вопль позади нас; мы оглянулись и увидели, что пожилая женщина – я сейчас догадался, что это Глафира, – бежала к нам опрометью, за нею следовали сын и невестка, и все трое очутились на коленях подле Ермила, плакали и простирали к Королю руки.

Я не мог быть равнодушен при таком зрелище и, чтоб скрыть свое смятение, отворотился; но глаза мои тут же встретились со слезящимися глазами Неониллы. Она улыбалась, но слезы продолжали орошать прекрасные щеки ее. Бросясь в ее объятия, я сказал:

– О милый друг мой! видишь ли награду благотворения? Я уверен, что чувств, какие теперь наполняют душу нашего Диомида, не можно купить за все золото Малороссии; это блаженство есть награда одной добродетели.

– Я чувствую справедливость слов твоих, – говорила Неонилла, – и молю всеблагого бога, чтобы он когда-нибудь даровал и нам возможность вкусить по-

добное счастье!

Она погрузила лицо свое на груди моей, и мы в положении сем пробыли несколько мгновений.

Когда оправились, то увидели, что хозяева наши были уже на ногах и Король с нежностью обнимал каждого поочередно. Ермил успел уже повестить семью свою о ближнем родстве моем с Королем, почему все теснились к нам с приветствиями. Подражая своему другу, я обнял Ермила и Мукона, а Неонилла ту же ласку оказала Глафире и Анне.

Мы отправились в дом, и введены прямо в чистую, светлую и красивую комнату. Ермил, подошед к образу спасителя, произнес громко:

— Благодарю тебя, создатель мой, что ты сподобил меня еще в жизни сей увидеть моего благодетельного господина! О сем молил я тебя каждодневно, вставая ото сна и отходя ко сну, и молитва моя услышана. Боже! благодарю тебя!

Король, я и Неонилла уселись на широкой чистой скамье у стола. Ермил, поклонясь, сказал:

— Позволь мне, Диомид, на минуту отлучиться. Вы с дороги устали, так не худо раньше поужинать и успокоиться.

— Постой! – вскричал Король, – я тебя понимаю! Сегодня середина, а в саду твоём пруда нет, нам же хотелось бы поесть чего-нибудь рыбного^{22}. Покуда мы

живем у тебя в доме, я требую, чтобы ты ничего на нас не тратил, и это неперемнная воля моя!

После сего Король, вынув из кармана горсть злых, сказал хозяйке:

– Глафира! пошли сына или невестку на базар достать живой рыбы и изготавь хорошую похлебку да еще что-нибудь; а ты, Ермил, останься с нами.

– Хорошо! – сказал последний, – я тебя послушался; не препятствуй же и мне кое-что от себя сделать.

Сказав сие, он со всею семьею вышел, и не успели мы выговорить полсотни слов, как уже и возвратился, держа в руках большую сулею вишневки и чарку, а за ним шел четырехлетний мальчик, неся миску с сотами и большую булку.

– Это пусть будет вместо полдника, – сказал Ермил и по точному приказанию сел на другой лавке против нас. Дорожным людям такой полдник не по нраву, и мы с Королем принялись за сулею, а жена моя за соты и булку. По окончании сей монашеской трапезы Ермил предложил осмотреть на досуге дом его и выбрать спальни. Все с охотою на сие согласились, а особливо Неонилла. Чистая половина дома состояла из трех покоев, и жене моей понравился самый дальний, в коем были два окна – одно в сад, а другое на улицу. Комната сия утверждена за нами.

– А я давно уже назначил себе опочивальню, – ска-

зал Король, – которая мне весьма нравится. В саду твоём, Ермил, заметил я в углу клеть, где, вероятно, хранятся садовые и огородные орудия. Если они разбросаны, то вели собрать в одно место и уложить в стороне, а на другой постлат побольше свежего сена. Приятнейшей спальни ты для меня во всем Батурине сыскать не можешь.

– Быть по-твоему, – сказал Ермил и вышел.

В скором времени явился он с сыном и работником, несшими топоры, гвозди и доски. Вошед в мою спальню, принялись за работу и, не будучи плотниками, в скором времени устали у задней стены прочные подмости.

После сего началась выгрузка нашей брички, в чем и я с Королем участвовал, а Неонилла, оставаясь на месте, раскладывала приносимые нами вещи и приготавливала постелю. Мы так были трудолюбивы, что до заката солнечного не только моя спальня, но и Королева были совершенно готовы.

Ужин наш прошел весело. Ермил и его семейство окружали нас и прислуживали, стараясь предупредить и малейшие желания. По окончании стола все распрощались. Анна, по приказанию свекрови, готовилась идти за Неониллою, дабы служить ей при раздеванье; но сия отговорила, сказав, что с некоторого времени привыкла все, до нее лично относящееся,

делать сама.

Уединясь в спальню, мы принесли милосердому промыслу душевное благодарение за все помощи, доселе нам оказанные. После сего предались покою безмятежному.

Часть третья

Глава I Гетман и двор его

Поутру все в доме занялись делами: Ермил поехал на базар с возом садовых плодов и огородных овощей; Король скрылся, не сказав куда и зачем; Глафира начала стряпать, а я с Муконом и Неонилла с Анною отправились за разными покупками. В полдень все собрались вместе. В привезенный мною шкаф уложены платья; в небольшом ларчике спрятаны деньги и дорогие вещи; в особенном сундучке находились женины снадобья, как-то: нитки, шелки, иголки и проч.; словом, мы спальню свою убрали так, как прилично семейным людям.

Вечернее время проведено в саду вместе с хозяевами, из коих каждое лицо, не исключая и четырехлетнего сына Муконова, старалось нам услуживать, сколько было сил у каждого. После ужина Король сказал:

— Через два дня, в наступающее воскресенье, ты увидишь, Неон, в церкви нашего великого гетмана Ни-

кодима. Он будет во всем блеске и великолепии.

Друг мой! заклинаю тебя моею неизменяемою дружбою, полюби сего державного старца, при лице коего служить намереваешься. Так он сделал мне немало зла, но он действовал как оскорбленный отец и повелитель. Я охотно его прощаю и сделаю еще более: я стану сражаться под его начальством, ибо знаю, что знамена, его осеняющие, суть знамена моего отечества. Сколько противен мне Никодим лично, столько священно для меня его звание – гетмана всей Малороссии. Неон! привяжись к нему сердцем твоим и с его пользами соедини неразрывными узами свои пользы!

Так говорил Король, и взоры его казались воспламененными. Я приступил было к нему с вопросами; но он удалился, сказав:

– Что ясно, то не требует пояснений.

Не знаю, почему, но я охотно согласился с его мыслями, ибо чувствовал, что они не есть цель какого-либо честолюбия или своекорыстия, но побуждение одной любви к отечеству, стенающему под игом иноплеменным.

Настал первый день сентября, день воскресный, день нового лета,¹⁰ день рождения гетманова, которому исполнилось тогда шестьдесят два года. Сколько при-

¹⁰ Известно, что до 1701 года новое лето начиналось 1 сентября.

чин к торжествам всякого рода! Я оделся в богатое кармазинное платье, подаренное некогда Мемноном; Неонилла нарядилась в золотое парчовое. Она была так прелестна в моих даже глазах, что казалось, будто в первый раз вижу нимфу Овидиеву. Приметная округлость стана делала ее в глазах моих драгоценнее всего на свете. Кроткая, милая Мелитина, если иногда и приходила на мысли, то на одну только минуту, и то в виде какого-то воздушного явления.

Король, отпуская меня с Неониллою, Ермилом и Муконом в церковь, затуманился, и слезы навернулись на глазах его. Я не утерпел спросить: что за причина такой чувствительности?

— Сын мой! — сказал он вполголоса, — позволь называть тебя сим именем в награду моей любви к тебе, Неон! ты увидишь гетмана, увидишь человека, которого и я любил некогда, как отца своего! Я хотел бы тебе сопутствовать, но не должен! Сила закона всегда священна для душ непреступных. Меня выслали из Батурина для того, чтобы появление мое не огорчило взоров гетмана. Довольно дерзости с моей стороны, что прибыл в сей город; зачем же казаться в тех местах, где — как известно мне — непременно будет повелитель?

Пришед в соборную церковь, мы увидели чрезмерное стечение народа.

Великолепие блистало со всех сторон. Уставив Неониллу среди женщин,¹¹ я постарался найти себе место поближе к тому, где становится глава народа.

Оно устлано было богатым ковром и осеняемо сверху покровом малинового бархата с золотою бахромою и такими же кистями. Вскоре суетливость духовенства и народа возвестили прибытие великого гетмана. Молчание распростерлось повсеместное. Сначала показалось около полусотни телохранителей, одетых в богатые черкески; они последуемы были важными чиновниками в блестящем убранстве, за коими шествовал державный старец.

Стопы его были медленны, величие блистало во взорах, возвышенный рост и стройная осанка отличали его от всех прочих. Шествие заключалось знатнейшими гражданами Батурина и других городов Малороссии. Когда гетман проходил мимо меня, я почтительно преклонил голову и потупил глаза в землю; однако ж сие положение не мешало мне заметить, что Никодим кинул на меня благосклонный взор и сделал легкое потрясение головою. Во время священнодействия, хотя я усердно молился господу богу, благодаря его за все блага, столь нечаянно и незаслуженно на меня излинные, однако сие не меша-

¹¹ В Малороссии и до сего времени большею частью сохраняется обычай, чтобы в церквах женщины стояли от мужчин отдельно.

ло мне почти беспрестанно смотреть на гетмана и ловить каждый из его взоров. По окончании богослужения он вышел из храма тем же порядком, как и вошел. Я вмешался в толпу его провожающих и последовал за ним до крыльца церковного. Тут подвели ему богато убранного коня; он сел и, окруженный телохранителями, медленно возвращался в свои палаты при пушечном громе и колокольном звоне. О, как наружное великолепие и блеск умножают в нас благоговение к державным особам! Какая разница между гетманом, окруженным своими телохранителями, сопровождаемым знатнейшими лицами и бесчисленным множеством народа, и консулом переяславской бурсы посреди своего сената, окруженным ликторами и целерами, хотя и последнего власть довольно значительна на своем месте!

Соединясь с Неониллою и своими спутниками, я собирался отправиться домой, как подошел ко мне незнакомец и сказал отрывисто:

– Великий гетман Никодим обратил на тебя высокое внимание и желает знать, кто ты, откуда и зачем прибыл в столицу?

Будучи гораздо прежде научен Королем, как поступать в подобных случаях, я отвечал непринужденно:

– Имя мое Неон, по прозванию Хлопотинский, по месту рождения принадлежу я Переяславскому пол-

ку. Отец мой был шляхтич и умер в походе противу татар, матери также я лишился; а приехал в Батурин посвятить себя на службу отечеству и желал бы определиться в полк гетманский.

Получа сей ответ и расспрося о месте моего жительства, незнакомый удалился, и мы возвратились домой.

На другой день все принялись за работу. Неонилла, отобрав платье своей матери, атласные, бархатные и парчовые, нашла, что они, несмотря на ее беременность, гораздо шире; почему и начала переделку по своим девическим платьям. Сидя подле нее, я читал вслух патерик, Минеи-Четьи и другие церковные книги, ибо достать светских на польском языке нельзя было иначе, как покупкою на ярмарках, бывающих в Батурине два раза в году, по зиме и по лету. Король большею частию находился в саду, где помогал Ермилу и Мукону собирать остатки плодов и овощей и учил обоих, как сохранить оные без вреда до новых. Так прошло время в продолжение всей недели, и в воскресный день я и Неонилла в сопровождении по-прежнему Ермила и Мукона отправились в церковь. По совету Короля я и жена моя оделись гораздо простее противу прежнего. Гетман также был во храме в одеянии, мало чем отличающем его от высоких сановников. Он заметил меня и, возвращаясь из

церкви, сказал мимоходом одному из сопутствовавших войсковых старшин: «Представь ко мне сего молодого человека во дворце». Мгновенно четыре телохранителя окружили меня, и я – едва успел сказать Неонилле: «Ступай домой и жди меня» – должен был идти с ними по следам гетмана.

Вошед во дворец, я могу сказать, что не был ослеплен великолепием оногo. Блеск и богатство, всюду мною виденные, были так велики, что я сейчас решил-ся ни на что не обращать особенного внимания и тем предохранить себя от неизбежного замешательства и насмешек.

Гетман с приближеннейшими своими удалился во внутренние покои, а я остался в огромной комнате, где мно^{го}жество знатных людей, малороссиян, черноморцев и поляков, в блестящих одеждах, взад и вперед разгуливали. Иные были веселы и мололи всякий вздор; другие задумчивы и неохотно отвечали на делаемые вопросы; третьи попарно, или по три и по четыре человека, отошед в угол, шептались между собою; четвертые – казавшиеся совсем без нрава и занятия – похаживали важно по комнате, смотрелись в зеркала, закручивали усы, полуобнажали сабли и явно всем рассказывали, каких трудов стоило им изучение искусства биться на поединках, зато и сделались они совершенными наездниками. Между тем

придворные служители набрали большой стол и устали оный водками, винами и разными кушаньями, каких прежде я и не видывал. Все многолюдство обратилось к сему привлекательному предмету, – да, правду сказать, и время такое было. Один я, не смея даже шевельнуться, и подавно не осмеливался приблизиться к цели общего обождения, а стоял у окна, как на горячих углях. Вдруг входит странный человек, который привлек все мое внимание. Летами казался он немного моложе гетмана. Росту был несколько ниже малого, но зато плотен, даже толстоват и одет великолепно. Верхнее платье его было бархатное; правая сторона красного цвета и вышита золотом; левая – синяя, вышитая серебром. Сапог на правой ноге был черный с преогромною серебряною шпорою, на левой – красный с такою же золотою; парчовый пояс унизан был жемчугом и камнями. Едва показался он в комнату, как со всех сторон поднялся вопль: «Куфий, Куфий! милости просим!» Куфий поворачивался на все стороны, подавал с благосклонным видом руки свои то тому, то другому и, дошед в таком торжестве до стола, опорожнил золотой кубок водки. После сего, разгляда ужасные усы, висевшие на целую четверть ниже челюстей, сказал:

– Что слышно нового?

– Кому лучше и скорее знать всякую новость, как не

тебе, Куфий? – отвечали знатнейшие из присутствующих.

– То-то и диво, – говорил Куфий, – что я сегодня в немилости. Когда проснулся, то гетман был уже в церкви, а теперь он так пасмурен и дик, что, лишь только я показался, сейчас приказано выйти и без особенного позволения к нему не являться.

– Вот подлинно новости! – вскричали многие. – Бедный Куфий!

– Нет, – отвечал сей, – Куфий не так-то беден, как вы думаете!

Берегитесь, чтоб кому-нибудь из вас не быть в накладе!

– С кем теперь гетман?

– С одним Еварестом, полковником стародубовским. Но кто этот молодой казак, у окна стоящий? Как он зашел сюда? Для чего не пригласите вы и его к завтраку?

– Это, – сказал пожилой польский сановник, – по-видимому, какой-нибудь малороссийский шляхтич, который приехал ко двору предложить посильные услуги, лишь бы его одели, дали клячу и – кусок черного хлеба.

– Все не мешает, пан Казимир, – сказал Куфий. – Пусть он и нищий дворянин; но как скоро господь бог сподобил его взобраться в чертоги своего гетмана, то

не должен выйти из них с засохшим горлом и пустым желудком. Ах! сколько наш старый простак Никодим питает польской саранчи, которая за его же хлеб-соль над ним издевается и строит козни!

С сими словами он налил золотой кубок какого-то напитка, подошел ко мне и сказал:

– Будь веселее, молодец; ты в доме честного старика Никодима. Выпей и ступай к столу. Не смотри, пожалуй, на этих польских хвастунов и подражателей их, безмозглых земляков наших.

Едва я протянул руку, чтоб взять кубок, как быстро вошел Еварест – имя его узнал я вскоре – и, приблизясь ко мне, спросил:

– Ты тот молодой человек, которому гетман велел следовать за собою?

– Я!

– Ступай за мною!

Следуя за сим проводником, я успел заметить, что толпа знатных собеседников находилась в крайнем изумлении. Полные чарки, быв поднесены ко ртам, остановились в руках, и, по установлении снаряда сего опять на подносы, каждый шептал своему соседу во услышание всех: «Возможно ли? Кто этот молодой шляхтич?» В третьей уже комнате Куфий нагнал меня, обнял и сказал весело:

– Добрый знак! Пойдем вместе. Где допускается

приезжий, там искренний друг и подавно не лишний!

Глава II

Есаул

Прошед длинный ряд комнат, одна другой страннее, одна другой великолепнее, вступили мы в небольшой покой, в коем находился гетман. Я стал в отдалении и в безмолвии ожидал повелений. Куфий подошел к нему и с соучастием сказал:

— Ты мне кажешься, Никодим, с недавнего времени или не совсем здоров, или сердит. Неужели затеи поляков тебя беспокоят? Плюнь на этих бестолковых и более надейся на свое храброе, верное войско. Боюсь, что если до чего дойдет, то я сам, вот этою рукою, не одному поляку намну чуб и растреплю усы. Жаль только, что русский царь позамедлил; зима на дворе, а зимою хорошо только сидеть в теплой хате и пить наливки или заморские вина.

Гетман, осмотрев меня внимательно, дал знак, и я предстал к нему твердыми шагами.

— Имя твое, молодой человек?
— Неон, по прозванию Хлопотинский.
— Имя отца твоего и матери?
— Отца моего звали Ипполитом. Он урожденный шляхтич Переяславского полка. Находясь в последнем походе против крымских татар, он умер от ран;

мать моя, Анфиза, получаю о нем сведение, последовала за ним во гроб.

Оставшись сиротою, я продал наследственное имение и, слыша, что ты готовишься к войне, явился в Батурин, чтобы умножить собою число храбрых сподвижников за свободу и честь отечества.

— Не правда ли, Еварест, — спросил гетман после некоторого молчания, — не правда ли, что сей молодой человек имеет чрезвычайно сходные черты в лице с двумя известными тебе особами? С первого взгляда я поражен был сим необыкновенным сходством и покушался думать, что он сын их; но теперь вижу, что обманулся. Как многообразна природа в своих изменениях! Итак, ты, Хлопотинский, желаешь служить под знаменами Малороссии противу ее утеснителей? Хорошо! Наружность твоя мне нравится, ибо она обещает мужество души и крепость тела. Я принимаю тебя в число ратников полка моего. Завтра поутру явись к полковнику Еваресту, яко главному твоему начальнику, и он прикажет дать тебе приличную одежду и вооружение.

После сего он кивнул головою, я сделал почтительный поклон и намеревался выйти; но Куфий, подскочив ко мне с веселым видом и схватив за руку, сказал:

— Пойдем вместе; наш завтрак пропадать не должен!

Он повел меня обратною дорогою, и когда достигли мы прежней комнаты пиршествующих, то Куфий вскричал:

– Посторонитесь все! Никодим поручил мне попотчевать сего молодого шляхтича, яко нового своего телохранителя, и не будь я Куфий, если он в скором времени не выскочит в люди!

Прочие собеседники, предполагая ласковый прием гетманский, о чем безошибочно заключали из ласк и приветливости нелицемерного Куфия, стали обходиться со мною вежливее, чем за полчаса дотоле; однако еда и питье не шли мне на ум: я нетерпеливо желал рассказать Неонилле и Королю о следствиях свидания моего с гетманом, простился с добрым Куфием и бросился к жилищу Ермилову.

Всякий догадается, с каким нетерпением дожидались меня милая жена и добрый друг!

– Ну, Неон, – сказал последний, выслушав рассказ о моем приеме у гетмана, – теперь уже от тебя зависеть будет идти ко храму счастья проложенною дорогою; помни мои наставления, тебе деланные и какие впредь сделаю. Сколько приметно, то наступающая зима пройдет в мире. В течение сего времени приготовь себя исподоволь ко всем неприятностям, какие неминуемо встретят воина на полях брани.

На другой день рано поутру, когда Неонилла поко-

илась еще сном безмятежным, я оделся и быстро пошел ко двору гетмана. Мне нетрудно было найти жилище полковника Евареста, жившего во дворце, и как скоро объявил свое имя, то стоявший у дверей часовой велел мне войти в ближнюю комнату, переодеться в приготовленное платье и вооружиться. Я исполнил по сему приказанию, надел синюю куртку, такие же шаровары и черкеску красного цвета, препоясался саблею и в руки взял копье. Когда я был готов, то вошедший есаул (о звании его я сейчас догадался по наставлению Диомида) велел мне следовать за собою. Мы прошли обширным задним двором и очутились на просторном лугу, где увидел я более тысячи подобных мне рыцарей, гордо сидевших на конях и оказывающих удаливость свое различным образом. Мне также подвели коня; я сел и начал, подобно другим, кружиться, скакать, обращаться назад и опять скакать с быстротою ветра. В сем занятии провели мы часа два, и громкий звук трубы раздался по лугу. Мы построились все в ряды, и полковник Еварест, в сопровождении сотников и есаулов, явился перед нами.

Он проехал насквозь ряды и движением сабли разделил на шесть частей, означив каждой время должности. После сего мы спешили, и я со многими другими поведен ко дворцу. Некоторые из моих товарищей расставлены у разных входов на дворе, другие

– у наружных ворот в сад, а я введен во внутренние покои. Уставя меня у дверей великолепной комнаты, провожающий нас сотник сказал:

– Должность твоя, Хлопотинский, состоит: в эту комнату, непосредственно ведущую во внутренние покои гетмана, не пропускать никого, кто не покажет на бумаге слепок сей печати, висящей у дверей на золотом снурке. Из сего исключаются только полковник Еварест, Куфий и дневальные: войсковой старшина, сотник и есаул, которых безошибочно узнать можешь по золотым поясам. Здесь пробудешь ты четыре часа; после чего я сменю тебя другим, и ты пойдешь куда хочешь. Завтра, едва лишь рассветет, являйся опять на гетманский луг и жди новых приказаний. Вот вся твоя должность, пока гетман или Еварест не возложат особенной.

Я провел у сих дверей объявленные мне четыре часа, то стоя на месте, то сидя, то похаживая взад и вперед. Многие важные чиновники как малороссийские, так и польские проходили заповедные двери, показав нужные отпечатки, которые давали им на то право. Пред окончанием моих служебных часов Куфий появился, узнал меня, весело подошел и сказал:

– Здравствуй, Хлопотинский! Приятна ли показалась твоя должность?

– Как скоро мое занятие составляет должность, –

отвечал я, – то оно не должно быть скучно или тягостно.

– Браво! – вскричал Куфий, – за такой ответ ты достоин быть поскорее есаулом! Ах, как мне хочется дожидаться весны, когда начнут резаться храбрые люди. Что касается до меня, то я – несмотря, что слышу недалёким человеком, – считаю себя умнее многих тысяч так называемых умников. Я люблю смотреть на сражения издали. Если наших поколотили, я по крайней мере остаюсь цел; если же мы возьмем верх, то первый явлюсь на торжественных пиршествах и наемся и напьюсь исправнее тех, которые вышли из сражения кто без руки, кто без ноги, кто без глаза, без носу, с оторванными усами и взъерошенными чубами.

В самую сию минуту явился гетман. Я распрямился как стрела и приклонил к ногам его копье свое. Он взглянул на меня благосклонно и, обратясь к моему собеседнику, сказал:

– Куфий! если у нас дойдет до войны с кем-либо из соседей, то мне советуют вверить тебе целый полк, доказывая, что ты – храбрец первостатейный.

– Если советники твоего высокоочия, – отвечал Куфий, – полагают храбрость с жареными индейками, курами и зайцами, то они правы, и я на сем поприще не уступлю и Александру Македонскому; если же в драке с чужеземными забияками, то они солгали, и ты

будешь очень прост, если им поверишь.

Нередко приходило мне на ум осмотреть всего себя внимательно, и, воспламеняясь жаром воинственным, я спрашивал: «Скажи, любезный друг Куфий, которого из членов, данных тебе природою, охотнее согласишься лишиться на сражении?» После сего щекотал у себя ребра, дергал за волосы, щипал ляжки, кусал на руках пальцы и чувствовал, что везде больно. Будучи нарочито не глуп, я тотчас смекнул, что милосердый бог создал меня человеком во всем совершенным не для того, чтобы я, по дерзости и безрассудству, делался калекою и оборотнем.

Гетман улыбнулся и, уходя, сказал:

— Куда как много было бы хорошего, если б все так думали, как ты!

— Гораздо более было бы добра, — вскричал вслед ему Куфий, — если б на земле не было других жителей, кроме хомяков, кротов, зайцев и других им подобных, нежели когда бы населена была одними волками и медведями.

Урочные часы мои прошли; я сменен и, увязав домашнее платье в узел, пошел домой. Как был я весел, как легок и свободен. Из сего заключил я, что точное исполнение обязанностей, возлагаемых на нас отечеством и нами признанных справедливыми, есть великое утешение во всех обстоятельствах жиз-

ни. Неонилла и Король встретили меня с отверстыми объятиями, и все семейство Ермилово приносило нелицемерные поздравления о счастливом начале моего служения.

Как сей день, так – или почти так – прошли пять месяцев. Мне случалось отправлять службу то у самой опочивальни гетмана, то у его конюшен, у сада, под открытым небом, и я, несмотря на трескучие морозы, на бури, вьюги и всякого рода непогоды, никогда не терял своей бодрости. Когда руки и ноги от холода костенели, я говорил: «Потерпи, Неон! Неонилла отогреет тебя в своих объятиях!» Сия мысль влияла теплоту в кровь мою; я напевал духовные песни, и неприятные часы неприметно пролетали.

Во второй день февраля, в праздник сретения, лишь только появился я на сборном лугу, как дневальный сотник приказал идти за ним. Я вошел в приемную палату, и о сем доложено дневальному старшине, который по порядку пошел уведомить полковника Евареста.

– Зачем меня сюда призвали? – спросил я у сотника.

– А какая мне и тебе до сего нужда? – отвечал он, – про это знает старший.

Не прежде как через час меня представили гетману.

– Хлопотинский! – сказал он милостиво, – я служу-

бою твоею доволен и хочу наградить. Поздравляю тебя есаулом в полку моего имени.

Я пал пред ним на колени и с безмолвным умилением облобызал десницу старца.

– Встань, есаул! – говорил он, – если ты и впредь с таким же старанием, ревностью и терпением будешь проходить военное поприще, то без воздаяния не останешься. Поверь мне, что в молодые лета и я немало вытерпел, пока отечество поручило в распоряжение мое судьбу свою. И я перенес много горя, пока препоясался мечом гетманским и взял в руку булаву повелительства.

Ступай к новой своей должности.

Едва дошел я до прежней палаты, как приведший меня сотник взял за руку, поздравил с милостию и ввел в особую комнату, где я переоделся в другое платье, соответственное новому званию. Оно было точно такое же, как и прежнее, но сукно гораздо тонее, и черкеска по краям выложена золотым галуном, а за спиной висели две такие же кисти. Копье не принадлежало уже к моему вооружению.

– Сегодня, – продолжал сотник, – со вверенными пятьюдесятью всадниками будешь провожать гетмана до соборной церкви. Для услуг тебе назначен конный казак, который навсегда при лице твоём и останется, пока будешь сам на службе.

Я взлетел на хребет коня своего, коего убор нарядностию отличался от убора коней всадников низшей степени. Когда звук колоколов раздался по стогнам батуринским, гетман, имея по левую руку стародубовского полковника, сопровождаемый множеством войсковых старшин и сотников, сошел с крыльца и сел на коня. Я, последуемый моею дружиною, поехал за ним сколько можно чиннее. Мне казалось, что взоры встречавшегося народа устремлены были не на великого гетмана Никодима, а на нового есаула Неона. «О родители мои! — думал я, — если бы видели теперь своего сына, то вам не для чего было бы стыдиться!»

Подъехав ко храму, мы спешили и торжественно вошли во внутренность.

Тщетно оборачивался я на все стороны, чтобы увидеть Неониллу, или Короля, или Ермила, или по крайней мере кого-нибудь из его семейства; никого не было. Тут спесь моя исчезла, а вместо оной тоска стеснила мое сердце. Я не предвидел причины, для чего бы набожная жена моя могла пропустить такой великий праздник, не отслушав обедни, а особливо в ее положении, которое день ото дня становилось затруднительнее. Более всего тревожило меня то, что я не видал ее с самого вечера, ибо Неонилла, будучи еще так неопытна в настоящем состоянии своего здоровья, с нескольких недель уже ночевала одна в своей

спальне, имея в той же комнате или Глафиру, или Анну, спавших на полу возле кровати; а я с Королем опочивали в небольшом теплом чулане, примыкавшем к кухне, куда друг наш переместился из сада при наступлении глубокой осени.

По окончании священнодействия я проводил гетмана до дворца, а там и до приемной палаты; когда же он удалился во внутренние покои и посетители, по обыкновению, окружили стол с завтраком, я, несмотря на все приглашения приятеля Куфия, выбежал вон, бросился на коня и, подобно стреле, пущенной рукою сильного наездника, в сопровождении приставленного ко мне казака пустился к своему пристанищу.

Глава III

Новое торжество

Надобно думать, что Король видел меня в окно; ибо, едва только вступил я в сени, как он меня встретил и поздравил с повышением.

— Это очень хорошо, — говорил он, — но в жилище нашем найдешь ты нового гостя, прибытию коего не меньше рад будешь, как и новому чину.

— Кто же такой? — спросил я, вступив в светелку и стирая снежную пыль с усов и чуба. — Неужели Мемнон с Евлалией и Мелитиной? Правда, я очень люблю сие почтенное семейство; но желал бы, чтоб посещение оного было сделано гораздо позже, именно, когда Мелитине сыщут достойного жениха и выдадут замуж.

В самую ту минуту боковая дверь отворилась, и Глафира вошла к нам, держа на руках спеленного младенца.

— Неон, — сказал Король, — вот гость, который задержал дома Неониллу.

Обойми своего сына!

Я обомлел от радости, поцеловал со слезами дитя, благословил его и бросился к Неонилле. Взоры ее были томны, щеки бледны; но никогда милее, никогда

драгоценнее она мне не казалась. При воззрении на меня она протянула слабую руку, которую в безмолвии осыпал я поцелуями.

— Неонилла! — вскричал я с восторгом. — Ах! сколько счастливым ты меня делаешь! Да будет над тобою всегдашнее божие благословение.

— Друг мой! — сказала она тихо, — чтоб в полной мере чувствовать радость, нам необходимо нужно иметь и родительское благословение. В те минуты, когда я давала бытие новому жителю мира и не уверена была в своей собственной жизни, весьма чувствовала истину слов, сказанных в Святом писании: благословение отца и матери строит детям дома, а их клятва разрушает оные. Как скоро даст бог мне оправиться, мы оба пошлем в Переяславль к отцу моему повинную и с покорностию будем умолять о прощении.

— Все это сделаем, — сказал я, — но в свое время; теперь будь покойна и не тревожь себя мрачными мыслями.

Священник прибыл, и по моему настоятельному требованию дитя названо Мелитоном.

— Пусть по крайней мере, — говорил я Королю, — это имя припоминает мне всю красоту, любезность и невинность, кои некогда прельщали меня в виде девицы, которую и теперь еще люблю со всею нежностью брата.

На другой день усердный денщик мой, Сисой, раз двадцать должен был напоминать, что пора ехать во дворец. С неописанным чувством сожаления расстался я с Неониллою и сыном; да и то Король принужден был вывести меня из спальни за руку. Дорогою ехал я шагом, и должность моя в первый раз показалась тягостною. Вступив в приемную палату, я не сделался веселее.

Посетителей время от времени набиралось более и более; они шутили, рассказывали забавные происшествия, накануне в столице случившиеся; но меня ничто не трогало; мне беспрестанно мечталась Неонилла, держащая у груди маленького Мелитона. Хотя я знал и был уверен от Глафиры и Анны, что как мать, так и дитя вне всякой опасности, однако же вздыхал и беспрестанно погружался в задумчивость. Около полудня я разбужен был от такового усыпления легким ударом по плечу; осматриваюсь — и вижу Куфия, кивающего головою с видом удивления.

— Что это значит, пан есаул, — сказал он со смешною важностию, — что на другой день после производства ты так расстроен, как будто обошли тебя!

Более двадцати лет верчусь я во дворце гетмана, а такого дива не видывал!

— Друг мой! — отвечал я со вздохом, — иногда человек невольным образом кажет вид печальный, когда

можно бы и усмехнуться. – Тут рассказал я о домашних обстоятельствах.

– Ба, ба! – вскричал Куфий, – зачем же давно о сем меня не уведомил? Я знаю Никодима, как самого себя. Хотя он любит строгий порядок в службе, но никогда не забывает человечества. Остайся здесь и жди меня.

Около часа я пробыл в неизвестности, что Куфий собирался для меня сделать. Наконец появился он, таща за руки полковника Евареста и дворцового казначея Уврикия, которые не могли довольно насмеяться его суетливости.

– Чему смеетесь вы, пустоголовые? – говорил он. – Если б кто сказал: «Уврикий! ангел-истребитель посетил кладовые, смотрению твоему вверенные, и половины гетманских сокровищ не стало!» А тебе: «Еварест! ангел-хранитель ниспослал благодать на дом твой: все твои кобылы родили жеребенков из чистого золота с жемчужным прибором!» Что бы вы сделали? Не каждый ли из вас сломя голову бросился бы один в подвалы, а другой в конюшни? То-то же, бестолковые!

Когда сии сановники подведены были ко мне, то Еварест, приняв степенный вид, сказал:

– Неон! Великий гетман по случаю рождения у тебя сына оказывает новые знаки особенного благоволения: он желает быть восприемником новорожден-

ного и приказывает мне совершить его именем святой обряд сей; на память же таковой милости увольняет тебя на три дни от должности и дарит жене твоей два куска парчи, а тебе двести злотых. Ступай теперь за Уврикием и возьми подарки. Завтра, во время вечереи, присылай в соборную церковь сына, а я, по окончании обряда, буду в твое жилище. О приискании кумы не беспокойся; я привезу с собою сестру свою Асклиаду.

С сими словами он пошел назад в покои гетмана, а я – пораженный такою неожиданною милостию властелина – поплелся за Уврикием в его кладовые. Он выбрал два куска прекрасной парчи, один золотой, другой серебряный, испещренных цветами, каких лучше и блистательнее в самой природе едва ли сыскать можно, и, вручив мне оные вместе с двумястами злотых, расстался.

Отведши Куфия на сторону, я просил его принять половину подаренных мне денег. Он отскочил на три шага и, помолчав несколько, сказал полусердито:

– Ты должен быть не очень разумен, когда в целые почти полгода так мало узнал Куфия! Не верь, когда говорят тебе, что веселые люди, забавляющие знаменитых особ в часы скучные, от которых и они не могут укрыться, ничего доброго даром не делают. На все есть своя уловка. Если бы Еварест за какую-ни-

будь услугу, мною ему оказанную, предложил пятьсот злотых, я сказал бы ему в глаза: «Бесстыдный скряга! этого очень мало!» Но от Неона Хлопотинского, который только что начинает подниматься на ноги, взять сто злотых, может быть половину всего имущества, для Куфия кажется слишком много. Ступай с богом к своей жене и не трать по-пустому данных тебе трех дней на веселье; а если на четвертый служба ничего не потерпит, то ты преисправный малый, какого только желать надобно. На крестинном пиру и я побываю.

С каким восторгом скакал я к Неонилле; мой казак Сисой едва издали мог за мною следовать. Хотя жена моя в нарядах, а я в деньгах не имели никакой надобности, но мысль, что везу с собою знаки особенной милости повелителя, давала мне новую бодрость, новые силы. Если бы в то время кто-нибудь сказал: великий гетман Никодим хочет, чтобы ты, Неон, с высокого утеса бросился в пропасть, думаю, что ни одною минутою не замедлил бы исполнением. Так-то оковы-вает сердца наши благодарность за благодеяния.

Я предложил Неонилле подарки и Королю объявил о всем бывшем.

— Это очень хорошо, — сказал Диомид после некоторого молчания, — но мне очень досадно, что не могу быть с тобою в такой радостный день!

— Как! — вскричал я, — мой друг, мой вернейший друг

не будет участвовать в таком торжестве, которое возрождает меня в другом виде? Нет, Диомид! я не выпущу тебя из своих объятий, и ты непременно будешь на крестинах.

– Неон! – сказал Король, – конечно, чтобы не показаться странным, я обязан сказать причину моего поступка. Знай же: Еварест – второй друг мой после Мемнона, а сестра его Асклиада была некогда моею невестою. Связь моя с отцом твоим лишила меня имени и жены, ибо вскоре после моего изгнания из Батурина Асклиада вышла за Марсалия и теперь мать многих возрастных детей.

Во всем Батурине, кроме Евареста, Куфия и Ермила с семейством, никто не знает о моем здесь пребывании, и если Еварест объявил тебе, что сестра его будет кумою, то сим самым потаенно давал мне знать, чтобы я на ту пору, как она будет в сем доме, скрылся. Как Асклиаде не узнать Диомида, а она ничего не должна знать о сем. Да, Неон! если гетман так скоро обратил на тебя милостивое внимание и отличил от прочих, хотя – согласишься сам – ты не имел еще ни времени, ни случая порядком отличить себя, то сим обязан ты стараниям Евареста и Куфия, которые знают твоих родителей и всячески пекутся помирить их с гнетущею судьбою. Ты понимаешь, что обнаруживать сего перед ними отнюдь не надобно, а должно про-

должать обращение по-прежнему, как с посторонними людьми. Ты не смотри, что Куфий нарядил себя в шу-та: это сделано в угодность гетмана, которому хоте-лось – в самом начале его господства – иметь челове-ка, который бы, не навлекая на себя злобы и мщения, мог всенародно пристыдить знатного бездельника и оправдать невинного несчастливца; а до того време-ни Куфий служил в полку телохранителей сотником и отличал себя острою ума и добросердечием. Один гетман и его приближенные сановники настоящим об-разом понимают Куфия; все же прочие считают са-мым злобным шутком и боятся его, как огня, наводне-ния и язвы.

На другой день, едва раздался звон вечернего ко-локола, в жилище наше прискакал есаул с нескольки-ми казаками объявить, что Еварест и Асклиада отпра-вились уже в соборную церковь. У нас все было гото-во; бричка подвезена, и укутанный малютка на руках Глафиры отправился во храм, а я с целым домом на-чал приготавливаться к приему гостей. Когда все прихо-дило к концу, то и не заметили, как Диомид скрылся. Сколько остававшаяся при жене моей Анна его ни ис-кала, но тщетно. Наконец Еварест, в сопровождении множества гетманских телохранителей, показался, за ним следовала Асклиада.

Я встретил их с надлежащим почтением и дружески

обнял Куфия, который, прыгая пред Глафирию, несшею нового христианина, вскочил в светелку. Весь вечер до самой ночи проведен очень весело. Еварест, при всей важности, был ласков и вежлив. Смотря на его открытый вид, его благосклонные слова ко всякому, даже к Ермилу и жене его, я говорил сам себе: «Кто подумает, что это старший полковник во всей Малороссии и по кончине Никодима, вероятно, провозглашен будет великим гетманом? Не скромнее ли он, не приветливее ли, чем самый скромный и приветливый консул в переяславской бурсе? Чудное дело политика, которой учили меня в семинарии, и я ничему не научился».

К полуночи все гости разъехались, и почти в ту же минуту явился Король. Домашнее веселие началось снова, но ненадолго, и когда мы отправлялись в свою опочивальню, то товарищ сказал:

— Неон! ты уволен от должности на три дни, докажи, что умеешь беречь время, и завтра явись во дворец.

Я дал слово — и сдержал его. Еварест при многочисленном собрании похвалил меня за такую ревность, а Куфий, вертясь на одной ноге, провозгласил:

— Божусь, что на его месте другой, а особливо воспитывавшийся в Варшаве, утянул бы четвертый день и нашел чем отговориться.

По прошествии нескольких дней Неонилла на-

столько оправилась, что могла уже участвовать в наших беседах. Взоры ее стали проясняться, и румянец поалил щеки. По ее замечанию мы обязаны были о настоящих своих [делах]^[23] уведомить Истукария и Мемнона, первого как отца, а второго как друга, принимающего в судьбе нашей истинное участие. Вследствие сего нанят был надежный казак, который и отправился с нашими посланиями, моим – к Истукарию, а Королевым – к Мемнону. Я не преминул извиниться пред тестем, сколько можно учтивее, называл его высокопочтенным мужем, жену его милосердою госпожою, а сына их молодцом милым, храбрым, разумным. Говоря о благосклонности ко мне властелина, я не преминул употребить самых звонких выражений, а надежду на будущее представить в самом блестящем виде.

Неонилла приготовила особое письмо, в коем также, не унижаясь, впрочем, ни на вершок, оправдывалась в своевольном поступке, просила прощения и возврата родительской любви. Она заключила следующим замечанием: «В шестнадцать лет я не понимала сама себя и по воле вашей, родители! отдала руку ненавистному Памфамиру. Каждый день, живучи в его доме и слывя женою, не будучи таковою ни на одну минуту, я проклинала жизнь свою, ибо она исполнена была страданий. И самый маленький червяк копо-

шится и хлопочет, если встретит притеснение. На девятнадцатом году я стала несравненно умнее; сердце мое само собою отдалось предмету любви его. Вы хотели, родители, соединить меня опять с бездушным и бестелесным Варипсавом, но Неонилла была уже не шестнадцати лет. Со слезами прошу у вас прощения и надеюсь получить его. Если же сердца ваши отвердели подобно камням, то я и тут унывать не буду: под сению любви, дружбы, душевного спокойствия невинных радостей я надеюсь быть счастливою! Каков бы ответ ваш ни был, любезные родители, я всегда благословляю память вашу и молю бога о вашем здравии и смягчении сердец, если они в самом деле окамене-ли».

Ровно через месяц, в семнадцатый день марта, посол наш возвратился и привез целый узел писем и посылок. Евлалия, жена Мемнонова, при особом письме прислала небольшой образ в золотом окладе, осыпанный дорогими камнями, несколько ниток жемчугу и мешок с золотыми деньгами. Такая щедрость заставила нас удивляться и в безмолвии благодарить бога, даровавшего таковых благодетелей. Мемнон писал к Королю, и хотя в словах его проскакивала тень какого-то неудовольствия насчет скоропостижной моей женитьбы, однако оно растворяемо было кротостию и любовью. «В отношении любви, — писал он,

между прочим, – никто не избежит судьбы своей, никто не должен говорить: я поступил бы иначе, гораздо умнее, расчетистее. Где расчет, там нет и тени любви. Весь ум Неониллы да заключится в том, чтоб заставить мужа любить себя постоянно. Когда сего достигнет, то оба счастливы, и на сем да оснуется общий расчет их».

Вельможный пан Истукарий не столько был сговорчив. Он удостоил нас следующей грамотою: «Беспутные! ты, бурсак Неон, и ты, беглянка Неонилла. Вы осмеливаетесь называться детьми моими. Но, кроме Епафраса, я детей не имею. Была у меня и дочь, но она погибла невозвратно. Кто передо мною произносит ваши гнусные имена – если он чужой, я нечестно выгоняю из дома; а если свой, то даю ему добрую пощечину. Вперед ко мне не пишите, я и без того найду вас, и тогда – Неонилла в монастыре оплакивать будет свое безумие, а бурсак поплатится и дороже».

Глава IV

Поражение

В продолжение зимы гонцы царя русского беспрестанно приезжали в Батурин с уведомлением, что вспомогательное воинство готово немедленно отправиться в путь. Настала весна; леса опушились зелеными листьями; ледяные оковы растаяли; вся Малороссия возмутилась. Полковники со своими полками разбили шатры на полях батуринских, полчища охотников к ним примыкались; гетман ожидал только появления московитян, чтобы со своим полком двинуться из стен столицы и, совокупя все силы, идти по дороге к Киеву.

Между тем один из евреев, посланный примечать за всеми движениями поляков, возвестил, что киевский воевода, исполняя повеления двора варшавского, собрал небольшое ополчение и выступил с ним в поле, ожидая значительной помощи. Никодим, получив о сем сведение, вострепнулся; жар юности озарил румянцем его ланиты; он препоясался мечом и, окруженный сонмом избранного воинства, выступил в поле. При сем случае я пожалован в сотники на место одного поляка, который наряду со всеми одноземцами своими взят под стражу. Гетман объявил всенарод-

но, что начальство и угнетение со стороны Польши поставили его в необходимость искать защиты у царя православного, что помощь сия готова и скоро появится, а между тем и одних собственных сил достаточно, чтобы напору буйных врагов поставить преграду.

Я не буду описывать слез, пролитых мною и Неониллою при расставанье.

Мы оба очень чувствовали, что ими хода дел не переменим. Я вырвался из ее объятий, благословил сына и — со вверенною мне сотнею примкнулся к полку гетманскому, предводимому самим повелителем и составлявшему средину воинства. Над правым крылом начальствовал Еварест, а над левым — Полтавского полка полковник Каллистрат. Король, окруженный дружиною собранных им охотников, следовал за гетманом. Звук труб, ржание коней, говор воинства и резкий стук оружия наполняли воздух. Необыкновенное волнение крови произвело в груди моей трепетание сердца. Я горел нетерпеливостью сразиться, но непонятная робость, ненадежность на свои силы повергали меня в уныние; однако ж один взор Короля возвращал душе моей прежнюю бодрость: я чувствовал себя богатырем, досадовал, что не встречаю неприятеля, и молил бога представить его поскорее.

Молитва моя услышана. Немного за полдень тре-

тьего дня, когда и людям и лошадям нужно было отдохновение, мы получили приказ остановиться в тени густого леса, в виду нашем синевшегося. Увы! проклятый сын Евера^{24}, по рассказам коего мы действовали, жестоко обманул нас. По уведомлению сего жидда, употребленного, как сказано выше, шпионом, не прежде думали встретить неприятеля, как на пятый или шестой день похода; а вместо того, едва только остановились, как туча ядер и пуль на нас обрушилась. Мы все оторопели и совершенно не знали, что делать, ибо, кроме деревьев и кустов, ничего не видали перед собою; люди падали, беспорядок умножался. Гетман дал приказание отступить и построиться; но едва мы обратились к лесу тылом, как неприятельская конница, подобно ужасной волне, показалась из лесу и на нас устремилась. Мы опять начали обращаться, дабы сколько-нибудь защитить себя.

Побоище сделалось ужасное, но неровное. Ряды наши расстроились; один сражался, как лев, а двое бежали, как зайцы; гетманское знамя пало на землю и скоро развеялось в руках неприятельских. Король поражал, как стрела молнии; но что значит один орел противу огромной стаи ястребов? Конь под ним убит, и он опрокинут на груду пораженных. Я получил в левую руку рану от ружейной пули, и саблюю рассекли мне лоб. Льющаяся кровь заслепила глаза; я оборо-

тил коня и дал ему свободу скакать по его усмотрению. Целое поле усеяно было беглецами.

Верстах в пяти от сего пагубного места рассеянные толпы начали собираться. Еварест, подобно уязвленному вепрю, метался во все стороны и соединял в одно место рассеянных сподвижников. Время от времени толпа наша увеличивалась, ибо сей полковник послал во все концы небольшие отряды, которые должны были приводить к нам шатавшихся по полям и лугам и скрывавшихся в буераках. К величайшему моему удивлению и радости, вскоре после солнечного заката явился Король, которого считали погибшим. Он был ранен в щеку и грудь, однако казался бодрым, как будто после одержанной победы.

— Итак, — сказал он, обняв меня и Евареста, — первая попытка наша неудачна! Сами виноваты! Как можно, положась на слова одного изменника, жертвовать тысячами? Надобно поправить ошибку, хотя и трудно!

Вдруг ужасная весть погрузила всех в отчаяние. Достоверно узнано, что гетман не избежал плена; верный Куфий, не отстававший от своего повелителя в самом пылу сражения, пропал без вести. Все смотрели друг на друга помертвелыми глазами. Ночь настала, и никто не придумал, что начать, на что решиться. Мы походили на неоперенных птенцов, у коих мать хитрым охотником поймана в сети.

Среди сего беспорядка, тревоги, горести и уныния Король не лишился присутствия духа.

– Если дурного дела не постараемся исправить, – говорил он к собравшимся полковникам, войсковым старшинам, сотникам и есаулам, – то оно скоро и неминуемо обратится в дело гибельное. Пока жив гетман, то он еще не потерян; однако, пока он лишен власти, да примет Еварест начальство над войском! Рассуждать много там, где надобно действовать, есть глупость, и мы постараемся от оной остеречься.

Еварест тут же провозглашен военачальником, и войско несколько оживилось; огни разведены во многих местах, и все начали осматривать один у другого раны и врачевать их по усмотрению. По совету Короля посланы вокруг нашего становища верст за пять вооруженные отряды, дабы к утру припасти достаточно пищи для войска и представить всех возрастных жидов, каких только встретить могут. Нужное число стражи расставлено со всех сторон для неусыпного наблюдения. Вожди и войско разлеглись на долине. Король, опускаясь на траву, сказал мне:

– Не робей, Неон! бог все устроит к лучшему! Я видел, как ты сражался, и не мог не похвалить. Хотя чуб твой, правда, стоял дыбом, так что и шапка свалилась, но это ничего; в другой раз ты не пошевелишь и усом, занося саблю на неприятеля и видя льющую-

ся кровь свою.

Всякий поверит, что сон наш был не что иное, как беспокойная дремота, каждую минуту прерываемая ужасным представлением настоящего положения. Едва показалась на небосклоне заря утренняя, мы все были на ногах, и долина, избранная нами для отдыха, подобила купели Силуамской^{25}, куда собирались калеки всякого рода в ожидании возмущения воды. К удивлению заметил я, что собравшиеся в сие убежище большею частию были раненые, из чего заключил, что те, у коих после сражения все члены остались в целости, заблигорассудили убраться далее.

При восхождении солнца посланные отряды возвратились. Они привезли великое количество хлеба и несколько подвод с вином, а сверх того, представили пред Евареста до двадцати жидов, не знавших, чего ожидать им – смерти или помилования. Привезенный запас разделен был по полкам и роздан в сотни, евреи поставлены в строй, и Еварест, окруженный сановниками и телохранителями, произнес к ним следующую речь:

– Чада Израиля! один от сонма вашего сделался предателем, подобно Иуде Искаротскому. Мы дались в обман и чрезмерно много потерпели. Изменник скрылся, и теперь отыскивать его некогда. Согла-

ситесь, что правосудие есть добродетель, людям полезная и богу угодная. Изберите между собою одного, коего считаете расторопнее других, и пусть он сейчас – в виде ли польского шляхтича, или малороссийского переметчика, или как хочет – отправляется в стан польский, осмотрит положение войска и его силу, узнает намерение воеводы и положение нашего гетмана и тогда верно обо всем нас уведомит.

Сроку на сие дело целого дня для доброго жидася весьма довольно, ибо в сумерки он непременно должен возвратиться. Все вы, сему избранному единоплеменные, останетесь здесь вместо залога. Если он возвратится с желаемым успехом, то получит богатую награду, а все вы – свободу; если же, обольщенный золотом и обещаниями, вздумает обмануть нас, то клянусь вездесущим, что все вы с родом и племенем сожжены будете живые!

У евреев еломки на макушах пошатнулись. Они смотрели один на другого туманными глазами и не могли промолвить ни слова.

– Время летит, – вскричал Еварест, – и каждый миг для нас дорог! Сейчас решайтесь!

Тут бодро выступил из ряда седой старик, раздвинул пейсы и с улыбкой сатаны сказал:

– Братья! что дадите, если я соглашусь один за всех вас собою пожертвовать? Слава милосердому богу!

родители мои давно уже покоятся на лоне Авраама, а жены и детей никогда не бывало. Если перехитрят меня поляки, так тому и быть. Где-нибудь и как-нибудь, а умереть надобно.

Жидаы оживились, весело зашумели и начали торговаться с охотником идти на верную почти смерть, как Диомид, подняв руку, торжественно произнес:

– Еварест! с твоего дозволения! Жидаы! – продолжал он, – когда вы не можете до сих пор уладить выбором, то мы сами беремся это сделать.

Представляемый вами охотник нам ненадобен. Кто не имеет на определенном месте ничего ему драгоценного, для такого бездушника целая вселенная есть отечество, и о слове «клятва» он не имеет истинного понятия. Приблизься сюда, молодой человек с заплаканными глазами, изодранным еломком и склокоченными пейсами. Как твое имя?

– Осия.

– Есть ли у тебя родители?

– Есть!

– Жена и дети?

– Есть!

– Достаток?

– Посредственный.

– Ты можешь вдруг его утратить!

По данному знаку все прочие евреи отведены в сто-

рону, а Осия остался на месте. Согласно с его желанием, мы дали ему волю действовать в жидовском платье.

– Мне немного надобно притворяться, – сказал он, – чтоб представить горестное лицо беглого, ограбленного жида; ибо корчма, мною содержащая, недалеко отсюда и действительно вашими наездниками превращена в развалины.

– Не печалься, Осия! – сказал Еварест, – от доброго успеха твоего похождения зависит, что выстроишь новую, лучшую корчму и заведешься достаточным хозяйством.

Целый час продолжались наставления Осии, как поступить ему в сем опасном случае. Нам очень хотелось, чтоб он из сего омута выполз с пользою для себя и для нас. Когда уверились, что он урок свой хорошо вытвердил, то, повторив ласки, обещания и угрозы, отпустили. Осия взошел на ближний песчаный холм, натаскал в одну кучу множество всякого дрязгу, разодрал в нескольких местах одежду, лег на землю и начал валяться, посыпая себя песком и пылью от макушки до пят. Когда он сделался похожим на пугалище, то встал и, нисколько не отряхнувшись, пошел прямо к лесу, весьма для нас памятного.

– Что значит эта комедия? – спросил я у Короля.

– Добрый знак, – отвечал он, – из сего поступка

Осии заключаю, что он усердно хочет исполнить нашу волю, и уверен, что если в сем ему не посчастливится, то причиною будет не измена, а неопытность, робость или что другое. Он представил себя наверху скорби и сетования и будет молить врагов наших о защите и отмщении.

День прошел в хлопотах и беспокойствах, всегда неразлучных с такими обстоятельствами, каковы были наши. В Батурин послано уведомление, что дела остаются нерешенными и, вероятно, не окончатся прежде, пока поляки не получают из Варшавы, а мы из Москвы ожидаемого вспоможения, почему и должны все оставаться в покое и надеяться на промысл божий, благоразумие вождей и дознанную храбрость воинства.

Я душевно страдал, вспоминая о жене и сыне. Мне хотелось бы только взглянуть на них, обнять, прижать к сердцу и после стремглав броситься в пучину бедствия; но дело было несбыточное. Оставить своих сотрудников на поле славы или смерти, оставить для таких маловажных причин, обнаруживающих более слабость душевную, нежели нежность сердечную, нет! и воспоминание о сем приводило весь состав мой в содрогание! Я дал слово быть воином и должен свято сохранить его.

В глубокие сумерки представлен был пред воена-

чальниками Осия.

— Милосердые господа! — говорил он с бодростию, — я сдержал свою клятву и всюю кровию моею отвечаю за истину слов моих. Поляки, по одержании некоторого преимущества над малороссиянами, оставили лес, служивший вчера для них засадою, и расположились станом на равнине, верстах в двух от оногo, на берегу речки, имени которой не знаю. Я легко обольстил их рассказами о несчастиях, от вас претерпенных. Меня приняли ласково и накормили. Они не возымели никакого подозрения, тем более что я, казалось, не обращал ни на что внимания, а только стонал и плакал, между тем слушал в оба уха и глядел обоими глазами. Ставки киевского воеводы и гетмана малороссийского стоят на берегу реки, и каждая охраняется — по безопасности местоположения — не более, как шестью стражами. Гетман, несмотря на все представления, не захотел видеться с воеводою, а тем менее согласиться на требование, чтобы писать всему войску о прежней преданности польскому скипетру. Он один в своей ставке с Куфием. Воевода о торжестве своем послал нарочного гонца в Варшаву с испрашиванием разрешения на дальнейшие подвиги и присылки вспоможения людьми и деньгами. До получения ответа не слышно, чтобы он на что-нибудь хотел отважиться, и очень доволен будет, если только самого не обеспо-

коят. Вот все, что я мог узнать в продолжение времени от утра до вечера!

Глава V

Наши умудрились

Король, взяв от Евареста дозволение действовать отдельно, выбрал двадцать человек из своих охотников, кои показались ему ревностнее, отважнее и расторопнее других. Он приказал мне одеться в платье польского всадника, сам облачился в такое же и передел своих сподвижников. После сего каждый из нас вооружился саблею, кинжалом и парю pistols, а сверх того, привесил к поясу баклажку с лучшим пенным вином. Когда мы во всем были исправны, то полководец наш Король, поставя полчище свое в кружок и став посредине, сказал:

— Храбрые витязи! все вы обязались ратовать не по принуждению, а из доброй воли, по одной любви к свободе дорогой отчизны. Все вы уже не школьники, и каждый из вас, кто по собственному опыту, а кто понаслышке знает, что звание воина ведет к чести или смерти и что там нет никакого права на отличия и почести, где мы достигаем своей цели без всякого усилия, без очевидной опасности. Нам предлежит теперь подвиг важный, даже отчаянный, но — необходимый! Надобно погибнуть или спасти гетмана и Малороссию! Мы идем в стан польский. Дорогою расскажу

подробно, как должны мы действовать, дабы достигнуть великого преднамерения.

В безмолвии вышли мы из стана и, следуя путеводительству Осии, направили шествие к лесу. Во время пути Король подробно вразумил нас, как должен поступать каждый, примечая условленные знаки. Мы прошли уже поперек лес и – хотя ночь была не самая светлая – скоро завидели ставки польские.

Мы представились крепко пьяными и, то бранясь между собою как ни попало, то обнимаясь přátельски, потчевали один другого своими баклагами. В таком прекрасном виде достигли мы передовой стражи и были скликаны.

– Тише, приятель, – сказал Король заикаясь, – пожалуйста, говори потише, чтоб кто из старшин не проведал, видишь, мы немного позашиблись.

Между тем, шатаясь на все стороны, добрались мы до часового и увидели, что невдалеке от него, растянувшись на покатости холма, человек около десяти храпели весьма исправно.

– Вот видишь, – говорил Король часовому, опершись ко мне на плечо, – мы были у жидов в гостях. Какое славное вино, какие милые жидовки! Я уже было с одною и поладил, как вдруг нечистая сила привела в корчму целую сотню проклятых батуриnceв, и они же вздумали перебить нам дорогу. Статочное ли дело! Я

первый приосамился, обнажил саблю и...

Тут Король с быстротою вихря выхватил саблю; она взвилась и голова часового пала к ногам его. С возможною осторожностью подошли мы к сонным и всех предали смерти без всякой пощады, хотя с горьким сожалением.

— Таковы жестокие законы войны, — сказал Король с тяжким вздохом, — чье сердце не содрогнется, не оледенеет, когда рука вражия обагряется кровию невинного, беззащитного сочеловека? Но так должно, необходимо должно — убивать или быть убиту!

В глубоком безмолвии, не переставая спотыкаться и пошатываться, пробрались мы сквозь весь стан и вышли на берег речки у шатров гетмана и воеводы. Предварительно разделились мы на два отряда. Король с своими сподвижниками ударился к ставке воеводы, а я со своими — к гетмановой.

Шатаясь на стороны, я спросил у часового, где мы можем найти шатры полка Краковского, к которому принадлежим? «Хороши воины! — сказал с досадою часовой, — один стой во всю ночь, не смыкая глаз, мерзни, как собака, а нет тебе никакой награды; другой в это время веселится, бражничает, и нет никакого наказания! Это в одном нашем войске случается!»

— Постой, дружище, — сказал я, стараясь на ногах укрепиться и отстегивая баклагу, — если мы сегодня

подгуляли, то и приятелей своих не забыли. Ты говоришь, что озяб? Вот тебе полная баклага преславного пеннику.

Согрейся, а после попотчуй товарищей. Францишка! отпояшь и свою баклагу и отдай часовому; пускай потешатся за наше здоровье, зато укажут нам дорогу к полку Краковскому.

– Правду говорят, – заметил служивый, втыкая в землю свою саблю и протянув руки к баклаге, – что веселые люди всегда добрее пасмурных!

Он поднес дорогой сосуд к губам; но не успел пропустить в горло и пяти глотков, как и голова и баклага полетели на землю, и кровь смешалась с пенником. Тогда стали мы на колени у каждого из пяти спящих стражей и, зажав им дыхание, начали поражать кинжалами. Ни один не мог произнести ни слова; глухое мычание было признаком разлуки с жизнью.

Управясь и с сею стражею, мы, наблюдая почти-тельное молчание, вошли в ставку гетмана, слабо освещенную лампадою. Высокоповелительный старец сидел на своем ложе, и я не мог вдруг отгадать, собирался ли он опочить, или уже проснулся. Увидя перед собою толпу страшилищ, у коих одежда, лица и руки обagrены были дымящеюся кровию, он несколько смутился, но скоро, приняв обыкновенный свой спокойный вид, спросил равнодушно:

– Что вы за люди и чего от меня хотите?

Я подошел к нему быстро и, встав на колени, сказал:

– Державный гетман! оставь ложе свое и следуй за нами! Познай во мне Неона Хлопотинского, который с избранными, верными, храбрыми сподвижниками решился освободить тебя из плена или погибнуть. Не медли следовать за нами!

Тут я взял его за руку, облобызал ее с благоговением и помог сойти с постели. Мгновенно мы одели его, вооружили (ибо все оружие было у него отобра-
но), и, подняв спавшего в углу Куфия, вышли из ставки и в безмолвии устремились вдоль берега речки. Я и один из дружины вели гетмана под руки, или, лучше сказать, несли его на руках своих. Когда мы были от польского стана так далеко, что считали себя почти вне опасности, то поворотили к лесу. Там, срубив несколько древесных ветвей и скрепя их поясами, сделали носилки, усадили изнемогшего старца и пустились далее, неся поочередно наше бремя. Еще зари не видно было на восточном небе, как достигли мы до своего стана. Передовой страже гетман открылся. Поднялся радостный шум и вопль; в несколько минут взгнетены костры дров; все воинство было на ногах, и военачальники со слезами умиления лобызали десницу растроганного повелителя. Он обнимал с нежно-

стию каждого и говорил дрожащим голосом:

– Чувствую, что я счастлив, ибо любим своими со-
братиями. Да будет благословенно и препрославлено
имя господне! Хлопотинский! – продолжал он, обра-
таясь ко мне, – и по разлучении души моей с сим брен-
ным телом не забуду великой услуги твоей, оказанной
мне и в лице моем всему отечеству!

– Могушественный гетман! – отвечал я, – в сем по-
двиге не один я участвовал. У меня есть друг, который
предводительствовал, а я был только его товарищем
и исполнителем советов.

– Кто он таков? Где? Что я не вижу одного из мо-
их избавителей? – вскричал гетман и с любопытством
обращался на все стороны.

Я продолжал:

– Когда половина небольшой дружины нашей под
моим предводительством истребляла стражу у твоей
ставки, товарищ мой с другою половиною делал то же
у ставки воеводы киевского. Если не погиб он в сем
замысле, то скоро должен соединиться с нами.

Едва я произнес слова сии, как невдалеке показал-
ся Король со спутниками своими; он шел впереди,
имея по правую руку незнакомого мне человека в ве-
ликолепной одежде. Сердце мое затрепетало от ра-
дости, и я тотчас догадался, что этот незнакомец есть
воевода. Подошед к гетману, Король сказал:

– Воевода киевский делает тебе приветствие в стане твоём!

Гетман, подав руку гостю, произнес:

– Когда я находился у тебя, ты был ко мне довольно снисходителен и вежлив; будь уверен, что и я не уступлю тебе в великодушии. В батуринском дворце моем ты будешь столько же покоен и доволен, как и в своем киевском.

Не осуди только, что, может быть, погостишь у меня долее, чем я в твоём стане.

После сего сделано было распоряжение об отсылке воеводы в Батурин.

Подведен конь, хотя из предосторожности и не самый лучший; воевода сел и, окруженный пятьюдесятью телохранителями, отправился. При расставании с гетманом тщетно умолял он о возврате оружия.

– На что оно, – возразил гетман, – если бы кто осмелился причинить тебе хотя малейшее огорчение, то сто рук во всякую минуту готовы защищать тебя!

– Надобно было повиноваться.

Заря занялась и рассыпала розовые кудри свои по голубому небу. Гетман сел на зеленом холме, и в полукружии стали пред ним вожди и воины, ибо все нетерпеливо желали видеть своего повелителя и собственными глазами увериться, что он избавлен от поносного плена, могшего дать преднамерениям оборот са-

мый гибельный. По велению гетмана Король был к нему представлен.

Тут я порядочно рассмотрел его и увидел, что одежда на нас была во многих местах растерзана, лицо обогрено чужою и своею кровью, которая, смешавшись с песком и пылью, прикипела целыми комьями к щекам его, усам и чубу. Поляки непременно назвали бы его узником, выпущенным из чистилища, дабы показать неверующим, каково обращаются там с преступниками, и тем предохранить живых от грехопадения. Гетман, подав ему правую руку, которую Король облобызал с почтением, сказал с чувствительностью:

— Храбрый воин, обязавший меня и всю Малороссию неограниченною благодарностию за неслыханную предприимчивость и чудесное благоразумие в доведении намерения своего к концу желанному! объяви нам имя твое и звание, дабы я, как глава воинства и народа, придумал, чем должно возблагодарить тебе за услугу, превышающую, впрочем, все награды, которыми располагать может земной повелитель!

— Высоковластный вождь всея Малороссии! — отвечал с благородною скромностию Король, — я ношу такое имя, которого никогда стыдиться не буду, хотя оно при дворе твоём и в пределах целого отечества предано было посрамлению! Проступок, за который был я судим и осужден на всегдашнее отдаление от сто-

лицы и лишен возможности быть чем-нибудь полезен своим соотчикам, заключался в родственной любви, в дружбе, готовой на все жертвования и необходимости, свойственной молодым летам. Так, державный гетман! пред тобою предстоит теперь, в сем безобразном виде старик, бывший некогда войсковым старшиною, членом твоего совета, предстоит...

Тут Король пал к ногам гетмана и дрожащим голосом произнес:

— Я Диомид Король!

— Король! — вскричал гетман, изменился в лице, вскочил и, сжав обе руки крестообразно на груди, стоял в безмолвии, потупя взоры в землю.

— Король! — воскликнули сановники и толпились вокруг его. «Король!» — раздалось во всем воинстве, и все старались хотя издали его увидеть. — Король поднялся, подошел к Еваресту и стал подле него. Гетман продолжал хранить ужасное молчание. Он ходил по вершине холма то скорыми, то медленными шагами. Иногда останавливался, и умиление просиявало в его взорах; потом вдруг блистали в оных гнев, негодование и мщение. Никто не предугадывал, чем кончится буря сия; на лице каждого из взирающих начертаны были то надежда, то отчаяние; один Король был тверд, как утес гранитный во время свистов ветра, нападения волн разъяренных и грозных ударов грома.

Еварест, закрутя усы, разглядя чуб, поправя шапку и приподняв саблю левою рукою, медленно подошел к гетману и сказал:

— Выслушай, что скажет твоему высокомоучию человек, никому и ни для чего не произносивший лести и неправды. Честь твоего имени для меня и для всех здравомыслящих драгоценна, потому что в нем хранится честь всей Малороссии. Я не был еще в числе твоих советников, когда осужден Король; иначе, я утвердительно скажу, не бывать бы тому, что было и что продолжается до сего времени. Если известный тебе и большей части из нас, теперь слушающих, поступок Короля есть преступление, то оно относилось только до особы Никодима, отца семейства, нимало не касаясь до гетмана, к которому ни на одну черту не умалены благоговение и покорность. Посмотри на Короля! Он весь облит кровью своею и чужою. Для чего? Чтобы спасти тебя и в лице твоём честь отечества. Для человека, подобного Диомиду, быть лишённым возможности служить стране отцов своих есть наказание, лютейшее смерти.

Теряя голову, он в одно мгновение избавляется мучения; а при ссыльной жизни с каждым Днём казнь его становится мучительнее. При всем том Король, в продолжение более двадцати лет скитавшийся по лицу земли малороссийский, скрывая свое достоинство,

теперь, когда отечество в истинных сынах имеет крайнюю нужду, когда глава народа и воинства подвергся плену и унижению, грозившему унижением всей стране сей, – Король, нимало не медля, ничего не считывая, является на поле брани и предает себя на жертву случая, лишь бы спасти своего грозного властелина. Великий гетман сил малороссийских! благоволи внять совету искреннейшего твоего послушника и перемени несправедливое определение свое о Короле, за двадцать два года перед сим произнесенное!

Военачальники и войско притаили дыхание, дабы не проронить ни одного слова, какое произнесет гетман. Нельзя не удивляться, что на месте, где стояло более десяти тысяч человек, слышно было в траве стрекотание кузнечика. Наконец чело повелителя, подобно месяцу, исторгшемуся из облаков дымчатых на лазоревое поприще небесное, прояснилось; он осклабился, взял Евареста за руку, потряс ее дружески и потом громко воззвал:

– Диомид Король, приближься!

Король ровным, твердым шагом приблизился и остановился. Гетман, возвыся к небу десницу, произнес с умилением:

– Благодарю тебя, милосердное провидение, что ты даруешь мне случай в жизни сей исправить свои проступки, последствия гнева и мщения! Дети мои, сы-

ны Малороссии! бывшего войскового старшину полка гетманского Диомида Короля назначаю полковником Хорольской области на место Елевсиппа, за день пред сим падшего в роковом сражении. Повелеваю возвратить ему все хуторы и дома, некогда ему принадлежавшие, и из собственной моей казны выдать денежное жалованье по чину полковника за двадцать два года.

Тронутый во глубине души старец погрузился в объятия Диомида, и слезы их смешались. Воинство произнесло радостный вопль и затмило солнце брошенными вверх шапками. Старики, бывшие в битвах под предводительством Короля, рассказывали о славных подвигах его молодым воинам; сии, исполняясь огня геройского, провозглашали «ура!», и целые тысячи повторяли сие восклицание.

Когда восторг несколько утишился и всякий старался уставиться на своем месте, гетман сказал:

— Отныне, Диомид, будем по-прежнему добрыми друзьями, однако под некоторым условием. Я уверен, что тебе известно убежище изменников, забывших права гостеприимства, права общежития, права природы. Ни одним словом я при тебе не упомяну об них, но и ты не раздражай слуха моего произношением ненавистных имен их. Раздраженный гетман щадит сих преступников, ибо давно уже перестал искать

их; но оскорбленный, обманутый отец не простит никогда, ни на краю могилы. Да судит бог между мною и ими!

По велению гетмана назначен военный совет, на который приглашены были одни полковники. Король, будучи в собрании, объявил дружине охотников, что как он обязан уже предводительствовать Хорольским полком, то она может впредь действовать совокупно с полком гетманским.

Глава VI

Победа

По окончании совета каждый полковник объявил полку своему решение оногo. Все воинство должно было разделиться на три полчища, как и прежде, но действовать каждое особо. Гетман пылал отмщением и никак не согласился на представление Короля и Евареста, чтобы успокоиться и даже возвратиться в столицу. Он решительно захотел предводительствовать серединою воинства и с четырью избранными полками устремился прямо к лесу, взяв уже все предосторожности, чтоб не быть по-прежнему невзначай захвачену неприятелем.

С толиким же числом Еварест потянулся вправо, а Каллистрат влево. Гетман и окружающие его чиновники, в числе коих был и я, ехали теперь гораздо с большею бодростию, чем в первый раз, и сей отваге не мало содействовало отсутствие воеводы, коего искусство и личная храбрость были главным щитом для поляков. Медленно осматривались мы на каждом шагу, а особливо вступив в гибельный лес, и проходили оный, так сказать, ощупью. Наконец долина, занятая неприятелем, открылась перед нами; мы построились в боевой порядок и устремились прямо скорыми ша-

гами. Едва открылся издали стан неприятельский, в то же время увидели мы с правой стороны полчища Еварестовы, а с левой Каллистратовы. Чем далее подвигались мы вперед, тем яснее примечали смятение и беспорядок, господствовавшие между поляками.

Раздавшийся гром из наших пушек умножил их ужас; им немедленно надлежало сражаться или кинуться в речку и наудачу искать спасения на другом берегу.

Некоторые из них, не потеряв еще надежды, начали собираться в ряды и издали грозили нам саблями; зато другие, кои были животолюбивее и звук славы считали обыкновенным пустым звуком, целыми толпами бежали из своего стана, являлись к нам и повергали на землю оружие. Гетман принимал их ласково, однако из предосторожности приказал вязать таковым витязям назад руки и, прикрепляя одного к другому, отводить в лес и стеречь крепко-накрепко. От сих-то переметчиков узнали мы, что пан Бурлинский, великий коронный подкаморий, старик самый неугомонный, принял начальство над войском, одушевил унылых своих ратников и уговорил их стоять за честь свою твердо, если не хотят, чтоб он всех трусов перевешал. «Я дозволю! — говорил он с запальчивостию пасмурным своим сподвижникам, — выщипать себе правый ус, если своими руками не возьму лукавого

гетмана в плен и связанного не пошлю напоказ в Варшаву. Нет! От меня не уйдет, как от глупого воеводы!» Слушая сии хвастливые речи, гетман улыбался и, поглаживая чуб, говорил:

– Посмотрим! Но я всегда той веры, что разумный человек не будет хвалиться, идучи на рать.

Воинства сошлись, и начался бой рукопашный; кровь полилась рекою, и болезненные вопли, проклятия, бранные восклицания колебали воздух. С величайшим присутствием духа гетман наносил удары и давал повеления. Я безотлучно как по долгу звания, так по чувству любви и благодарности при нем находился и не столько старался поражать неприятеля, сколько отклонять удары, грозившие моему властелину. Надобно признаться, что в начале битвы руки и ноги мои задрожали, сердце забилося, зубы щелкали как во время лихорадочного озноба; но, благодарение промыслу, мой добрый гений в самую пору подоспел ко мне на помощь. Он шептал на ухо: «Стыдись, храбрый бурсак! Отчего ты робеешь и трепещешь? Разве редко, во время твоего риторства и философствования в бурсе, случалось тебе ратовать на кулачных боях с семинаристами? Разве там не проливали токи крови, не летели на воздух зубы, не трескали чубы, усы и пучки? Поверь, друг Неон! ты и теперь на кулачном бою с поляками. Поражай храбро по чему ни по-

пало, и ты останешься победителем».

Сии внушения моего доброго духа разлили в душе необыкновенную бодрость, которая еще умножилась или, правильнее, превратилась в бешенство, когда увидел собственную кровь, полившуюся из ран, полученных одну в шею, а другую – в правую ляжку. Я уподоблялся тигру, пронзенному стрелой. Вскоре продрался к нам незнакомый неприятельский воин, окруженный многочисленными телохранителями. Позади его развевалось великолепное знамя королевства.

– Ба! – сказал гетман, утверждаясь в стремях, – вот и пан Бурлинский!

Надобно по достоинству принять его!

Он дал шпоры коню, исторгся из ряда, и началось единоборство. Из всего видно было, что Никодим в свое время был витязь знаменитый, но также и того нельзя было не видеть, что ему теперь за шестьдесят лет. После третьего оборота саблею она исторглась из слабой руки, и Бурлинский занес убийственный меч над головою изумленного старца. Быстрее луча молнии рванулся я вперед, и меч неприятеля отлетел далеко вместе с рукою; я ударил плашмя супостата и низверг на землю, – Вперед! – воззвал я с неистовством.

Моя дружина за мною устремилась с победным

воплем, и кучи врагов поверженных знаменовали путь наш. С головы до ног мы были облиты дымящейся кровию; кони едва выдерживали ноги из растерзанных членов человеческих; дыхание наше стеснилось, и убийственные руки с трудом погружали мечи в тела неприятельские. В скором времени мы, утомленные, расслабленные, полумертвые, поневоле должны бы остановиться, если б враги, будучи, вероятно, еще в опаснейшем положении, нас не предупредили. Они обратили хребты и предались бегству— прямо к берегу речки; ибо, быв поражаемы с одной стороны Еварестом, с другой — Каллистратом, они не находили другой дороги ко спасению. Те, кои чувствовали себя несколько еще в силах действовать руками и ногами, стремглав кидались в волны; другие же, предчувствовавшие неизбежную гибель во влажной могиле, решились просить пощады. Они повергли на землю остатки оружия, пали на колени и, простерши к нам руки, горестно возопили: «Змилуйтесь, змилуйтесь!» Гетманская труба зазвучала, мы остановились. По данному знаку неприятельские военачальники приблизились и, по кратком совещании, согласились отправиться в Батурин пленными вместе с своими сподвижниками. Все они лишены коней и оружия, и — зачем скрывать истину? — у них отобрали не только золотые и серебряные деньги, но и все то, что хо-

тя немного походило на серебро и золото. После сего они отправлены в стан наш.

Гетман, сошед с коня, преклонил колена и в безмолвии принес благодарение верховному распорядителю жребия народов. После сего собрались к нему все полковники, войсковые старшины и прочие начальники для поздравления с одержанною победою.

— После господя сил, моего повелителя, — сказал гетман с благоговением, — коего до конца дней моих не перестану славословить за счастливое окончание сей битвы, я обязан благодарностию вам, мои храбрые сподвижники, и в особенности тебе, Хлопотинский! Так, друзья мои! без его отличного мужества вы хотя бы и не лишились победы, но наверное видели бы теперь один бездушный труп вашего гетмана. Неон! по прибытии в Батурин я поищу средств достойно наградить тебя.

— То нечего сказать, Никодим, — воззвал Куфий, стирая пот с лица, — сколько я ни храбр, что весь свет знает, но как скоро перед глазами моими блеснула сабля проклятого Бурлинского на пол-аршина от твоего чуба, то я чуть-чуть с коня не свалился. То-то было бы хлопотливо опять на него взмачиваться при такой ужасной суматохе. Но об этом успеем довольно поговорить в Батурине; а теперь, Никодим, не мешало бы заглянуть в шатры польские. Они не совсем-таки

глупые люди и, верно, без хорошего запаса далеко не ходят; а у меня, божусь, от жажды пересохло в горле, а пить из речки воду – боже избави! она теперь перемешана с кровью, и на дне немало всякой падали.

Никодим, осмотрев местоположение, нашел, что оно приятнее и выгоднее, чем избранное нами для своего стана второпях, по одной необходимости.

Вследствие сего повелено: первое, не теряя времени, разобрать трупы и предать земле как польские, так и малороссийские особо с подобающим благочинием. Второе, весь стан с находящимся в нем запасом переместить на новое место, у неприятеля отбитое. Третье, поляков, взятых в плен, рассадить в крепости, где удобнее. Четвертое, раненых и больных как своих, так и неприятельских со всею сохранностию отвезти в Батурын. В ту же минуту началось исполнение по сим повелениям.

Хотя я очень был доволен сам собою, да чего более и надобно человеку, однако, к немалому ужасу, заметил, что нигде не вижу Короля, своего друга.

Время проходило, а его не было. Тяжкая скорбь объяла мою душу, неизвестность меня мучила, и при всем том я ни у кого о нем не спрашивал, страшась услышать весть плачевную. В молчании, походящем на безмолвие могилы, бродил я за Еварестом, коему поручено было с полком его разобрать трупы, всмат-

ривался в лицо каждого страдальца, в каждом думал найти Короля и – не находил. Нетерпение усилилось и взволновало всю мою внутренность; с судорожным движением схватил я Евареста за руку и спросил диким, дрожащим голосом:

– Где Диомид Король?

Он несколько смутился; но скоро, оправясь, отвечал довольно равнодушно:

– По тайному повелению гетмана он отправился с поля сражения в некоторое место, где и будет находиться в неизвестности до возвращения нашего в Батулин.

– Ты меня обманываешь! – вскричал я с отчаянным видом, – перед сражением, в продолжение оно и после я безотлучно был при гетмане и не мог не знать о малейших его приказаниях; но о Короле не было ни слова.

Заклинаю тебя богом и тою дружбою, какую имеешь ты к достойному сему войну, скажи мне, где он и что теперь? Самая ужасная известность отраднее неизвестности!

– Хорошо, – сказал Еварест с кротостию, – я надеюсь, что ты столько же тверд в духе, сколько храбр на брани! Диомид сражался подле меня. Его запальчивость тебе известна. Он врубился один в толпу неприятелей и, конечно бы, погиб, если б я не подоспел

ему на помощь. Мне удалось освободить его от смерти или плена; но уже из правого бока его струилась кровь, ноги дрожали, в глазах темнело. Полумертвого велел я отнести в стан наш и вручить Иоаду, первому врачу придворному. Вот все, что я знаю; однако ж, надеюсь, что искусство врача и сложение Диомида будут иметь свою силу!

— Прощай, Еварест! — вскричал я, — мне надобно быть в нашем стане!

Еварест, схватя меня за руку, сказал с важным видом:

— Как, молодой человек! Разве забыл ты, что я непосредственный твой начальник? Можешь ли ты, без позволения моего, оставить вверенных тебе ратников? Стыдись, малодушный! Что поможет Диомиду твое присутствие, твои стоны и вопли? Это более огорчит великодушного нашего друга и умножит болезнь его; а притом не ты ли был сам при гетмане, когда он, между прочим, дал повеление, чтобы раненых со всею бережливостию привезти в Батурин и там доставить им всевозможное пособие. Останься при мне, Неон, и возверзи печаль твою на господ!

Мы пробыли на сем гибельном поле до самого заката солнечного. На четверть версты от стана, на берегу реки, вырыты были две ямы глубокие и обширные. В одну опущено около двух тысяч малороссиян,

а в другую – с небольшим четыре тысячи поляков. Нарочно призванные из ближних селений священнослужители унылым, протяжным пением испрашивали у неба милосердия душам падших на брани, как между тем воины наши покрывали тела их землею.

Еварест вздыхал, а я плакал неутешно.

По окончании сего горестного обряда на обеих могилах водружены древесные кресты. Мы поклонились памяти усопших собратий и вместе со священством в глубоком молчании тихими шагами пошли ко стану. Там все было также в готовности. Обоз наш приведен, шатры уставлены в порядке; над ставкою гетмана развевалось великое знамя, в прежнем сражении у нас отбитое и ныне опять возвращенное. По возвращении нашем совершено благодарственное молебствие и весь стан окроплен святою водою. Вскоре все умолкло, и я вошел в назначенный мне шатер, опустился на приготовленную Сисоем охапку свежей травы, прося у бога мирного сна в ночь сию после дня столько утомительного.

Глава VII

Великий переворот

Кажется, я имел на сон неотъемлемое право, но он ни на минуту ко мне не пожаловал; израненный Король и сетующая Неонилла мечтались мне беспрестанно, а сверх того, и свои раны не давали мне покоя. Я чувствовал во всем теле то жар, то озноб; шея распухла так, что едва можно было дышать, рана на левой руке, за два дня полученная, вновь открылась, и я пришел в крайнее изнеможение. Едва появилась заря, как испуганный состоянием моим Сисой бросился к Еваресту, дабы испросить возможную помощь.

Благодетельный военачальник вскоре показался в моей ставке вместе с мудрым Иоадом и молодым учеником его Авдоном, тащившим за плечами небольшой ящик.

Опытный врач, раздвинув седые пейсы, внимательно осмотрев мои раны, промыл их какою-то минеральною водою, приложив целебные мази, распрямился и сказал Еваресту:

— За выздоровление его могу ручаться, если и сам он поможет мне в пользовании. Это значит, что до совершенного закрытия ран кровь в жилах его должна обращаться сколько можно покойнее; а чтоб сохра-

нить сие правило, надобно ему отречься до времени от свидания с людьми, кои любезны или ненавистны. Для прогнания скуки и уныния, также затрудняющих выздоровление, он может забавляться чтением книг, но отнюдь не польских или латинских, в которых нередко описываются предметы и положения, могущие и здорового старика приблизить к могиле, а тем скорее молодого больного человека. С пользою может читать он Книгу Иова, Плач Иеремии и Екклезиаста^{26}.

— Спасибо за совет, — сказал мой начальник, — недалеко от Батурина есть у меня большое село, а подле него маленький хутор, состоящий из господского дома и трех крестьянских хат; обширные сады окружают сие поместье, и я свободное от должности время провождаю в оном. Там поселен мною старик, смотрящий за садами и за домом; небольшое семейство его составляет работников, коими распоряжает он со всею властью отца древних времен. В сие-то уединение отправлю я Неона, а ты, честный Иоад, отпусти с ним достаточное количество лекарств и одного из учеников твоих, который бы прожил там дня два или три и научил Сисоя и садовника обращению с больным и правильному употреблению врачеваний.

С сими словами Еварест вынул из-за пазухи порядочный кошелек, наполненный золотом, и весьма сте-

пенно опустил его в жидовскую шапку.

Старик встрепнулся, глаза его заблестали, морщины разгладились.

– Ты преразумно вздумал, господин полковник, – сказал врач, вынимая из шапки деньги и укладывая в карман, – отправим твоего сотника немедленно, а я отпущу с ним на время Авдона, самого понятного и самого опытного из множества учеников моих.

Колымага Еварестова подвезена; меня уложили на мягком пуховике, у ног уселся Авдон с своим ящиком; несколько всадников, назначенных проводить меня до места, вскочили на коней, и мы двинулись. Еварест провожал верхом до выезда из стана, увещевая быть терпеливым и обещая посетить меня с Неониллою и Мелитоном, если прежде моего выздоровления возвратится в Батурин и если Иоад согласен будет на такое посещение. Еварест удалился от меня неприметно, вероятно избегая прощания. Хотя, по словам провожатых, назначенный для меня хутор не далее шестидесяти верст был от стана, однако мы прибыли в оный не прежде, как на другой день около вечера. Садовник Пармен встретил меня у ворот, и с помощью Сисоя и нескольких казаков я внесен в самую лучшую комнату в доме, в сад окнами, и уложен на покойной постели; ибо правду сказать, я так ослабел, что с трудом мог сделать сам собою какое-либо движение. Ав-

дону и Сисою приготовлена была небольшая горенка подле моей спальни; и когда я заметил Пармену, что он к принятию меня распорядился так хорошо, как будто бы знал о том прежде, то старик ответствовал:

– Как не знать, когда вчера еще об эту пору прискакал сюда нарочный от Евареста с приказанием, чтоб сколько можно скорее все было готово для помещения больного господина, слуги его и жида лекаря.

Мне ничего не оставалось, как только мысленно возблагодарить милосердного бога за неоставление меня во дни скорби и сетования. По данному знаку все удалились; благодетельный сон начал осенять меня своими крыльями, я опустил на подушки и – забылся.

Когда я проснулся и, не открывая глаз, погружен был в дремоту, услышал невдалеке приятное пение птичек. С удивлением взглядываю и вижу, что на окнах моей спальни висело несколько клеток с жаворонками, чижами, щеглами и синицами. Такое внимание к моему развлечению мне понравилось. Я попробовал привстать и к немалой отраде мог приподняться без ощущения прежней боли; я попытался говорить и довольно явственно произнес: «Любезная Неонилла! ты, верно, теперь грустишь и крушишься о своем Неоне! Потерпи, и мы увидимся! Что-то делает другой Король? Миновалась ли опасность его жизни?

Боже! продли дни великодушного мужа сего, который один мне отца и мать заменяет!»

Вскоре появились ко мне Пармен, Сисой и Авдон.

– Добрый знак, – сказал последний, подошед к постели и щупая пульс на руке моей, – кто с раннего вечера покойно проспит до позднего утра, тот вне уже опасности.

– Как? – спросил я с удивлением, – неужели теперь утро?

– Утро уже прошло, – отвечал Пармен, – и скоро наступит полдень!

Тут и сам я догадался, что после трех дней беспрестанного волнения крови, движения, трудов, утомления провести полдня в покойном сне есть немалое лекарство. Авдон перевязал мои раны, и по наступлении обеденной поры я прел с довольным вкусом.

Так проведены мною две недели, и хотя немало радовало меня приметное выздоровление, однако я не мог не скучать, лежа в постели, привыкнув с самых молодых лет быть в беспрестанном почти движении. Заниматься чтением по предписанию Иоада мне также наскучило, а слушать пение моих пернатых собеседников мне стало досадно. «Вероятно, – сказал я, – что, если каждый из них не понимает смысла в пении другого, по крайней мере собственное свое ему понятно, и он утешает себя в неволе; я только дол-

жен сидеть или лежать в безмолвии и забавлять себя или воспоминанием прошедшего, или воображением о будущем».

По прошествии сего времени мудрому Авдону показалось, что я могу уже, хотя с помощью костылей, пройти несколько раз по комнате и посидеть у окна на лавке. Я восхищался, рассматривая великолепный сад Евареста. Все деревья были в полном цвете, и легкий ветерок доносил до меня слабый запах; ибо мой врач никак не позволял открыть окон, а тем упрямее отказал в прогулке по саду.

Вдруг послышался в соседнем покое легкий шум, вскоре отворились двери, и Еварест показался. Я столько объят был восторгом, что, забыв о больной ноге, вскочил, хотел устремиться к нему с распростертыми объятиями; но едва не полетел со всего размаху на пол. Все бросились ко мне, поддержали и усадили на скамье; после чего Еварест, севши подле меня, сказал:

— Благодарение богу! поход наш кончился, и после известного тебе сражения не пролито уже ни одной капли крови. В самый тот день, как ты отправлен в сей хутор, получили мы от разъездных отрядов два известия: первое, что московская сила идет к нам быстро и прибудет не позже двух дней; второе, что армия варшавская также не медлит и может появиться перед

нами следующего утра. Последнее известие привело нас в великое смущение; ибо весьма легко расчесть можно было, что мы успеем быть побиты наголову, пока подоспеет вспомогательное воинство, которому останется одна забота похоронить нас и отпеть общую панихиду. Собран был совет, и, по обыкновению, начались прения. Иной, надеясь, на собственные силы и мужество, полагал, что и в каждом воине столько же сих преимуществ, а потому думал, что опасаться нечего, и должно, дождавшись неприятеля, ударить на него со всею отвагою. Другой, будучи умереннее, советовал окопаться рвом и со смирением отбиваться от врага, пока не подоспеют московитяне. Словом, сколько было голов, столько голосов, и гетман сидел молча и размышлял, на чей совет склониться будет полезнее. Тогда Куфий, встав с места, вытянулся и важным голосом произнес: «Вижу, что и тут вы, умные головы, без меня не обойдетесь! Если об одной вещи судят десять человек, равных в летах, в здоровье и в житейских обстоятельствах, и суждения их совершенно противоречат одно другому, то не должно ли заключить, что из десяти таковых судей один только мыслит и говорит основательно, а прочие девять безумствуют, или же что и все дураки набитые!

Положение наше таково: к нам приближаются поляки и русские; один чтоб нас поколотить, а другие

чтоб избавить от побоев. Расстояние и тех и других довольно неравное, так что и подлинно прежде, нежели поздороваемся с друзьями, должны будем облобызать родную мать свою землю сырую. К нам идут русские; кто же мешает бежать к ним навстречу? Если мы сейчас двинемся с сего места, то, прошед до вечера, мы приблизимся к русским на полдня, они к нам настолько же, что и составит целый день разницы. Пусть поляки завтра поутру прибудут на сие место; им ничего более не останется, как только поклониться могиле своих соотчичей и остановиться там или гнаться вслед за нами. Если остановятся, то поступят благоразумно, ибо успеют отдохнуть с дороги и собраться с духом и силами; если же погонятся, то все-таки не прежде настигнут, как по соединении с нашими друзьями, и, сверх того, устанут, как гончие собаки, и мы порядком потешимся над их чубами. Я готов всех вас счесть и всенародно провозгласить глупее ослов и слепее филинов, если сейчас не признаетесь, что мнение мое премудрее всех ваших».

По окончании сей замысловатой речи Куфий отошел в угол ставки и спокойно начал курить тютюн. Гетман подтвердил, что Куфиева мысль не достойна презрения; в скором времени все на оную согласились. Дано повеление, и не более прошло часа, как мы со всем обозом и артиллерией были уже в походе вниз

по течению знакомой тебе реки; ибо предуведомлены были, что сим же путем шли к нам и москвитяне. На другой день к вечеру оба воинства сошлись, и общая радость была неописанна; костры дров запылали, и станы наши походили на большое селение, в котором жители празднуют свадьбу своего доброго господина; почти вся ночь прошла в игре, пляске и пении.

Наутро мы поднялись и потянулись прежнюю нашей дорогою. На другой день, около полудня, увидели мы на другой стороне реки развевающиеся знамена варшавские, и скоро оба воинства сошлись одно противу другого близко, что только одна река оные разделяла. По-видимому, поляки не помышляли, чтобы мы так скоро могли соединиться с союзниками. По их движению и по той торопливости, с какою начали укреплять стан свой, мы догадались, что они в недоумении и даже робости.

Не теряя времени, по велению гетмана, я с приличным числом чиновников и телохранителей переправился на плоту на другую сторону реки и введен в ставку воеводы, начальствующего силами польскими. Я представил ему коротко и ясно право наше на соединение с Россиею, умеренность требований, превосходство воинства и неизбежную гибель сарматов^[27], если отважатся на сопротивление. Воевода ответил, что хотя он и совершенно уполномочен

от короля и сейма вести войну или заключить мир на условиях, какие признает лучшими, но как дело такой важности стоит зрелого рассуждения и без согласия военного совета решено быть не должно, то и требовал сроку на два дня. Я охотно на сие согласился и с тем прибыл восвояси. Многочисленная стража поставлена была в приличных местах для примечания всех движений неприятельских. Мы не столько опасались нечаянного от них нападения, как побега; да надобно думать, что и они все единодушно помышляли о последнем, не предвидя ничего доброго от первого.

Вместо двух условленных дней, данных полякам на размышление, прошла целая неделя в беспрестанных спорах, пока наконец кое на чем решились, да и то по твердому слову московского воеводы, что он не намерен более медлить, если в самом скором времени не дано будет согласие на все требования наши.

Тогда-то наконец со всех сторон подписаны и утверждены печатями статьи мира. Король польский отказался навсегда от господства над Малороссией, и река Днепр поставлена границею обоих владений. Гетман обязался царя русского почитать верховным своим повелителем, помогать ему в военное время ратными людьми и платить ту же самую подать, какая доселе платима была Польше. Воевода московский, именем царя своего, утвердил все права и преимуще-

ства гетмана, обещая охранять как общие, так и частные пользы его высокопочина и всего войска малороссийского силою своего величества, власти и могущества. На соизволение гетмана предоставлено, оставить ли кого в Малороссии из поляков, а особливо их духовенство, занятое большею частию воспитанием юношества и преподаванием учения, или прогнать их за границу.

По окончании сего великого дела назначено быть и пиршеству немалому.

Гетман и московский воевода приглашали в Батурин и воеводу польского; но он с огорченным видом решительно отказался, снял стан и двинулся обратно в отчину. Мы торжественно прибыли в столицу при громе пушек и звуке колоколов. Пирь следовал за пирами, веселья за весельями, что и продолжалось три дня. Вчера только поутру вождь русский со своим воинством направил путь в области царские, а при дворе гетмана оставил одного боярина с приличным числом дьяков и военных людей. Так-то, любезный друг Неон, кончилось славное наше предприятие. Хотя оно, конечно, многим храбрым и мудрым мужам стоило крови или жизни, а семействам их многих слез, стонов и сетований, но частный вред или польза никогда не должны быть взвешиваемы на одних весах с общим вредом или пользою.

Глава VIII

Повышение

По окончании рассказа Еварестова я погрузился в задумчивость. Мне казалось, что при посещении отсутствующего больного мужа, отца и друга сперва надобно бы уведомить его о состоянии особ, для него драгоценных, а потом уже повествовать о предметах, хотя также близких к сердцу его, в коих участие разделяет он с миллионами единоплеменников. Если бы посетил меня полковник Каллистрат и об окончании войны сказал то же, что и Еварест, я слушал бы его внимательно, с соучастием; ибо мне известно, что он не знает, есть ли у меня жена Неонилла, сын Мелитон и друг Диомид; но Еварест, коему особы сии известны совершенно, равно как и моя к ним горячность, — Еварест молчит, и горестное уныние растерзало мое сердце. От взора Еварестова не скрылось болезненное состояние души моей; он пожелал знать тому причину, и я чистосердечно открыл оную.

— Друг мой, — говорил полковник с открытым взором, хотя с некоторым смущением, — хорошо ли я поступил в сем случае, или нет — не знаю, но только я следовал старинной пословице: «De absentibus nihil

nisi bene». ¹²

Признаюсь, что прежде военные труды, а после придворные пиршества столько меня утомили, что некогда было посетить жену твою; притом же она напала бы на меня с вопросами, на которые я и не мог и не должен был отвечать.

Не довольны ли с тебя, что, выступая в поход, ты оставил жену и сына в совершенном здоровье, в доме безопасном, среди людей, готовых служить им со всем усердием? Что касается до друга нашего Диомиды, то осторожный Иоад до сих пор никого к нему не допускает, и я, будучи не менее тебя другом сему почтенному воину, довольтвуюсь уведомлением, что он вне опасности, что ему день ото дня становится легче, и я за сие приношу благодарение богу милосердому. Будь терпелив, Неон, и надейся, благой промысл вышнего никогда не дремлет.

После сего Еварест, подозвав Авдона, тщательно расспрашивал о состоянии моего здоровья и о времени, когда я, не подвергаясь опасности возобновить болезнь, могу явиться в люди. Авдон утвердительно отвечал, что через неделю я могу уже по несколько часов прохаживаться в саду, если погода то дозволит, что спустя еще две недели он дозволит мне понемногу проезжаться верхом, а там еще через две недели

¹² Об отсутствующем или ничего, или хорошо (лат.). – Ред.

– если поможет всемогущий – могу уже и я, раб его,¹³ отважиться на дальнейшие подвиги.

– Это ужасно, – сказал я с крайним огорчением, – неужели еще более месяца томиться в неволе?

– Что делать, Неон! – прервал Еварест с улыбкою, – врачей столько же надобно слушаться, как и духовных отцов. Одни указывают душе путь ко спасению, а другие направляют тело ко храму здоровья.

После сего он меня обнял с ласкою, сунул Авдону в руку горсть злотых и, наказав Пармену довольствоваться мною сколько можно лучше и никого не допускать постороннего, кто бы он ни был, удалился.

Авдон был весьма точен в словах своих. Не прежде недели открыты для меня садовые ворота.

Время от времени я становился тверже на ногах и исправнее мог владеть раненою рукою. Рана на голове совершенно очистилась, и остался один только рубец, а на шее хотя несколько и беспокоила, а особливо ночью и в мокрую погоду, но она не мешала говорить и есть, сколько мне было угодно. Когда прошли еще две недели, и я чувствовал себя – по крайней мере так мне казалось – совершенно здоровым, то предложил Пармену достать две каких-нибудь, хотя деревенские клячи, на коих бы я с Сисоем для укрепления сил мог прогуливаться в окрестностях хутора.

¹³ Авдон с еврейского значит раб судии бога.

– Достать двух коней, – отвечал Пармен, – дело бы не мудреное, но прогуливаться на них – дело невозможное. Мой господин, уезжая отсюда в последний раз, именно сказал мне: «Пармен, как скоро Авдон признает, что нашему больному можно уже показаться на лошади, то предварительно уведошь о том меня, и до получения ответа ворота моего дома должны быть заключены для всякого». Так хочет Еварест, и ты согласишься, что воля его должна быть свято исполняема. Вчера еще послал я в Батурин нарочного с мнением Авдона о твоём выздоровлении и с часу на час ожидаю решения.

Хотя таковая прихоть несколько мне и не понравилась, но нечего было делать. Я принужден довольствоваться прогулкою в обширном саду и слушанием убедительных доказательств Авдоновых, что есть свиное мясо и ходить на войну суть дела самые негодные, богопротивные.

– Припомни-ка, – говорил он с жаром, – что всякий из праотцев наших до потопа прожил не менее пяти-сот лет! Отчего это? Именно оттого, что они самой нечистой скотины и не видали, а о войне не было у них и слуха.

– Хотя, – возразил я, – твои собратия и теперь не едят свинины, а сражаться не заставишь их и плетью, однако же не думаю, чтобы хотя один прожил долее

всякого умеренного христианина.

— Это оттого, — вскричал мой врач, — что злой рок судил нам жить между христианами. Тут против воли наберешься свиного духа и вдоволь наслышишься о кровопролитных драках, а это-то самое и укоратывает нить жизненную.

Прошло еще два дня, и я непритворно начал скучать и задумываться. Пока я был болен, то более всего думал о счастии здоровых людей; а когда оправился, тогда милая Неонилла ни на минуту не выходила из моих мыслей.

Воображение рисовало предо мною ее нежный взор, сладкую улыбку; я представлял себя в ее объятиях, и сердце мое трепетало. Король, сей верный друг и путеводитель, занимал часто мои мысли, и самый Мемнон с любезным семейством исторгал из груди моей вздохи, что я, столько им обласканный, благодетельствованный, ничего о нем не слышу и не знаю, счастлив ли сей человек великодушный!

На третий день, рано поутру, когда я прохлаждался еще в постели и Авдон в последний раз, по словам его, прикладывал мази к двум остальным ранам на руке и на ноге, ибо и шейная совершенно очистилась, вошел ко мне Сисой с объявлением, что какой-то молодой есаул полка гетманского с десятью казаками прибыл в хутор и желает меня видеть.

– Хорошо, – отвечал я, – объяви пану есаулу, что как скоро раны мои будут перевязаны, то я оденусь и к нему выйду.

Сисой, исполняя приказание, сейчас возвратился, дабы помочь мне одеться в сотническое платье и мечом препоясаться. Мне не хотелось пред чиновного человека предстать в простом одеянии.

Вошед в большую комнату, в которой обыкновенно угощал хозяин гостей своих, посещавших его в уединении, я увидел молодого, прекрасного мужчину с пламенными глазами. Стан его был прям и гибок, как стебель молодого клена, румяные щеки показывали здоровье; и хотя он был в есаульском наряде, но усы едва начали пробиваться, что и давало ему вид не более двадцатилетнего.

Подошед ко мне почтительно, но свободным шагом и с благородным видом, он сказал:

– Высокоповелительный гетман сил малороссийских приказал вручить тебе сию бумагу.

С сими словами подал он мне большой лист; я развернул, пробежал глазами и не смел сам себе верить. Я прочел в другой и третий раз, и все еще казалось, что брежу. Свернув бумагу, я начал ходить по комнате, дабы увериться в бодрственном своем состоянии; после чего, сев на лавку, спросил:

– Известно ли тебе содержание сей бумаги?

– При выезде из дворца, – отвечал есаул, – Куфий подробно обо всем меня уведомил. Прими поздравление мое с новою милостию столько же благосклонно, сколько о сем радуемся я и все мои родные!

– Так, – сказал я, глядя в бумагу, – это грамота на пожалование меня войсковым старшиною в полку гетмана. Но кто ты и кто твои родные, принимающие во мне такое дружеское участие?

– Ты узнаешь о сем из письма, – сказал есаул, подав мне сверток бумаги.

Я развернул и прочел следующее:

«Посылая грамоту его высокопочина на пожалование тебя, Неон, в новое и высокое достоинство, поздравляю. Все друзья твои сему очень рады. Теперь надобно тебе забыть о своей молодости и вести себя так, как прилично опытному мужу. Ты называешься старшиною; молодость не будет уже извинением в проступках. Грамоту и письмо сие вручит тебе молодой есаул Кронид, который будет собеседником твоим в сельском доме и провожатым во время прогулок в полях окрестных. Присланные телохранители должны везде вам сопутствовать, как скоро оставите двор ваш. Не спрашивай ничего: так надобно! Прошу тебя: будь ласков к Крониду и удостой его любви твоей и дружбы. Мне все говорят, даже нелицемерный друг наш Диомид, что молодец достоин любви всякого по-

чтенного человека. Хотя я и не должен таковым лестным слухам верить без разбора, потому что Кронид родной сын мой, а глаза отцовские нередко в таких случаях ослепляются, но, как бы то ни было, и я повторяю просьбу: полюби, Неон, моего сына, ибо и тебя искренно любит отец его.

Еварест».

Я вскочил с места с изумлением, превратившимся скоро в восторг радости.

– Ты сын Евареста? – вскричал я.

– Так, – отвечал молодой человек, бросив на меня величественный взор, который тогда показался мне несколько гордым.

Я обнял его с нежностью и не мог не вздохнуть тяжело, вспомня, что я лишен сего высокого наслаждения и не могу сказать, кто мои родители. Мысль сия так меня поразила, что и новое достоинство, полученное в столь молодые лета, меня не веселило.

Разговорившись с Кронидом, я тотчас увидел в нем пылкого юношу, который всегда знает, что он – сын вельможи, а пришедши в возраст, смотрел на отца своего как на будущего гетмана. При всем том воспитание, полученное им в глазах родителей, под надзором старого опытного и ученого иезуита, делало его любезным и заставляло забывать, что он слишком молод. Мы условились, чтобы после завтрака ехать

верхами подальше за хутор, почему я опять намекнул Пармену о деревенской кляче.

– На что это? – спросил Кронид, – для тебя отец мой прислал одного из лучших коней своих со всем прибором.

Я не мог довольно надивиться великодушию Евареста и возблагодарить за сие в лице его сына. Мы вооружились огнестрельным оружием, сошли на двор, сели на коней и пустились в поле в сопровождении гетманских телохранителей.

По возвращении домой уже вечером, хотя и чувствовал я усталость и расслабление, однако чувства сии имели в себе некоторую приятность, происходящую от мысли: «Я устал, как устают все здоровые люди». В продолжение двух недель связь моя с Кронидом день ото дня делалась прочнее: я ни одним словом, ни одним взглядом не обнаруживал своего, пред ним начальства, да и кто я, чтобы без зазрения совести мог чиниться пред сыном первого человека в Малороссии после гетмана? Хотя и меня уверяют, что родители мои – люди благородные, но я и до сих пор не знаю, кто они такие.

Наконец время заточения моего миновалось; роскошный червец начал дышать под безоблачным небом^{28}, и Авдон отправился в Батурин с донесением, что я опять стал человеком, следовательно, могу

иметь с людьми обращение. В тот же вечер прискакал нарочный с письмом от Евареста, причем привезено богатое платье, сообразное с новым моим достоинством. В письме содержалось повеление на другой день поутру ехать в столицу и, никуда не сворачивая, прямо явиться во дворе гетмана. Сборы наши были невелики; с восхождением солнца облачился я в золотистую одежду, все вскочили на коней и полетели. Я чувствовал, что с каждым шагом, приближающим меня к городу, бытие мое оживляется. Мысли о блаженстве, какое вкушать буду, обнимая жену, сына и друга, занимали во всю дорогу душу мою и сердце. Какое-то рассеяние, близкое к упоению, к самозабвению, столько мною овладело, что я ничего не видел, ничего не слышал, что вокруг меня происходило, и не прежде опомнился, как раздался в воздухе звонкий голос Кронида: «Стой!» Я вострепнулся, осмотрелся и, к удивлению, увидел, что мы достигли уже чертогов гетманских. Тут-то вспомнил я приказание, никуда не заезжая, явиться прямо во дворе. Я сердечно благодарил Евареста за его предусмотрительность; ибо, если бы подле меня не было его сына и стражи, то, наверное, целый день рыскал бы по городу, не зная сам, где и зачем, а по наступлении ночи очутился бы в реке или буераке.

Вошед в приемную палату, я возбудил всеобщее

движение. Все обступили меня с приветствиями, поздравлениями. Иной удивлялся необычайным моим достоинствам, другой – чудесному счастью; сей превозносил великость моего разума, доказанного освобождением гетмана из плена, а тот отдавал преимущество сверхъестественному мужеству, с каким поразили я пана Бурлинского и тем сохранил на плечах гетманову голову. Словом, на сей раз все сделались самими красноречивыми витиями, и я начинал уже принимать важную осанку витязя, кидать вокруг величественные взгляды и несколько пасмурно кивать головою, – как пришел в себя, услыша, что отходившие в сторону поздравители, говоря между собою вполголоса, довольно явственно произносили: «Настоящий бурсак!» Как скоро сие магическое слово коснулось моего слуха, вдруг я с превыспренного неба ниспал на землю бrenную, на одну минуту задумался и после, неприметно вздохнув, сказал самому себе: «Vanitas vanitatum et omnia sunt vanitas!»¹⁴[\[29\]](#)

По прошествии довольного времени появился в палате Куфий. Он был очень пасмурен и шел медленно, смотря в пол и перебирая на руках пальцы; но как скоро меня приметил, то, приняв веселый вид, подбежал, обнял и, отведши на сторону, сказал:

¹⁴ Суета суетств и всяческая суета! (лат.)

– Поздравляю, друг, в новом звании, которое сделало бы много чести и седому воину. Я видел на опыте успехи твоей предприимчивости и мужества; а теперь посмотрю, сумеешь ли остаться великодушным при потере чего-нибудь важнейшего, чем голова наша! Как ты думаешь, Неон, есть ли для человека что-нибудь любезнее жизни? Что ж ты молчишь? Ин я скажу пояснее. Согласен ли ты будешь на предложение: лишиться рук, ног, глаз, ушей и в сем положении остаться жить? Ведь у тебя останется голова и брюхо: чего же более? Рот будет принимать пищу и питье, а желудок переваривать то и другое. Что за пропасть! ты все молчишь, изменяешься в лице, взор твой обнаруживает робость!

В сие мгновение вошел дворцовый старшина и объявил, что его высокоочие меня ожидает.

Глава IX

Важное открытие

Я шел за старшиною в чрезмерном смущении. Загадочные речи Куфия поразили меня, как ударом грома, и хотя я в полноте не понимал их, но предчувствовал, что должен буду лишиться чего-то драгоценного. «Что же может быть дороже жизни?» – спрашивал я самого себя. Невидимый голос во глубине души моей шептал: «Потеря свободы, потеря милой, любимой жены и залога любви пламенной!» Дрожь проникла во все составы моего тела; я хотел остановиться, но двери впереди нас растворились, я вошел, взглянул и едва не ослепнул. Хотя я в продолжение почти годичного служения при дворе и гораздо привык к пышности и великолепию, но подобных видеть еще не случилось. Против самых дверей у стены, на возвышении нескольких ступеней, стояли золотые кресла, осеняемые сверху балдахином из малинового бархата, вышитого серебром и золотом; по правую и по левую сторону кресел стояли небольшие столики, из коих на первом лежал обнаженный меч, а на другом – золотая булава, испещренная драгоценными камнями. По обе стороны сего возвышения стояли все находившиеся в Батурине полковники и старшины войсковые; поза-

ди великое множество телохранителей. Я стоял неподвижно и терялся в догадках.

Немного времени спустя боковые двери открылись, и гетман вошел в великолепной одежде; за ним последовали Еварест и Диомид, а позади всех тащился Куфий, на сей раз пасмурный, задумчивый. Когда гетман воссел на своем месте и усталились подле него Еварест и Диомид, а Куфий позади кресел, то первый, взяв булаву в правую руку, по некотором молчании, осмотрев величественным взором палату собрания, произнес голосом, хотя не гневным, но довольно строгим:

– Приблизься, Хлопотинский!

Действительно, тот из семи мудрецов древности^{30} был человек весьма опытный, который за верх ума человеческого поставил познать самого себя.

Наука сия тем труднее к изучению, чем кажется с первого взгляда легчайшею.

Когда я введен был в сию палату, а особливо когда появился гетман с полумрачным взором, с нахмуренными бровями, то я трепетал всем телом; когда же услышал голос судии: «Приблизься!» – то некий дух, живущий внутри меня, произнес громко: «Ободрись! разве ты злодей, что колеблешься предстать пред повелителем?» – Нечто животворное проникло все мои составы; мужество разлилось в каждой капле крови,

и я, твердыми шагами подошел к седалищу гетмана, повергся на колена.

Несколько мгновений он хранил глубокое молчание; потом, возвыся булаву, прикоснулся ею к моему темени и несколько ласковее произнес:

— Встань и выслушай внимательно; существо дела того стоит.

Я поднялся и, взглянув на своего повелителя взором неробким, отошел к стороне и остановился, опершись обеими руками на свою саблю. Гетман произнес:

— Ты, Хлопотинский, в течение прошедшей мало-временной брани оказал много истинных услуг отечеству, за что оно в лице моем и воздало тебе достойную награду. Теперь обвиняют тебя в преступлении, которое прощено быть не может. Не ты ли обольстил дочь Истукария в Переяславле? не ты ли довершил беззаконие, увезши ее с немалым отцовским имуществом, чем разрушил преднамеренный брак ее с достойным мужем? не ты ли, наконец, — к совершенной невозможности поправить семейственное расстройство — женился на беглянке против воли ее родителей, сродников и ближних? Ответствуй, Хлопотинский!

Я отвечивал с видом надежным и со взором негодования:

— Если все обвинения, тебе, державный гетман, против меня сделанные, заключаются в объявленных

тобою показаниях, то я считаю себя до такой степени невинным, что остаюсь совершенно покоен. Так, мне нравилась Неонилла, дочь Истукариева; я молод, неопытен и не успел избежать сетей, расставленных для моего обольщения. Я вместе с нею пробирался в Батурин, но не похищал ее, а только не имел сил ее оставить, к чему способствовала – признаюсь пред всеми – и моя к ней склонность, день ото дня возрастающая. Я принужден был на ней жениться, когда она доказала свою беременность и решилась сим единственным средством прикрыть общий стыд наш. Неужели я поступил бы согласнее с законами божескими и человеческими, когда бы, видя несчастную жертву любви и чувственности в столь жалком положении, кинул бы ее на распутье, предоставляя честь ее и жизнь на произвол случая и на решение отца жестокосердого?

Кротость изобразилась на лице и во взорах гетмана, все присутствующие были тронуты и, казалось, в мою пользу. После короткого молчания гетман произнес:

– Если верить словам твоим, то ты гораздо менее виноват, нежели как тебя обвиняют. Кто докажет нам справедливость твоих сказаний?

– Я, – воззвал Король, и бледное лицо его побагровело.

– Ты? – спросил гетман с удивлением. – Но какая могла быть связь между пожилым, почтенным мужем и молодым, опрометчивым человеком, а особливо в подобных обстоятельствах?

– Обстоятельства делают весьма много, – отвечал Король, а часто и совсем изменяют предположенный путь нашей жизни. Если благоугодно тебе выслушать, то я открою нить происшествий, за кои обвиняют Хлопотинского, и докажу, что все сказанное им в оправдание весьма справедливо.

Получив дозволение, Король воспламенился жаром юноши. Он рассказал, как познакомился со мною, как полюбил меня за кротость и чистосердечие, как удостоверился о тайне моего рождения. Он объявил причины, для коих ввел меня в дом Истукария, и как Неонилла, пламенная, влюбленная Неонилла умела воспользоваться неопытностью молодого, пылкого человека. В заключение рассказал он все обстоятельства моей скоропостижной женитьбы и кончил замечанием:

– Всего для меня удивительнее, что Истукарий, человек уже старый, а потому, думать должно, что опытный и богобоязненный, – я не коснусь здесь до собственного его поведения, – вместо того, чтобы радоваться и благодарить бога, окончившего дело сие, дело греховное, благим освящением церкви, он еще жа-

луется и не стыдится во всю Малороссию провозгласить свое посрамление, но не в том, что дочь его сделалась законною женою Неона, а что могла сделаться матерью, не будучи женою.

Все удивлены были красноречием, жаром, твердостью Диомида и силою его доказательств. Пользуясь молчанием, он спросил:

– Благоволи теперь, великий гетман, поведать, чего желает от тебя Истукарий?

– Он требует, – отвечал державный старец, – чтобы я дозволил ему дочь свою и с ее младенцем отдать на его волю до тех пор, пока брак ее с Хлопотинским не будет расторгнут; чтобы зять его до того времени содержа был в темнице под строгим надзором, дожидаясь, какое решение последует от духовной власти касательно дальнейшего наказания за столь явное нарушение священного права родителей. Признаюсь, мои воеводы и чиновники, что желание Истукария, яко отца семейства, кажется мне справедливым. Я сам был некогда отцом и до сих пор чувствую всю великость несчастья, постигшего меня от непокорства дочери, которую любил я более всего на свете и хранил, яко зеницу ока. Теперь я спрашиваю вас: согласны ли вы с моим мнением, которое есть последствие требования Истукариева?

– Нет! – сказал Диомид торжественно. – Я согла-

сен, что дети подлежат неограниченной власти своих родителей, пока их слабость и неопытность того требуют. Но ежели я, старый, дряхлый скряга, дочери своей, цветущей юностию и здоровьем, следовательно, от самого небесного раздавателя благ земных одаренной всеми способами наслаждаться счастьем жизни, предложу в мужья такого же старого, дряхлого скрягу, потому только, что он еще богаче меня, неужели я имею тогда право носить на себе священное право родителя? Неужели я сделаюсь угоден милосердому небу за то, что одно из его творений, возросшее с надеждою на счастье, сделаю злополучнейшим на лице земли?

Гетман изменился в лице, но Диомид, как будто того не примечая, продолжал:

— Но пусть я и смягчу свое заключение. Всякий отец и мать дают дитяти своему тело, но душу дарит господь. Если законы не противятся, чтобы родители указывали отрасли своей дорожку ко счастью по их умонастроению, то зачем вместе с сим отнимать у последней данное богом право следовать внушениям души своей и сердца? Итак, я полагаю: Неониллу, яко дочь Истукария, возвратить — отцу одну, без сына, ибо дитя не одной матери принадлежит. Истукарий может надзирать за нею, но со всею скромностию, как прилично с замужнею женщиною, которая, и по словам Святого

писания, принадлежит уже мужу, а не родителям, тем менее родителям вздорным, своекорыстным и детей своих почитающим меновым товаром. Пусть власть церкви разрешит будущую участь Неониллы! Что же касается до заключения в темницу и в оковы Неона, то я обращаюсь к тебе, великий гетман, обращаюсь к вам, полковники и старшины воинства, с вопросом: неужели будет справедливо, законно, богоугодно лишать света того мужа, который извлек из плена нашего повелителя? возлагать оковы на те руки, которые остановили меч, готовый разmozжить голову нашего гетмана? заставить томиться в неволе того, который, по благословению неба, дал свободу всему отечеству, поддержал, увеличил власть нашего повелителя?

Безмолвное изумление господствовало в палате, во взорах гетмана сияла нежность и умиление. Король продолжал:

– Итак, я полагаю: Неониллу, дочь Истукариеву, на объявленном мною условии возвратить в дом отеческий, ее отдать отцу, которого и оставить в полной свободе, доколе святая церковь не рассудит между ними. Гетман, после довольно продолжительного молчания, возвыся булаву, спросил:

– Что скажут на сие мои советники?

– Согласны! согласны! – раздалось со всех сторон. Тогда повелитель сказал:

– Надобно выслушать обвиняющего! Он дал знак, и дневальный старшина быстро устремился к углу палаты, завешенному ковром шелковым. Занавес распахнулся, – и кто опишет общее изумление и мой ужас! На стуле сидел Истукарий, бледный, изможденный. Своими руками щипал он на голове волосы и ерошил усы; пена белелась на губах, и глаза пылали, как у разъяренного зверя; от бешенства он дрожал всем телом и не мог подняться с места. Я отвратил глаза от исступленного изувера. Потеря Неониллы и предание ее в руки изверга затемняли мой рассудок.

Дневальный старшина с несколькими телохранителями взяли почтительно Истукария под руки и подвели к гетману.

– Успокойся, – сказал дружелюбно старец, – мужу в твои лета малодушествовать непозволительно. В третий раз, при собрании уже всего моего совета, предлагаю тебе, простив своих детей, сделать их счастливыми и тем осчастливить последние дни своей жизни.

– Никогда! – сказал Истукарий, скрежеща зубами.

– А если так, – продолжал гетман довольно строго, – то я утверждаю положение моего совета. Да возвращена будет Неонилла отцу своему, а сын ее останется при своем отце; с сим вместе Неон есть войсковой старшина полка моего имени, и особа его неприкосновенна!

– Правосудное небо! – сказал Истукарий задыхающимся от бешенства голосом, – у меня требуют согласия на утверждение союза ненавистного, посрамляющего голову мою срамом неизгладимым; меня убеждают признать своим сыном бурсака безродного!

– Какая кому надобность, – сказал с важностью гетман, – чем я и ты были прежде, нежели почтены настоящими достоинствами? Впрочем, по уверению особ, достойных всякого вероятия, Неон происходит от благородных родителей, а собственные его заслуги то доказывают!

– Все сии уверения достоверных особ, – сказал со стоном Истукарий, – суть личины, посредством коих думают они прикрыть свои злодеяния и остаться ненаказанными!

Глаза у Диомида заблистали, как раскаленные угли.

– Ах! – сказал он, ударя себя по лбу, – доказательства все в моих руках, и я должен молчать о них! Как несносно слышать хулы беснующегося, иметь возможность зажать ему челюсти, окаменить лживый язык – и молчать!

– Говори, Диомид, – сказал торжественно гетман, – буде что можешь сказать в опровержение слов Истукария противу тебя и твоего питомца!

– Великий гетман! – произнес Король, понизя го-

лос, – я не дерзаю сделать сего по крайней мере до удобного времени!

– Можешь ли ты найти к сему время удобнейшее теперешнего? Говори, я приказываю!

– Дай обещание твоего высокомочия, что слова мои будут приняты великодушно, и никакое мщение не поселится в душе твоей!

– Даю, но не простое обещание, а торжественную клятву, что до самой могилы, которая уже для меня разверзает зев свой, ни слух твой, ни зрение, ни одно из чувств оскорблены не будут, и ты навсегда останешься доверенным моим советником!

Король уподобился вдохновенному. Возвыся голос, он произнес:

– Вы слышали клятву повелителя, мужи именитые! Она решает узы языка моего. Итак, знай, великий гетман, что старшина полка имени твоего Неон Хлопотинский, избавивший тебя из плена иноземного, сохранивший на брани жизнь твою, есть – будь великодушен, гетман, как достойно мужу в твои лета с твоим званием, – он есть – еще умоляю тебя собрать всю крепость твоего духа, всю доброту твоего сердца, – он есть – внук твой, сын брата моего Леонида и дочери твоей Евгении!

Милосердый боже! Какое поражение разлилось в сердце каждого от слов сих. Гетман затрепетал, бу-

лава выпала из охладевшей руки его, голова склонилась к груди, глаза закрылись. Диомид и Еварест бросились поднимать его, я туда же устремился; сделал шага три, но колени мои поколебались, голова закружилась, сердце заныло, я обеспамятел.

Глава X

Надежда

Душа человеческая бывает иногда в таком состоянии, что хотя и чувствует бытие свое, но никак не может обнаружить одного посредством телесных членов, более уже ей непослушных. Теперь со мною то же случилось.

Пришед в себя, я очень чувствовал, что меня везут; обонял запах крепкого спирта, осязал трение висков и при всем том не мог открыть глаз, не мог пошевелить губами, ниже другим каким-нибудь членом. Наконец тяжелый, продолжительный вздох сделал перелом в телесном составе; сперва я открыл глаза и увидал себя в гетманской колымаге; подле меня стоял на коленях Кронид, держа в одной руке стклянку, а в другой грецкую губу; в ногах сидел знакомец мой велеречивый Авдон, давая наставления, как действовать сими снадобьями. На первый случай я довольствовался возвращением зрения и слуха и дал волю врачам своим действовать, как изволят. Вскоре потом я мог уже положить руку на сердце, и казалось, что трепетание его несколько ослабело; наконец, губы мои открылись, и я мог спросить довольно явственно:

— Куда мы едем?

– В самое покойное место, какое только можно отыскать в Батурине, – отвечал Кронид, – именно в дом полковника Диомида.

– Друг мой! – сказал я с умоляющим взором, взяв его за руку, – прикажи везти меня на край города, в дом черноморца Ермила; там найду я жену и сына, и одно из них воззрение уничтожит или по крайней мере уменьшит несносную скорбь души моей.

– Мне велел отец мой доставить тебя в дом Диомида, – отвечал Кронид с кротостию, – и я имею причину думать, что он лучше нас обоих знает, как поступать в подобных случаях. Ты скоро увидишься с Королем и можешь сделать ему предложение о перемене места жительства сам от себя.

Мы въехали на пространный двор и остановились у большого дома. Хотя я не чувствовал болезни, даже боли ни в одном члене, но был слаб до изнеможения. Дворецкий встретил нас у самого крыльца и помогал Крониду и Авдону вести меня до покоя, мне назначенного, из чего я заключил, что о прибытии моем дано знать предварительно. По велению Авдона, в таких случаях самовластного, меня раздели и уложили в постель.

– Милосердый боже! – сказал я вслух, – едва избавился я постели, опять меня в ней погребают!

– Что делать, – молвил Авдон, – и праотцы мои, сы-

ны Израиля, народ избранный, едва избавлялись одного плена, смотри – уж попадались в другой, тягчайший. На них находили черные столетия, а на тебя, как видно, нашел черный год; они терпели, потерпи и ты!

– Но они, – заметил я, – дотерпелись до того, что теперь и пейсов своих не могут считать прочною собственностью!

– Успокойся, Неон, – подхватил врач, – я не буду на сей раз мучить тебя лекарствами; все, что я предписываю, состоит в сохранении спокойствия, и если ты в точности исполнишь по рецепту, то завтра поутру будешь столько же здоров, сколько был сегодня до появления во дворце гетмана.

Я отвечал, что с сей же минуты хотел бы начать пользоваться по его советам, и оба мои провожатые удалились.

Оставшись один, я силился привести в порядок мысли, клубившиеся в голове моей подобно слоям густого тумана на долине, на которую нечаянный вихрь со всею силою опрокинулся. Я размышлял: «Итак, Неон, ты внук великого гетмана, следовательно, и малейшие дела твои сочтены будут величайшими отличиями. Без сомнения, тайну сию знали, кроме Диомиды, еще Еварест и Куфий, как мне о том и сказано; но гетман не имел в том ни малейшего подозрения, ибо в противном случае он мог действовать во вред мне или

пользу, не роняя булавы из рук и не лишаясь чувства: следовательно, я получил свои почести за действительные заслуги и не должен стыдиться пользоваться ими. Но в самое то время, когда враждующая судьба, казалось, обратила на меня взор веселый, злой дух мятежа, гордости и мщения посылает сюда ненавистного Истукария и внушает ему мысль отыскивать прав своих, может быть, не совсем неправильных, и я осужден лишиться моей Неониллы!

Нет, скорее откажусь я от родства с гетманом, от дружбы с дядею, чем от милой жены, матери моего сына, жены, пожертвовавшей для меня всем, чем только страстная женщина пожертвовать может.

Но почему знать, — продолжал я, повернувшись на другой бок, — может быть, гетман давно уже знал тайну моего происхождения и, намереваясь мщение свое к моим родителям сохранить — по собственным словам его — в пределах самой вечности, согласился возвысить одного меня, и на сей конец в столь короткое время возвел на такую степень, до которой многие поседевшие во бранях и глаз возвести не смеют. Может быть, он сам или по его желанию Еварест, Каллистрат, самый Король постороннем образом подпустили надменного глупца Истукария требовать возврата назад своей дочери и заключения меня в темницу! Для чего Король, защищая права мои, довольствуется толь-

ко избавлением меня от неволи, соглашаясь с первого слова на отдачу Неониллы во власть раздраженного отца ее? Боже! какой свет начинает окружать сумрак души моей! Для чего не хотели отвезти меня во время губительного помешательства в дом Ермила, где под скромною соломенною кровлею нашел бы я любовь, спокойствие, блаженство, а приволокли в сии пышные палаты, где, кроме тоски, скорби, горестного предчувствия, ничего не вижу, ничего не ожидаю!»

Утвердясь в мыслях, что я не что иное, как игрушка, как жертва честолюбия, своекорыстия и мщения, решился одним мигом прервать сии сети, оставить блеск, пышность, великолепие и, наслаждаясь одним семейным счастьем, кончить дни свои так, как и начал: в безопасной неизвестности! На что мне чипы и почести, сии обольщения слабоумных? Разве у жены моей нет столько имущества, чтобы, обрати оное в деньги и соедини оные с наличными, завестись в самом уединенном углу Малороссии маленьким домом с садом и огородом? Сам я свидетель, когда дядя мой, Диомид Король, был в Переяславле огородником, он всегда был здоров, весел и в пятьдесят лет казался двадцатилетним; но едва появился в столице, как заразительный воздух оной и его коснулся. Он сражался, — надобно отдать справедливость, — как отличный сын отечества, взошел на высшую степень достоин-

ства, исключая гетманское, и теперь посмотри, кто хочет, на Диомида! Целая переяславская бурса, узнававшая его за версту по одной только бодрой походке, теперь не узнала бы и в двух саженьях.

Вследствие сей решимости я встал с постели, оделся, вооружился и вышел на двор. Не успел я пройти и десяти шагов, как дворецкий нагнал меня, стал впереди с распростертыми руками и воззвал:

— Что это, пан Неон? Разве забыл ты наставления многоопытного Авдона?

— Он советовал мне хранить более всего свое спокойствие, — отвечал я, — но могу ли быть спокоен, лежа в постели, в совершенной неизвестности о семье своей?

— Однако ж, — продолжал дворецкий, — пан Диомид наказал мне чрез нарочного, чтобы я имел о тебе неусыпное смотрение, пока не оправишься.

— Ты видишь, — сказал я, — что иду, как человек здоровый, следственно, данное тебе приказание исполнено, и ты можешь заснуть без боязни.

Посторонись!..

— Никак! — отвечал верный слуга, — я принял тебя из колымаги гетманской и должен пану своему сдать руками. Почему знать мне, что ты прислан сюда спроста? Может быть, здесь только ждать будут твоего выздоровления, а после обкорнают уши!

– Ты верен своему пану, – сказал я полусердито, – это очень хорошо; но ты крайне глуп, это неладно. Посторонись, или я спихну тебя с дороги!

С сими словами я ударил по ефесу сабли рукою, дворецкий с криком от меня бросился в сторону, и я проворно вышел за ворота.

Великолепный дом Диомидов стоял лицом на один из базаров батуринских совершенно в противоположной стороне, взяв за основание палаты гетманские, от дома Ермилова, и я, дабы избежать всякой встречи с кем-либо из знакомых, взял большой круг и к скромному жилищу моей любезной жены пришел уже незадолго пред закатом солнечным. Может быть, медленность сия произошла оттого, что во всю дорогу я погружен был в сладкие мечтания, кружившие мою голову и нередко скрывавшие от глаз все мне встречавшееся; ибо сам помню, что не раз стучался головою о заборы или заходил в бурьян, кое-где на пустырях повывросший.

Долго и крепко стучал я в ворота, но не получал никакого отзыва. Я, конечно, мигом перелез бы через забор, ибо ухватки бурсацкие гораздо были еще мне памятны; но как приступить к сему в богатом платье войскового старшины полка гетманского, при дневном свете, в виду соседей и прохожих.

Это был бы явный соблазн, и после все сотники и

есаулы, не говоря уже о простых казаках, стали бы прыгать через заборы, извиняясь, что к сему побудила непреодолимая страсть одного к жене своей, другого к соседке, третьего к карману ближнего. Итак, по необходимости я ополчился терпением и уселся на лавке в ожидании кого-либо из хозяев или по крайней мере наступления ночи, чтобы без зазрения совести можно было, не входя в ворота, попасть на двор. Хотя положение мое было для нетерпеливого человека в мои лета довольно тягостно, однако не без примеси и удовольствия. «Наверное, — думал я на просторе, — Ермил с сыном, с женою и невесткою по каким-нибудь домашним обстоятельствам все разом отлучились, оставя одну Неониллу с своим малюткою и детьми Мукона. Чтобы не беспокоил ее какой-нибудь незнакомый посетитель или, и того хуже, знакомый, но неприятный, она заперлась наглухо, и, может быть, я уже не первый, стучавшийся у ворот понапрасну». — Успокоясь сими мыслями, кои казались мне самою достоверною догадкою, я то ходил вдоль забора, то сидел на лавке, попевая и насвистывая веселые песни.

Солнце закатилось, и на небе запылала заря вечерняя.

Внезапный шум обратил мое внимание. Оный происходил от толпы военных людей, позади коих ехали

две нарядные колымаги, каждая в четыре лошади.

Когда толпа сия ко мне приблизилась, то я тотчас узнал Дионида, Евареста и Истукария с Епафрасом. За ними следовала гетманская стража.

— Как, — спросил Король с некоторым неудовольствием, — и ты здесь?

Зачем?

Такой вопрос показался мне вызовом на сражение, если не саблями, то по крайней мере языками, и я отвечал голосом отрывистым:

— Будучи человек свободный, я думаю, что могу ходить по здешним улицам, где хочу, и отдыхать там, где вздумается.

Король понял состояние моего сердца и, взяв за руку, произнес дружелюбно:

— Я для тебя же хотел сделать лучше, удаля от Неониллы во время отъезда ее отсюда. Ты слышал мнение совета, утвержденное гетманом; оно непременно должно быть исполнено!

От слов сих пришел я в такое замешательство, которое походило на исступление. Мне мечталось, что впервые слышу о необходимости расстаться с Неониллою; я трепетал всем телом и не мог даже вздохнуть; грудь моя стеснилась. Истукарий сделал движение подойти ко мне, но я отскочил шага на три и быстро опустил руку на ефес сабли, Дионид и Ева-

рест стали между мною и Истукарием, и первый сказал:

– Не безумствуй, Неон, и успокойся! Разве философия твоя не говорит, что всякие намерения наши, как бы они твердыми ни казались, нередко изменяются или совсем исчезают! Ты был счастлив любовью жены своей; потерпи – и опять будешь таким же.

– Неон! – сказал Истукарий, и, к удивлению моему, голосом дружелюбным, даже нежным, – выслушай терпеливо, что скажет человек старый, никогда не забывавший о своем благородстве, приехавший сюда полон гнева и мщения и уезжающий с тишиною в душе и кротостию в сердце! Так! при одной ужасной мысли, что ничтожный бурсак дерзнул возвести преступные взоры на дочь мою, что обольстил ее, увез и женился, я страдал несказанно и жаждал крови. В сем расположении прибыл я в Батурин, предстал гетману, требовал мщения и твердо решил погибнуть, только бы и вас обоих низвергнуть в пропасть бедствия. Когда же узнал я, что кровь твоя не может обесславить крови моей, текущей в жилах Неониллы, когда сими почтенными мужами удостоверен, что ты законный сын знаменитого полковника Леонида и гетмановой дочери Евгении, то гнев мой мгновенно переменился в умиление, и я с радостью, с благодарною слезою к богу, устрояющему и самые проступки наши во благо, даю

отеческое благословение дочери моей, тебе и вашему сыну. Но, Неон, с того самого дня, как Неонилла с тобою скрылась, почтенное имя мое предано поруганию.

Оскорбленный, разгневанный Варипсав не хотел – сколько я и жена моя его ни умоляли – сохранить тайну, и все происшествие, столько для всего дома моего поносное, рассказывал всякому, и думаю, что если бы в городах наших, по примеру польских, устроены были книгопечатни, то стыд моего дома он распространил бы по всей Малороссии. Порчу сию надобно поправить, и в намерении моем согласны оба почтенные мужа сии, которых считать в числе моих приятелей поставлю за особенную честь и удовольствие. Я теперь же возьму с собою дочь, а маленький Мелитон останется в доме Евареста.

Неонилла будет жить в девическом тереме, и как скоро она любит и знает, что взаимно любима, то ей не будет тягостно провести несколько недель в разлуке с мужем и сыном, оживляясь каждую минуту надеждою показаться открыто в виде внуки великого гетмана. В это время получу я торжественное посольство от Никодима с просьбою о соединении Неона с Неониллою. Слух сей быстрее молнии разнесется во все концы Малороссии. Не знающие всего предыдущего будут радоваться, нашед случай повеселить-

ся; кому же оно известно, останется в недоумении, и пусть ломают себе головы, добираясь постигнуть истину.

Изготовя приданое, пристойное жениху и невесте, я отправлю ее в Батурин в сопровождении друзей моих и сродников, и по прибытии во дворец гетмана последует повсеместное объявление о бракосочетании знаменитых особ в дворцовой церкви, чего, разумеется, не будет, да и быть не должно.

Следующие затем пиршества заставят граждан мало думать о причинах, для коих гетман обвенчал своего внука не в соборной, а в своей домашней церкви. Хотя ты, Неон, по всему вероятно, не будешь иметь надобности в имении, но честь моего дома требует, чтобы дочь и зять могли обойтись во всякое время без помощи деда. Да! приданое Неониллы будет ее достойно.

От сих неожиданных утешительных слов грусть моя мгновенно пременилась в восторг радости. С почтением подошел я к Истукарию, стал на колени и облобызал его десницу. Он поднял меня, заключил в объятия и, проливая радостные слезы, сказал:

— Не правда ли, Неон, что сколь ни сладостны утехы любви, но всегда имеют в себе некоторую горечь, пока истинное благословение неба не увенчает их, а сие не иначе случается, как после благословения ро-

дительского!

Диомид, Еварест и самый Епафрас, забыв происшествие в Королевом огороде, накануне нашего выезда из Переяславля с ним случившееся, удостоили меня своих объятий.

Когда общий восторг несколько утишился, то Диомид спросил:

– Чему приписать, что Неон вышел из моего дома вопреки лекарского наставления; а пришед сюда, вместо того чтоб резвиться с милою женою, так долго не виданною, и пугать ее описанием богатырских своих подвигов, преспокойно погуливал по улице и напевал казацкие песни?

Я рассказал им, что уже более часа против воли занят был сим упражнением, но что на стук мой, на пение и свисты не получаю никакого ответа. Все крайне изумились и глядели друг на друга, не произнося ни слова.

Глава XI

Примирение

Истукарий, доселе надменный, вспыльчивый, мстительный Истукарий, при сих словах моих более всех всполошился. Диомид никогда не был ни мужем, ни отцом; Еварест имел большое семейство, но ему и на мысль не приходило когда-нибудь представлять лицо подобное Истукариеву, следовательно, оба были довольно равнодушны. Вот что значит хранить порядок! Если хозяин дома его не нарушает, то никто из домашних и подумать о том не осмелится. Мой тесть и сын его околотили руки и ноги, стуча в ворота, но ответа нет как нет, даже ни одна собака не лаяла.

Я почел за нужное прежнюю догадку свою сообщить присутствующим, и все согласились, что Неонилла заперта и не откроется прежде, пока не придет кто-либо из хозяев.

— Этого, может быть, доведется ждать долго, — сказал Еварест и дал повеление; один из телохранителей перелетел через забор и отпер ворота. Мы вошли на двор, и дикая пустота нас окружила. Осмотрев все комнаты дома, нигде и ничего не находили. Сметливый Епафрас кинулся в сарай и, возвратясь, донес, что ни брички, ни лошадей нет и следа.

Кто может описать тогдашнее наше положение! У Истукария потемнели глаза от выступивших слез и от тяжких вздохов остановилось дыхание. Диомид и Еварест с горестным безмолвием взглядывали друг на друга и, не находя слов, в замену того закручивали усы и потирали то лбы, то затылки. Что касается до меня, то, смотря на одни пустые подставки, на коих расположена была постель Неониллы, на корзину, служившую люлькою моему сыну, я не мог сохранить мужества, не оставлявшего меня в минуты, когда в жестокой битве готовился оставить жизнь и все счастье, меня к ней привязывающее.

— Неонилла! Где ты? — возопил я болезненно, повергся на сосновые доски и зарыдал неутешно. Я слышал, что Истукарий всхлипывал, Король ломал на руках пальцы, Еварест вздыхал и томным голосом проносил:

— Что бы это значило? Куда деться Неонилле и всему семейству Ермилову?

Шурин мой Епафрас на малые дела был человек превеликий. Видя, что ночь наступила, а все мы довольствуемся слезами, вздохами и восклицаниями, он расчел, что такая духовная пища самый худой ужин. Мы немало подивились, когда, по прошествии двух горестных часов, комната наша вдруг осветилась дюжиной горящих свеч и четыре телохранителя внес-

ли большой стол, уставленный разного рода кушаньями, на конце коего возвышалась просторная корзина с напитками.

— Что это такое? — спросил Истукарий, утирая усы, — Батюшка! — отвечал сын с улыбкой самодовольствия, — видя вас всех в таком неприятном положении, я вздумал кое-что не худое. Сестры моей здесь нет, но это не значит еще, что ее нигде нет. Она всегда была пылка, нетерпелива, и так не диво, что, сделавшись женою и матерью, стала еще пыльчее, нетерпеливее! Узнав о появлении нашем в Батурине и не предчувствуя ничего доброго, а сверх того, быв в разлуке с мужем и не зная, когда с ним соединится, она поступила так же решительно, как в хуторе, что подле села Глупцова, и уехала в безопасное место в ожидании развязки.

— Ты рассуждаешь нарочито здраво! — воскликнул Диомид, — и стоишь, чтобы старый воин обнял тебя дружески. Точно так! испуганная Неонилла где-нибудь скрывается поблизости, а где именно, то хозяева здешнего дома должны знать непременно, а что знают они, то будем знать и мы. Епафрас! ты в этот вечер разумен беспримерно; а если молодой человек устоит твердо там, где старики пошатнулись, то надобно думать, что в нем прок будет.

Слова сии гордому Истукарию, влюбленному в сво-

его сына, крайне показались милы; он дружески пожал руку у Диомида, подал другую Еваресту и, усадив обоих за стол, сел сам и сказал с веселою улыбкою:

– Ну, так и быть; пусть теперь погрузит, пусть поплачет наша Неонилла; тем утешительнее для нее будет, когда узнает, что отец ее ни о чем столько не думает, как устроить ее счастье не по своему уже, а по ее собственному умоначертанию. Спасибо, Епафрас, спасибо, друг мой! По мере любви твоей к сестре и я с матерью расположим к тебе любовь свою. Поступай и впредь сколько можно благоразумнее и ни на одну минуту не забывай, что ты одноутробный брат внуки великого гетмана! Вот, – продолжал он, подавая сыну полную горсть злотых, – отдай это телохранителям, и пусть себе идут, куда знают: а мы, почтенные друзья, и ты, любезный зять, кое-чем за сим столом позаймемся.

Уже с полчаса мы ликовали и всякий на свой вкус строил воздушные замки, как дверь отворилась и пред нами предстал старик Ермил. Не знаю, отчего только все пришли в некоторое замешательство. Вероятно, случилось сие от нечаянности, ибо в сию ночь мы никого уже к себе не ожидали.

– Ба! – вскричал весело Диомид, – откуда ты, Ермил, и где твои домашние?

– Милостивый наш пан! – отвечал Ермил, покло-

нясь в ноги, — как же я рад, что опять сподобил бог видеть тебя здоровым! Во время болезни я каждый день приходил в дом твой осведомиться; но упрямый жид Иоад наказал строго всем слугам, чтоб никого к тебе не допускали. Сегодня затем же прибрел я в город; завтра поутру был бы у тебя, и...

— Но ты забываешь, — вскричал Король, — отвечать на первый вопрос мой.

По всему видно, что ты избрал себе новое жилище.

— Напротив, — отвечал Ермил, — я переселился на старое, где служил тебе лет за двадцать!

— Как! ты опять на моем хуторе? Что тебя к сему принудило?

— Я скажу тебе много нового, но не теперь!

— Ничего, ничего; сей почтенный пан, которого вид, вероятно, оковывает язык твой, сделался нашим другом и охотно признает Неона своим зятем.

Расскажи нам все, что знаешь о Неонилле и ее сыне.

Истукарий подтвердил слова Диомидовы и обласкал Ермила, а черноморец сей, сделавшись доверчивее, начал рассказывать следующее:

— По удалении вашем в поход Неонилла только что скучала, впрочем, была здорова и по временам играла с своим сыном. Первая весть, нас поразившая, была о разбитии нашего воинства и пленении гетмана.

Неонилла зарыдала, и весь свет ей опротивел. «Если уже и повелитель, – говорила она, – не избежал плена, то как может уцелеть простой сотник из числа его телохранителей?»

Вскоре появление здесь воеводы киевского поселило в сердцах наших надежду, и мы беспрестанно молились богу о сохранении особ, столько для нас любезных. Прибывшие сюда с израненным Диомидом опять нас встревожили. От них узнал я, что когда отправлялся Король, то сражение еще не кончилось, но по всему вероятно победа должна оставаться на нашей стороне. Так и вышло.

Гетман и воинство возвратились в столицу, но Неона не было, и бедная Неонилла впала в отчаяние. Раз двадцать в день бегал я то во дворец, то в дом Диомиды, чтобы проведать что-нибудь достоверное; однако ж везде должен был довольствоваться одними догадками и, возвратись домой, терзаться душевно, смотря на страдания отчаянной Неониллы. Она всегда была одна и даже не допускала Анны, упрекая бедную женщину излишнею ветреностию. Ей казался тогда всякий безмерно веселым, кто не рыдал и не рвался. Тот подлинное горе!

В один день Неонилла сказала: «Добрый Ермил! вот двадцать червонцев; отдай их врачу Иоаду и попроси его ко мне». Я полетел к дому Диомидову, вы-

ждал, как жид вышел за ворота, отдал деньги и смиренно просил посетить больную женщину в моем доме. Кого не заманит к себе золото! Почтительно ввел я знаменитого еврея в сию самую комнату, усадил его под образами, и Неонилла предстала к нему с младенцем на руках. «Сын Израилев! – сказала она томным голосом, – благодарю тебя за посещение; но лекарства твои мне ненадобны. Одного слова довольно, чтобы или исцелить меня, или повергнуть в могилу. Ты пользуешь Диомида Короля, а потому надеюсь, что знаешь участь искренних друзей его, бывших на брани. Скажи мне истину, заклинаю тебя всевышним! Не знаешь ли чего-нибудь о Неоне Хлопотинском, сотнике гетманского полка?» Жид взглянул на нее ласково, улыбнулся и спросил: «А кто дал тебе право о сем любопытствовать?» – «Этот младенец!» – вскричала Неонилла, подняв вверх своего сына, и слезы полились ручьем по бледным щекам ее. «Понимаю, – сказал жид, – и чем могу готов услужить тебе, только и ты лишнего не спрашивай. Так, не только видел я сотника Хлопотинского, но сам перевязывал его раны. Божусь тебе десятисловием^{31}, что если муж твой соблюдает наставления мои, то раны его нимало не опасны. Сильный вельможа при здешнем дворе держит Неона под своим покровительством. В одном из загородных его поместьев пользуется больной, и для

надежнейшего в сем успеха я отпустил с ним лучшего из учеников моих. Где же именно лечится муж твой, я не знаю, а хотя бы и знал, то не открыл бы ни за пятьдесят червонцев. Ты молода, горячо любишь своего мужа, из чего заключаю, что недавно замужем и брачное состояние вам еще не надоело, – и верно, не утерпишь, чтобы с ним не повидаться, а это-то самое и будет для него губительно, как некогда в старину свидание Орфея с Евридикою в пропастях ада.

Ты умертвишь мужа, а все припишут то неискусству или небрежению Иоада.

Уверяю тебя моею честью и клянусь неприкосновенностью пейсов, что сотник Хлопотинский вне всякой опасности; не подвергай же и ты его опасному искушению – сиди дома и нянчись с дитятею».

С сими словами жид, поправя еломок, степенно вышел, и Неонилла оживилась. В несколько дней глаза ее получили часть своего блеска, щеки просияли слабым румянцем; она иногда улыбалась и начала понемногу принимать участие в семейственном удовольствии. Мы все возложили надежду на благость промысла и терпеливо ожидали выздоровления Диомида и Неона, особ столько необходимых для нашего счастья.

Недели две пред сим, или около того, я заметил, что сии паны, – продолжал Ермил, указывая на Исту-

кария и Епафраса, – что-то очень часто похаживают около ворот моего дома и пристально посматривают на окна.

«Видно, какие-нибудь знакомцы моих гостей», – думал я и догадку сию открыл Неонилле, сделав предложение пригласить пришельцев. Но как же удивился, когда, описав сколько можно точнее приметы обоих любопытных, увидел, что Неонилла побледнела, задрожала и так ослабела, что я выхватил из рук ее дитя, боясь, чтоб она его не уронила. «Милосердый боже! – сказала она томным голосом, – это отец мой и брат! Если бы они прибыли сюда с добрым намерением, то зачем не посетить меня, а бродить скрытно по улицам? Всего вернее, что непримиримый отец, зная об отсутствии моего мужа, выжидает только случая, чтобы слабую, беспомощную женщину похитить и на всю жизнь заключить в каком-нибудь уединении».

Она погрузилась в размышление, а я стоял молча и спустя вниз голову и руки. Мне и самому казалось, что предчувствие Неониллы основательно, но не знал, как избавить ее от угрожающей опасности. Вдруг, к немалому удивлению моему, она бодро встала на ноги, глаза ее заблистали, щеки запылали, и, доселе томная, изнеможенная, теперь сказала твердым голосом: «Ермил! доверши свое к нам доброхотство и отпусти со мною на неделю или на две сына

Мукона с невесткою. Мне надобно иметь безопасное убежище, и я такое знаю.

Половину моих денег оставлю на твое сбережение, равно как все дорогие вещи и платья. В эту же ночь и отправлюсь отсюда!»

Хотя такое предприятие показалось мне весьма скоро заключенным, мало обдуманном, но, не находя основательных причин противоречить оному, я согласился. В тот же день на данные деньги купил четырех добрых коней, – ибо те, на коих сюда приехали, при самом водворении в сем доме были проданы, – снарядил сына и невестку по-дорожному и по закате солнца начали укладываться.

Во все продолжение дня Неонилла старалась казаться твердою, веселою; и хотя иногда слезы навертывались на глазах ее, но как скоро примечала, что кто-нибудь из нас то видел, вдруг улыбка появлялась на губах ее, она прижимала к груди сына, и спокойствие просиявало на лице ее.

Настала полночь; Неонила взяла дитя на руки, усердно помолилась богу, обняла Глафиру и ее внуков и, обратясь ко мне, сказала: «Благодарю тебя, добрый Ермил, за гостеприимство! С возвращением Мукона и Анны ты узнаешь, где я. Как скоро прибудет сюда Неон, скажи ему, что я должна была искать себе безопасного убежища, надеюсь найти таковое и про-

буду там до тех пор, пока он не приищет другого, без-
опаснейшего». После сего она села с Анною в бричку,
Мукон взмогнулся на козлы, и лошади двинулись. Я
решился провожать любезную гостью до самого рас-
света, почему с вечера еще приговорил себе в сопут-
ники соседей – кузнеца Аммоса и бочара Луку, и в сем
порядке все со двора съехали. Когда я, при занятии
зари, поворотил коня назад, то Неонилла, Анна и мла-
денец спали глубоким сном. Мукон взмахнул кнутом,
и доселе довольно тихо ехавшая бричка быстро пока-
тилась по дороге к Пирятину.

– Вот все, – продолжал Ермил, – что я знаю; а как
возвратится Мукон, то проведаешь что-нибудь и по-
больше. Вскоре, по возвращении гетмана с воинством
из похода в Батурын, всем известно стало, что имение
твое, Диомид, поступило опять в твое владение; по-
чему я с женою и рассудили переселиться в прежний
наш хутор и до совершенного выздоровления добро-
го пана всеми мерами стараться поправить то, что в
продолжение более двадцати лет порчено было. Те-
перь, благодарение богу, ты, Диомид, здоров, я тебя
вижу и буду ожидать повеления оставаться ли на ху-
торе или опять переместиться в город.

Ермил замолчал. Мы все посматривали один на
другого и, не находя слов, потупляли глаза в землю.

Глава XII

Великодушный разбойник

Такое неприятное положение дел разлило при-
скорбно и уныние в сердцах наших. Казалось, что Ер-
мил рассказом своим умножил беспокойство каждого.
Я трепетал об опасностях, какие могут встретиться с
Неониллой в дороге.

Мукон, конечно, малый честный и добрый, но он хо-
роший огородник и худая защита для женщины, под-
падающей опасности. Истукарий вздыхал и морщил-
ся, и изо всего нашего общества один Епафрас был
так великодушен, что без всякой остановки ел и пил
преисправно, как будто бы речь шла не о сестре его, а
о какой-нибудь китайской принцессе. Король первый
прервал молчание вопросом:

— Что же вы, паны, задумались? Разве забыли пре-
красное замечание Епафраса, что если Неониллы
здесь нет, то это не значит, что ее уже нигде нет! При-
помните, что она по своему усмотрению избрала се-
бе убежище и, вероятно, проживает там в совершен-
ном довольстве и спокойствии. Мукой возвратится,
мы узнаем всю тайну, и я с Неоном поскачем стрем-
глав утешить унылую красавицу и приготовить ее к
свиданию с родителями, возвращающими ей любовь

свою, и с прочими людьми, кои не могут уже отказывать ей в должном почтении. Выпьем-ка за здоровье милой беглянки с ее сыном по полному кубку доброй наливки и перестанем задумываться, когда все обстоятельства дадут нам повод к веселию.

Предложение сие всем обществом одобрено; мы придвинули к себе сулеи и начали веселиться прямо по-свадебному. Быв сильно заняты своим предметом, мы и не заметили, как солнце осветило чертог пиршества. Тогда, встав из-за стола и принеся господу богу благодарение за ниспослание великих щедрот своих, постановили: Неону поселиться в доме Диомида и, несмотря, что гетман захворал и не допускает к себе никого, кроме Евареста, Иоада и Куфия, на следующий день начать отправление службы и являться во дворце с возможным равнодушием, как будто бы ничего не бывало. Истукарию с Епафрасом жить на своем подворье, посещать кого хотят, но во дворец не являться ни ногою, пока не последует на то особого повеления. Диомиду дожидаться выздоровления гетмана или по крайней мере облегчения, и тогда начать действовать со всею возможною ревностию для приведения всего к желанному концу. Ермилу, согласно с его охотою, расположиться навсегда в хуторе с своею старухою; а как скоро возвратится Мукой из путешествия, то занять ему с семьей своею городской дом и

хозяйничать в нем по примеру отца. Наконец, чтобы и Епафрас молодых лет не проводил в праздности, то каждое утро являться ему на гетманский луг и там, под начальством старшины Неона, готовить себя заблаговременно ко всем воинским ухваткам. По заключении сих условий мы обняли друг друга и разошлись по своим жилищам.

Я проснулся незадолго до полудня и, узнав, что Король в саду, пошел и сам туда, дабы освежиться воздухом и разгулять все последствия пиршественной ночи. Соединясь с своим дядею и другом, я поздравлял его с благополучным выздоровлением от столь опасной раны и желал ему возможного счастья за его ко мне благодеяния.

— Конечно, — отвечал он, — я кое-что доброе для тебя сделал и постараюсь сделать еще более; но советую тебе — не будучи неблагодарным — не слишком выхвалять меня: ибо с того времени, как впервые увидел тебя в доме Мемнона, я действовал уже в пользу твою несколько пристрастно. После вчерашнего объяснения моего с гетманом тайна моя сделалась открытою. Так, отец твой, мой любезнейший друг, есть вместе двоюродный брат мой; и отцу его, почтенному полковнику Калестину, обязан я воспитанием, удачным прохождением службы и всем добрым, если только есть во мне что-нибудь доброе!

– Сколько меня радует, – вскричал я вне себя от радости, – что нахожу в тебе дорогого дядю, но откровенно скажу: для меня отраднее, что прежде открытия родства нашего я имел счастье найти в тебе благодетеля, друга!

– Да, – отвечал Король, обняв меня с нежностью, – я твой дядя, друг, товарищ и на тебе хочу оказать благодарность мою к твоему деду! Твоя правда, я полюбил тебя гораздо прежде, нежели знал, что ты – мой племянник; но когда сие родство сделалось мне известно, то любовь моя усугубилась, и я дал клятву наблюдать за тобой, как за родным сыном. Признаюсь, что связь твоя с Неониллою мне крайне сначала не нравилась, а особливо женитьба; но, рассудя обстоятельство, я утешился, признав, что, видно, судьбе того хотелось, по времени же любезность и множество добрых свойств жены твоей меня совершенно примирили с нею, и я смотрел уже на нее отеческими глазами.

– Неужели и теперь, – сказал я с видом умоляющего, – не удостоюсь я получить достаточное сведение о моих родителях и о тех препонах, кои доселе лишали меня счастья обнять их колена и слышать название сына?

– Ты скоро обо всем будешь уведомлен, – отвечал дядя Король, – но дай мне еще несколько оправиться

и мысли свои привести в порядок. Притом согласись, что хотя отец твой двоюродный мой брат и друг, но все не должен я тайны его, может быть, погрешности и даже пороки вверять другому, хотя бы и сыну. Завтра я пошлю к нему письмо, в коем объясню все настоящее положение наших дел и испрошу согласие на открытие тебе происшествий, кои были для него временно то счастливы, то бедственны. Ты можешь писать к благодетелю твоему Мемнону, ибо мой посланный будет проезжать мимо его хутора.

На другой день я вступил в исправление своей должности. Епафраса, не преминувшего явиться на гетманском лугу, поручил я старому опытному есаулу, который должен был приняться порядком, чтоб сделать из него что-нибудь похожее на человека и на воина. Во дворце виделся я с Куфием и к нелицемерному прискорбию узнал, что хотя гетман и не болен, но и не здоров; что часто вслух произносит имена Калестина, Леонида и Евгении, делается угрюм и по временам восклицает: «Возможно ли? Боже мой!» Когда ему объявлено, что я начал исправлять новую должность с примерным рачением, то он отвечал: «Это хорошо, пусть продолжает, но я не прежде его увижу, пока совершенно не оправлюсь». Такую предосторожность Иоад назвал премудрою. Мне ничего не оставалось, как ждать и на досуге льстить воображению,

представляя себе ласки родителей и нежные объятия Неониллы.

На третий или четвертый день после примирения моего с Истукарием, как скоро встали мы с дядею из-за обеденного стола, вошедший слуга объявил, что какой-то незнакомый казак, называющий себя Мукон-ном, желает с нами видеться.

— Мукон! — вскричали мы в один голос, — где он? сейчас введи его!

Мукон был представлен, и недовольный вид его разлил трепет в моей внутренности. Я окаменел и не осмелился сделать ему никакого вопроса. Дядя, который также казался несколько смущенным, но, не имея причины столько тревожиться, как его племянник, велел Мукону подробно уведомить, где и в каком положении оставил он Неониллу.

— Увы! — отвечал сын Ермилов, — я оставил не одну Неониллу, а вместе с нею и мою Анну, а к большей печали — в руках весьма ненадежных. Выслушайте: Я так исправно ехал, что через три дня миновал Пирятин и, по приказанию Неониллы, пустился по дороге к Переяславлю. Верстах в тридцати от сего города, к несчастью, ночь настигла нас в поле. Что бы нам тут же и заночевать, свернув немного в сторону с большой дороги, как я и советовал; но Неонилла и Анна решительно велели ехать в селение, находя для

себя опасным, а для дитяти вредным проводить ночь под открытым небом на безлюдье. Я пустился далее; ехал, ехал и наконец сам догадался по обширному лу-гу, где и следа человеческого видно не было, что сбился с дороги. Я задумался, вожжи были опущены, и лошади шли шагом. Не прежде я опомнился, как ужасный голос загремел в ушах моих: «Стой! Что за люди?» Я поднял голову и увидел, что человек с полсотни или и более стояли впереди и держали уже лошадей. Тотчас догадался я, какого звания должны быть сии ночные стражи. Чуб у меня стал дыбом и на сердце легла ледяная гора. «Что у тебя в бричке?» – спросил один из витязей. «Знатная госпожа, – отвечал я голосом, похожим на шипение змеи, – с дитятей и служанкой!» – «Весьма хорошо!» – вскричали все и подняли хохот такой неумеренный, что путешественницы проснулись и Анна высунула голову. «Знатные госпожи не ездят в дорогу без доброго запаса», – заметил один, вскочил на козлы, дал мне позатыльщину, от которой я слетел на землю, а сам начал править лошадыми. Первая Анна подняла вопль, и такой, что у меня в ушах зазвенело.

Потом я слышал голос Неониллы, ее ободряющей. Я сам непременно зарыдал бы, если б не боялся быть награжден за сие насмешками и оплеухами от своих сопутников. Вскоре показалась Неонилла и кротким

голосом спрашивает: «Куда едете?» – «Видишь ты, знатная госпожа, – отвечал один из шайки, по-видимому, начальник сего отряда, – так следует тебя представить также немаловажному господину. У нас такой устав, что всякая находка, хотя бы копеечная, должна прежде представлена быть пану Сарвилу, и он уже или дарит ею кого из пас, или к себе прибирает, как изволит!»

«Сарвилу? – спросила Неонилла довольно равнодушно, – так Сарвилом называется ваш начальник?» – «Ага! видно, и ты о нем наслышалась!» – сказал один из витязей и начал издеваться. Шутки, самые глупые, сыпались у них как из мешков; впрочем, ни один и не подходил близко к бричке, не пялил глаза на сидевших в ней женщин и ни одним словом не приводил их в краску. Словом, разбойники, – они показались мне довольно благочестивы. Взошло солнце, мы въехали в лес, которому и конца не видно было; шатались со стороны на сторону, то вперед, то назад, и не прежде как спустя около двух часов нахождения в лесу очутились на обширной полянке пред большим шатром. Мы остановились; двое из провожатых тотчас бросились под шатер, а прочие стали в два ряда по сторонам брички. Всего мудренее для меня показалось, что Неонилла не обнаруживала ни малейшего беспокойства, между тем как моя Анна утопала в

слезах и задыхалась от вздохов.

Не прежде как через полчаса появился из-под шатра преужасный мужичинище в сопровождении одного молодого человека. Они подошли к бричке, и первый, поклонясь учтиво Неонилле, сказал: «Советую быть покойною и ничего не опасаться. Я прошу посетить мое жилище и разделить мой завтрак».

Тут подал он руку Неонилле и пособил ей сойти на землю с сыном, товарищ его сделал такую же честь жене моей, и мы все пятеро вошли в палатку. На лице атамана начал я примечать некоторое беспокойство; он часто взглядывал на Неониллу, потирал себя по лбу, собирался что-то сказать – и молчал. Наконец Неонилла с легкою улыбкою сказала: «Кажется, пан Сарвил начинает узнавать меня!» – «Клянусь моею жизнью, – вскричал он, – что я тебя когда-то видел, но не могу припомнить, где и когда!» – «Ты не забыл еще, – продолжала Неонилла с приятностию, – друга молодости твоей бурсака Неона и приятеля его Диомида Короля, которые без малого за год перед сим...» – «У меня здесь гостили, – заревел Сарвил, ухватился обеими руками за усы и, выпяля глаза, продолжал весело:– Так, теперь узнаю тебя! ты – жена Неонова, а это, верно, дитя твое!» Тут с величайшей учтивостию усадил он гостью на лавку и сказал: «Благодарите все бога, что попались в руки людей моих, и оттого

останетесь целы и все ваше с вами. Я проведаль, что из Переяславля и Пирятина высланы для поимки нас сильные военные отряды; если бы вы с сими честными господами повстречались, то продолжать бы вам путь свой пешком и – без копейки».

Неонилла коротенько рассказала ему о своих обстоятельствах и просила, чтобы он не отказал ей в провожатых из лесу, которые бы поставили нас на дорогу к Голтве. «На что тебе лучшие проводники, как я сам и этот есаул Арий? Так! мы сейчас отправляемся в наш женский стан, где и отобедаем. Там я вверю тебе некоторую тайну и буду просить помощи, надеясь, что ты в ней не откажешь».

Когда по приказанию атамана Арий ввел в шатер всех сотников и есаулов, бывших налицо в стане, то он сказал: «Эта особа есть жена моего старинного друга. Вам известно но наше положение. Надобно приискать надежное место, которое в случае неудачи могло бы служить для нас крепостию. Для сего отправляюсь я с Арием, а между тем выпровожу сию госпожу из нашего леса.

Может быть, я промедлю в своих исканиях сутки или двои, то на сей конец тебя, Урпассиан, назначаю начальником до моего возврата. Объявите о сем всенародно, пока я в стане».

Все, кроме Ария, удалились. Тогда Сарвил продол-

жал, обратиться ко мне: «Ты, молодец, получишь от меня лошадь, проводника к Пирятину и нужное количество денег на дорогу. По прибытии в Батурин расскажи Неону и Королю, что видел и слышал, и уверь их моим именем, что Неонилла так же у меня безопасна, как бы с ними вместе. Ей нельзя пробыть без служанки, и потому твоя жена на время при ней останется».

После сего он уединился с Арием в особое отделение, где и пробыл около часа, а между тем стол уставлен был кушаньем и напитками. Наконец атаман явился с есаулом, оба вооруженные с ног до головы, и все сели за стол.

Сарвил уговаривал Неониллу подкрепить себя пищею, но она решительно отказалась; зато я, промучавшись всю ночь на козлах, чувствовал сильный голод и жажду и, видя такого доброго хозяина, не дожидаясь приглашения и, поклонясь атаману, принялся за еду; Анна мне последовала.

По окончании сего завтрака Сарвил встал, высыпал на стол изрядную кучу денег золотых вместе с серебряными и сказал: «Вот тебе на дорогу!» После сего все мы вышли на полянку.

Неонилла с Анной сели в бричку, Арий взмостил-ся на козлы. Сарвил взлетел на прекрасную верховую лошадь и сказал мне: «Скажи Неону, что я скоро буду писать к нему, и еще уверь, что его жена на меня не

пожалуется».

Неонилла раз десять подзывала меня к бричке, на-казывая объявить тебе, Неон, чтоб ты не печалился и что она приложит все старания как можно скорее с тобою соединиться. После сего Сарвил поехал на восток, бричка за ним покатилаь. Мне также подвели не худого иноходца; я уселся и поехал на запад в сопровождении двух витязей. Из лесу выехал я скорее, чем въезжал в него, и пустился по указанной дороге. До самой столицы не случилось со мною ничего примечательного. Все золотые деньги и большая половина серебряных у меня в кармане, и вообще я очень был бы доволен своею поездкой, если бы не печалила меня разлука с моей Анною.

Часть четвертая

Глава I Раскаяние

Повествование Мукона растерзало сердце мое. И подумать даже ужасно: жена осталась в руках разбойничьего атамана! Сколько бы он великодушен ни был, но все разбойник и на пространстве десяти верст окружен такими же собратами. Однако ж он сказал, что будет иметь в Неонилле надобность, и все поведение сего человека во время бытности там Мукона довольно доказывает, что он не есть обыкновенный злодей, а более несчастливец, сияющийся выпутаться из сетей, в кои повержен злыми обстоятельствами. Если бы я знал, что он остался на месте, то кто удержал бы меня искать его? При расставанье с Муконом он объявил, что на несколько даже дней оставляет притон свой, и в такое время когда все ожидают нападения со стороны раздраженного правительства, — это много значит. Дядя утешил меня несколько замечанием, что Сарвил не имел никакой надобности так чинно поступать с Неониллою, если бы не располо-

жен был вести себя по христианской совести. Мукону приказано немедленно отправиться в хутор к отцу и не являться в город, пока не будет призван. Разумеется, что происшествие с Неониллою надобно было скрыть от Истукария. В продолжение болезни гетмана Куфий посещал нас нередко, и от него узнали мы, что повелитель все еще не решился признавать меня за внука, хотя утверждает, что не даст прощенья ни зятю, ни дочери.

— Не унывай, молодец! — продолжал весело старик, — если человек не совсем глупый остановится на распутье, чтобы размыслить, идти ли вправо или влево, то наверное выберет лучшую дорогу. Что же касается до дальнейшей участи твоих родителей, то не знаю, что и придумать. У меня в часы скорби, от которой не уйдет и греческий философ, одно утешенье: бог строит все к лучшему! Будем же молиться и надеяться!

Истукарий каждый день навещал нас и осведомлялся о Муконе, но всегда получал отрицательный ответ, морщился и должен был утешаться, глядя по голове Епафраса. Так прошло около двух недель после возвращения Муконова, и в первую пятницу благодатного серпена¹⁵ получено повеление: полковнику Хорольского полка Диомиду и войсковому старши-

¹⁵ Старинное название месяца августа.

не полка гетманского Неону в следующий воскресный день, по окончании литургии, явиться во дворце гетмана. Известие сие кинуло меня в жар; но Король, со всем хладнокровием посидев несколько минут молча, сказал:

— Это воскресенье или должно кончить все беспорядки, или ход дела запутать столько, что оно не иначе может быть распутано, как смертью. Тогда и я умою руки свои. Приближилось время, в которое ты, Неон, должен быть решительнее, чем на сражении с неприятелями. Ты, конечно, существуешь теперь сам по себе, но никогда не должен забывать о тех, коим обязан жизнью. Они не имеют нужды ни в чем, кроме родительского благословения, а сей недостаток для людей чувствительных, даже и не христиан, велик чрезвычайно, и уничтожить оный можешь только ты или никто! Справедливость требует, чтоб ты знал обстоятельство тех особ, о счастии коих обязан стараться, как о своем собственном или и более. Завтра поутру уединимся мы в одну из беседок моего сада, и там-то узнаешь ты судьбу благородных твоих родителей.

Под вечер того же дня, когда я и дядя Король сидели вместе и рассуждали каждый по-своему о предстоящем свидании с гетманом и о последствиях оногo, вошедший слуга объявил, что какой-то незнакомый черноморец стоит у ворот и хочет с нами повидаться.

– Пусть въедет на двор и войдет сюда, – сказал дядя Король, – здесь лишнего никого нет.

– Но он этого не хочет, – отвечал слуга, – а просит, чтобы вы оба потрудились выйти к нему за ворота.

– Это походит на диковину, – отвечал дядя, – но почему и не так? Пойдем, Неон, открывать таинства. Чем мы плоше старинных богатырей, храбро сражавшихся с ведьмами и оборотнями без всякой цели, из одного только любопытства.

И действительно мы нашли средних лет всадника в черноморском платье, видного собою. Он подъехал к нам, соскочил с коня и, почтительно поклонясь, сказал:

– Меня уверили базарные люди, что в сем доме найду я панов Диомида Короля и Неона Хлопотинского.

– Ты видишь их перед собою!

– Итак, прошу меня выслушать: в пяти или шести верстах отсюда по полтавской дороге несколько в стороне стоит корчма, в которой теперь остановился один проезжий пан с своим приятелем. Он вам обоим давно и весьма знаком: теперь хочет проститься и угостить вас ужином, а сверх того, вверить вам весьма важную тайну и дать достоверное известие о Неонилле.

Может быть, мы поначалу сей речи и поупрямились

бы склониться на такое необыкновенное приглашение; но мысль узнать о местопребывании моей любезной жены, которую и сам дядя Король, узнав ее совершенства, полюбил как достойную родственницу, сейчас склонила нас быть витязями ночного свидания.

Однако благоразумие моего друга, почти никогда его не оставлявшее, сейчас родило в нем мысли, как можно провести вечер и часть ночи истинно по-философски, то есть: воспользоваться случаем насладиться удовольствием в малом кругу друзей, не оставляя за спиной своей ненавистного мешка с раскаянием, одним из главнейших бичей, созданных для рода человеческого.

— Друг мой! — сказал он черноморцу, — мы согласны на желание твоего пана, но только с непременным условием, что при нас не будет ни шелеха денег^{32}, а возьмем с собой двоих слуг, вооруженных подобно нам, как бы на сражение с Ерусланом Лазаревичем.

— Уверяю, — сказал посланный, — не моею честью, ибо незадолго пред сим я считал ее за пустое имя какого-нибудь баснословного божества, — но уверяю честью моего начальника, с коим путешествую и который пред вами обоими доказал, что честь родилась с ним, а потеря ее произошла от стечения обстоятельств, столько же сильных, как и самая судь-

ба, и оттого, что обстоятельства сии произошли не в свое время, не на своем месте, — уверяю, что не только не нужно вам брать с собою деньги, но что вы от нас поедете с хорошими деньгами, назначенными для некоторых несчастных; относительно же слуг, я полагаю, что открывать многим тайну злополучного, которая вам одним вверяется, едва ли назваться может делом истинной честности!

— Ба! — вскричал Диомид, — ты ораторствуешь как философ переяславской бursы!

— Не меньше того! — отвечал незнакомец. — Впрочем, не диво, — продолжал он, — что почтенный полковник Король смотрит на меня, как совершенно на незнакомого ему человека. Я не очень часто посещал огород его в Переяславле, а сей промысел возложен был на моих сенаторов, ликторов и целеров! Но для меня кажется задачею, труднейшею трактатов о возможном и невозможном, что и любезный собрат Неон Хлопотинский не узнает старинного начальника своего, консула Далмата, который не один раз щипал его за виски и мял пучок.

— Праведное небо! — вскричали мы с дядею в один голос, — ты Далмат?

Какие ветры занесли тебя в Батури́н?

— Те самые, — отвечал он, — которые круговращают одушевленные пылинки, людьми называемые. Одна-

ко, почтенные друзья! начинает темнеть, и общий приятель нетерпеливо нас ожидает!

Мы приказали подвести коней, вскочили на них и пустились за своим провожатым. Дорогою добивались мы проведать, кто именно нас ожидает, но тщетно; Далмат довольствовался ответом, что скоро сами увидим и будем рады такой встрече. Ночь наступила, но мы не видали еще корчмы, где обещали угостить нас дружески. Наконец, въехав на небольшой луг, увидели костер пылавших дров, возле коего сидели два черноморца, а невдалеке паслись стреноженные их кони.

— Милости просим! — вскричал Далмат, соскочив с коня, — мы на месте!

— Как? — спросил дядя Король, — где же твоя корчма?

— Все равно, — отвечал тот, — было бы только что поесть и попить, а до места нужды мало!

Когда мы спешили, то Далмат взял наших коней, чтобы, стреножа, пустить на траву. Два сидевшие у костра незнакомца вскочили, устремились к нам с распростертыми объятиями; мы также к ним поспешили, приблизились и — окаменели от изумления, узнав атамана Сарвила и его есаула Ария. Они обняли нас с нежностью, и первый сказал:

— Благодарю, друзья, что не обманули в моем ожи-

дании. Но прежде надобно удовлетворить телесным нуждам, а там уже помышлять о душевных.

Усядемся вокруг сего костра и насладимся дарами божиими.

После сего огонь разведен был поярче; дорожные кисы принесены, и атаман, подавая дяде Королю баклагу, сказал: «Прошу откушать!» Тут началось пиршество, и мы с дядею должны были признаться, что напитки и кушанья нашли не хуже тех, какими угощены были в лесу, недалеко от села Глупцова.

По окончании сей полевой трапезы Далмат и Арий начали увязывать кисы, а Сарвил довольно времени сидел задумавшись. Он одною рукою потирал лоб, а другою закручивал усы. После сего предисловия, от которого мы и подлинно ожидали чего-нибудь значительного, Сарвил взял у Короля и у меня руки и трогательным голосом сказал:

— Вам обоим вверяю судьбу свою или, лучше, судьбу любимой жены и двух малюток, сына и дочери. Ты правду сказал, Диомид, будучи в моем стане, что жизнь моя весела, но не очень покойна. Такую толпу народа, какая была мне подвластна, удерживать в пределах подчиненности и не допускать до смертоубийств требовало непрерывной заботы, а между тем в случае поимки я подвергался такому же истязанию, как если бы перерезал целые селения. Мысли

сии день ото дня более и более тяготили мою душу; я начал думать о побеге, но не знал, как произвести сие в действо. Если бы я был один, то, конечно, мог бы легко сего достигнуть; но куда денется бедная жена моя, которую сделал я участницею горестной судьбы своей. Она должна остаться на произвол раздраженной сволочи и плачевно лишиться жизни или искупить ее своим позором. Одна мысль сия терзала мою душу, и я открыл сердце свое двум испытанным друзьям – Арию и Далмату, месяцев за пять перед сим случайно подпавшего моей власти, но которого я – по прежней связи в переяславской бурсе – особенно любил и отличал от прочих. К великой радости моей, я услышал от них признание, что давно уже в том рассуждали, но не смели открыться, опасаясь плачевных следствий. Тут заключили мы, что, вероятно, целая половина шайки одинаких с нами мыслей, и вся связь скрепляется одними узами страха; а в каком обществе – хотя бы оно было целое королевство – соединяются члены страхом, то оно крайне ненадежно и близко к разрушению.

Новое происшествие еще более утвердило нас в намерении оставить жизнь столько опасную и презренную. Знакомец ваш Урпассиан, самый смышленный, самый осторожный из всего братства, истинный отпечаток многоопытного Улисса в греческом стане

под Троею, захвачен с четырью товарищами, и все лишились буйных голов в Пирятине. Весть сия привела нас в ужас, и тем более что с разных сторон приходили слухи о приготовлении противу нас целого ополчения.

В самое то время привели в стан мой бричку Неониллы. Я тотчас узнал ее и велел со служанкою ввести в мою ставку. Утешительная мысль просияла в душе моей, и сладкая надежда оживила мое сердце. Выслушав от нее признание, что бежит от жестокого отца и намерена скрыться в хуторе одного из благодетелей своего мужа, я сказал: «Неонилла, я окажу тебе сию услугу и провожу с двумя храбрыми товарищами до избранного тобою убежища, только не откажи и ты в моей просьбе. Ты знаешь, что в сем лесу есть у меня жена и дети. Мне самому теперешняя жизнь опротивела; я хочу спастись, но также спасти и мое семейство. Согласись взять сих несчастных в свою бричку, привезти в твоё убежище и держать при себе в услужении, пока не получишь от меня известия.

В деньгах недостатка не будет». Неонилла дала требуемое согласие.

Предприятие имело желанный успех; мы привезли всех на хутор пана Мемнона.

— Как! — вскричали мы с дядею Королем, — Неонилла в хуторе Мемнона? Под кровом сего великодушно-

го мужа? О, провидение!

– Так! – отвечал Сарвил, – но я с товарищами, не зная того пана, поопаслись его видеть. Подвезши бричку к самому крыльцу, быстро выбрались мы из оврага, причем я дал Неонилле слово отыскать тебя, Неон, и вручить от нее письмо, которое теперь и вручаю, а с тем вместе и сей мешок с золотом, в коем заключен другой с дорогими вещами. Мы отправляемся в Запорожье, как самое безопасное и приличное для нас убежище. Если, добрые люди, чрез пять лет не будет от меня никакого известия, то дайте Серафиме позволение выйти замуж; при сем случае вручите ей драгоценности, а деньги оставьте для детей. Неон! Диомид! не откажитесь быть их ангелами-хранителями и не воспитывайте сына моего в бурсе, дабы и он не имел некогда несчастья искать убежища в Запорожье.

Тут Сарвил замолчал и утер усы, по коим текли слезы. Однако ж скоро, усмехнувшись, взял нас опять за руки и сказал:

– Перестанем печалиться и плакать! может быть, и для меня есть еще в мире хотя искра радости!

Глава II

Есть надежда

Разумеется, что за такое благодеяние, оказанное Сарвилом жене моей с сыном в столь опасном побеге, я торжественно обязался считать Серафину сестрой, а детей ее своими собственными.

– Добрый путь, любезный друг! – говорил я, обняв его, – будь в Черномории столько же храбр против заклятых врагов наших, крымских татар, и турков, сколько был таковым противу единоплеменцев, и я надеюсь, что бог тебя помилует за прежние непорядки. Уведомляй нас сколько можно чаще о своих подвигах и о месте жительства. Это дело не трудное: ибо как из Батурина в Запорожскую Сечь, так и обратно беспрестанные бывают выходцы.

Дядя Король примолвил:

– Хотя по всему видно, что ты, Сарвил, с товарищами отправляешься в предположенный путь не без денежного запаса, но как и с человеком, на одном месте пребывающим, случаются великие коловратности, то с тобою в таком зыбком болоте, как Запорожская Сечь, и подавно могут произойти непредвиденные противности. В сем случае не только позволяю, но и прошу с верным человеком давать мне знать о

своих нуждах. Клянусь никогда тебя не оставить!

Тут дядя Король почел за нужное дать кое-какие наставления Сарвилу, а особливо касательно Запорожья. Неприметным образом занялась заря; мы все встали, перекрестились, и Далмат с Арием начали ловить коней, дабы оседлать их в дорогу. Сарвил казал вид пасмурный и тихими шагами похаживал вдоль подле погасшего костра. В утешение его дядя сказал:

— Знаю, что с отечественною стороною тяжело расставаться, хотя бы мы претерпели в ней и много горя. Это испытал я на себе, когда получил некогда повеление оставить пределы батуринские. Но что делать! везде сияет солнце и светит месяц, везде бывает ведро и ненастье.

Благоразумие требует, чтоб мы разбивали шатер свой под такую полосою неба, где надеемся укрыться от порыва бури и ударов грома. Но совсем избежать непогоды можно только в областях царствующего над звездами!

Кони изготовлены; мы все обнялись еще раз, сели на своих возниц и поскакали — я с дядею Королем к Батурину, а Сарвил со своею дружиною по дороге к Полтаве. Во время пути мы говорили мало, ибо ночь, проведенная в бессоннице, отяжелила наши головы, а сверх того, и участь Сарвилова с его семейством трогала нас несказанно. Неонилла с своим малюткою

также занимала мои мысли.

– Как ты думаешь, – спросил я у дяди, – уведомлять ли Истукария о местопребывании его дочери?

– Не думаю, – отвечал он, – подождем следствий свидания нашего с гетманом, и тогда все само собою разрешится.

Когда мы въехали на двор своего дома, то полный круг солнца блистал уже на небосклоне.

– Теперь надобно несколько часов успокоиться, – сказал дядя Король, – а после приходи в дальнюю садовую беседку, где я исполню свое обещание и уведомлю обо всем, что тебе знать нужно.

Хотя и я отягчен был усталостию, однако не прежде прилег на постелю, как прочитав письмо Неониллы. Оно было следующего содержания: «Я очень уверена, любезнейший друг, как много беспокоила тебя весть о побеге моем из Батурина. Причины, для коих сие сделано, ты, верно, знаешь уже от честного старика Ермила. Могла ли я, не будучи, впрочем, из числа робких женщин, не утрашиться при мысли, что раздраженный отец прибыл на место моего убежища, отец, грозивший мне заточением, а тебе погибелью? Я сейчас вспомнила о добродетельном Мемноне и, слыша весьма часто от тебя и от Короля о его добродушии и кротости, решила искать у него убежища.

„Если он благодетель Неона, думала я, то, верно,

не оставит в крайности и жену его“.

Из рассказа Муконова известно тебе, как попалась я в руки старого знакомого Сарвила, а из слов сего последнего узнаешь, как прибыли в дом Мемнона. Поступок разбойников, которые, остановя бричку мою у крыльца, в одно мгновение распрягли лошадей и, предоставляя им стоять смирно или бегать по двору, сами во всю конскую прыть бросились прочь, не оглядываясь, встревожил целый дом. Вдруг показался на крыльце в сопровождении нескольких слуг хозяин, что сейчас и безошибочно можно было заключить не столько по нарядному платью, сколько по величественному виду и осанке, и, подойдя к бричке, спросил: „Кто здесь?“ — „Дозволь прежде сойти мне на землю, и тогда все узнаешь, — отвечала я и с помощью Анны и двух слуг вышла из брички, держа на руках Мелитона. Тогда, приблизясь к нему, продолжала: — Почтенный муж! мне известно, какие оказал ты благодеяния и продолжаешь оказывать некоему Неону Хлопотинскому. Благоволи теперь дать пристанище беглой жене его с сыном“.

Он крайне изумился, протянул было руки, но, вдруг остановясь, спросил с некоторою дикостью: „Ты беглая жена Неонова? Что же принудило тебя оставить своего мужа?“ — „Нет, великодушный благодетель! — отвечала я, — как можно мне бежать от отца сего дитя-

ти? Муж мой ушел в поход, и я до сих пор неизвестна о его участи; а между тем раздраженный отец, которого никакою покорностью не могли мы умиловить, ищет достать меня во власть свою и предать заточению. От него-то бегу я и ищу спасения!“ – „О! когда так, – сказал с благосклонностью Мемнон, – то позволь обнять тебя и этого малютку“.

Тут он обнял меня с нежностью отца, поцеловал Мелитона и спросил: „Кто это еще с тобою и кто такие странные твои провожатые?“ Чтобы несчастную Серафину не привести еще в большую робость, я отошла с Мемноном несколько к стороне и коротко уведомила его о великодушном разбойнике Сарвиле и о несчастном его семействе, которому обещала я быть благодетельницею, и что другая женщина есть моя служанка. Я просила у него также позволения написать к тебе письмо, которое Сарвил обещал доставить непременно.

Мемнон, приказав спутницам моим сойти на землю, повел меня во внутренние покои и представил жене своей и дочери. Как скоро услышали они мое имя, то бросились обнимать с горячностью. Почтенная хозяйка выхватила из рук моих Мелитона и осыпала его поцелуями. „Мелитина! – сказала она, – отведи Неониллу в ту комнату, которая смежна с твоею и которая будет ее спальнею“.

Я не могла довольно налюбоваться красотою и любезностью Мелитины. В пять минут нашего обращения мы были уже как родные сестры, росшие вместе с младенчества. Она распоряжалась слугами и служанками, приносившими в мою комнату пожитки из брички, и скоро все было в довольном порядке. Жалкую Серафину поместили на время в той комнате, где некогда оттирали тебя снегом и отрезали драгоценный пучок. Анне назначено жить в общей девичьей. Пока приличным образом убирали мою спальню, о чем особенно хлопотала сама хозяйка с дочерью, почтенный Мемнон дозволил мне в своей комнате и на своем столе написать к тебе сие письмо, которое, как скоро готово будет, один из слуг вынесет из хутора и вручит Сарвилу, о чем мы предварительно условились. Сей чудный разбойник дал мне клятвенное обещание отыскать тебя хотя бы с опасностью жизни; ибо, по словам его, он намерен сделать тебе какое-то весьма важное поручение. Ах! как жалка мне Серафина! Приметно, что она была прекрасна; но какого лица не обезобразит такая жизнь, какую вела она противу воли! Она стыдится взглянуть прямо в глаза даже Анне и покрывается краскою, как скоро кто ей скажет: „Серафина!“ или одно из детей ее произнесет: „Маменька!“ Какое должна она чувствовать страдание, и – невинно! Все меры приложу, чтобы моею искренностию и просто-

тою приблизить ее к себе и сделать ручнее. Ее малютки: сын Лолий пяти и дочь Лидия трех лет, прелестны. Они и понятия не имеют о звании отца своего и довольно свободны. Прости, милый друг мой! Теперь ты знаешь место моего убежища и, верно, найдешь скоро случай меня о себе уведомить. Ах! скоро ли мы опять соединимся?

Твоя навсегда Неонилла».

Прочитав письмо сие, я прижал его к сердцу, поцеловал милое имя жены моей и лег отдохнуть, благодаря бога, что он привел мое семейство в безопасное убежище. Во сне мечталась мне Неонилла, Мелитон и Мемнон со всем домом.

Когда проснулся, то слуги объявили, что старый Ермил прибрел из хутора и желает со мною видеться.

— Может быть, с дядею Диомидом? — сказал я.

— Никак, — отвечал один из слуг, — с паном Диомидом он уже виделся и, узнав, что у тебя есть какое-то письмо, где говорится о его невестке Анне, хочет тебя видеть.

— Понимаю, — сказал я, — введи его. Ермил явился. На глазах его написано было любопытство, растворенное надеждою.

— Пан Неон! — говорил старик, — мой малый Мукой сходит с ума по своей жене Анне. Хотя он и не вой-

сковой старшина, но не меньше любит жену, как и ты свою. Мне сказали, что ты получил письмо от Неонилены. Неужели она, пишучи о себе, ничего не говорит о своей служанке? Не думаю! Она всегда была так добра к ней, что, верно, если сама уплелась от разбойников, то не оставила в когтях их нашу Анну. Прочти же мне это письмо, чтоб я мог все пересказать Мукону и его утешить. Он, право, теперь как одурелый, только что на стены не лазит.

— Изволь, старик, — сказал я, вынул письмо, развернул и хотел читать, как он проворно схватил меня за руку и вскричал:

— Постой, будь ласков, постой! Я прямо буду глядеть тебе в глаза и сейчас примечу, если ты что-нибудь пропустишь или сочинишь от себя. Читай только то, что написано, а лишнего нам ненадобно!

Я читал, перечитывал, возвращался назад и повторял одно и то же раза три и четыре. Ермил стоял, опершись на посох и не сводя с меня глаз. Иногда улыбался и шевелил усами, а иногда морщился и мял чуб; словом, я вытвердил письмо наизусть, но Ермилу все еще казалось мало, и думаю, что он не отпустил бы меня до вечера, если бы не пришел посланный от дяди Короля звать меня к нему в сад. Тут Ермилу нечего было более делать; он низко поклонился и вышел, а я поспешил к назначенному месту.

– Что ты до сих пор делал? – спросил дядя, – неужели все спал или забавлялся чтением жениного письма?

– Ты отчасти отгадал, – отвечал я, – я занят был сим чтением, хотя и не очень им забавлялся! Хочешь ли, я прочту его наизусть?

– Что это значит?

Тут я рассказал забавный случай с Ермилом.

Дядя Король улыбнулся и говорил:

– Так-то, друг мой! всякому свое мило! Сколько для величайших властелинов любезны какие-нибудь их Феодоры, Клеопатры, Марианны, столько и для беднейших поселян дороги их Мавры, Марины и Макрины. Ты хорошо сделал, что не оставил доброго Ермила в неудовольствии. Мы еще успеем свое дело кончить.

Тут дядя разложил пред собою довольное число рукописей, облокотился на них левою рукою, а правую разгладя усы, начал свое повествование.

Глава III

Honores mutant mores¹⁶

Никодим и Калестин, два первые полковники в малороссийском войске, славились повсюду знатностью породы, воинскими подвигами, богатством и неразрывным дружеством, связывающим их с самого юншества. Калестин имел единственного сына Леонида, а Никодим – единственную дочь Евгению.

– Праведное небо! – вскричал я, не могши удержать сильного движения духа, – я припоминаю нечто странное, в молодости моей случившееся. Не их ли видел я в Переяславле, в саду женского монастыря, первого в виде дьявола, а другую в виде ведьмы, и не мое ли имя упоминали они с таким соболезованием?

– Слушай терпеливо! – отвечал дядя Король, – и не перебивай меня. – Тогда он продолжал:

– Отец мой был старший брат Калестина; но как он в молодых еще летах пал на сражении с турками, а мать умерла с печали, оставя меня по десятому году, то дядя Калестин взял меня, сироту, в дом свой, предположа воспитывать с сыном своим Леонидом, коему было тогда пять лет.

¹⁶ Латинская пословица, значит: Почести переменяют нравы.

Воспитание наше шло обыкновенным порядком, итак, нечего об нем говорить до того времени, когда в небольшой круг наш замешалась Евгения.

Никодим и Калестин, преднамерясь увековечить дружбу свою соединением по времени детей узами брака, не пропускали ни одного случая знакомить их между собою и намерение сие простерли до того, что Калестин приказал семнадцатилетнему Леониду быть учителем десятилетней Евгении. Хотя сию последнюю можно было назвать еще дитятей, однако черты лица ее предвещали редкую красавицу, а разговоры, самые простые, обнаруживали остроту ума и доброту сердца. Леонид, уча ее по-русски и по-польски говорить, читать и писать, проводил с нею половину каждого утра, а преподавая также уроки на бандуре, провождал в доме Никодима почти целый вечер. Так протекло довольно времени, и Леониду исполнилось двадцать два года, а Евгении пятнадцать.

Юные любовники, зная намерение о себе родителей, и не думали скрывать взаимной нежности. Хотя Леонид никогда не забывал строгой благопристойности, хотя Евгения, вышедшая уже из отрочества, очень знала, что стыдливость более перлов украшает девицу, но и опытные родители также знали, что может в двух пламенеющих сердцах произвести случай, а любовники имели таковых каждый день множество;

к тому же добрые супруги, надзор коих в таких обстоятельствах всего вернее, давно уже покоились сном непробудным.

Посему они, предположив не раньше соединить детей, как по совершению одному двадцати пяти, а другой осьмнадцати лет, решились разлучить их на несколько времени, не опасаясь, чтобы короткая разлука сильна была расторгнуть сердца, столько одно к другому прилепленные.

Наилучшим к сему средством признано отправление Леонида в Киевскую академию для прослушания там курса философии, к чему домашним воспитанием он уже довольно был приготовлен. Как я не мог ему сопутствовать, ибо за несколько лет определен был на службу в полк гетманский, то в спутники Леониду назначен священник одного из сел Калестиновых, отец Геласий, человек довольно пожилой, нисколько не ученый, но примерной честности и добродушия. Сверх значительной денежной награды, определенной Геласию, и весьма изобильного содержания, помещик дозволил ему взять с собою своего сына, записать в академию и держать на общем счете.

Я находился при прощании Леонида и Евгении и не заметил ничего такого, что бы казалось особенным. Хотя, правда, они несколько раз обнимались и пролили по несколько слез, но не более, и даже ко-

гда Калестин сказал: «Полно, Леонид, пора садиться в бричку» – то молодой человек, запечатлев поцелуй на пламенеющей щеке красавицы, пожал у нее руку и сказал довольно спокойным голосом: «Прости, милая Евгения!» Провожая его до брички, я сказал, что так прощается самый хладнокровный муж с женою, уезжая дня на два в хутор. «Что же такое? – отвечал Леонид, – я не иначе считаю Евгению, как супругою, и отъезжаю несколько далее, чем на обыкновенный хутор; а что касается до времени, то два года и два дня немного делают разницы». Бедный Леонид! ты не предчувствовал грозы, которая по возвращении изрыгнет на твою голову потоки молнийные!

Два года после сего прошли обыкновенным порядком. Леонид часто писал письма к отцу, ко мне, к Никодиму и Евгении. Под конец начал скучать столь продолжительною разлукою со своею любезною и сам себя утешал тем, что до окончания курса остается не более нескольких месяцев, и он возвратится в Батурин в объятия любви и дружбы.

Вдруг последовало происшествие, хотя весьма обыкновенное, не не меньше того и важное. Старый гетман скончался. Вся Малороссия восшумела.

Полковники и войсковые старшины стекались со всех сторон в Батурин, и как скоро земные остатки покойного повелителя с подобающею честью преданы

были недрам земли, то все сословие чинов начало думать о избрании преемника.

Дворы варшавский, виленский и московский прислали депутатов, которые отличались гостеприимством и великолепием. Полковники малороссийские, которые были знатнее и богаче других, старались силою великих издержек привлечь большинство голов на свою сторону. Из депутатов отличался князь Станислав, сын великого гетмана литовского, как сам по себе, так и по своим пиршествам. Он был лет около тридцати, красив собою, статен, учен и храбр.

Из наших полковников превзошли всех Никодим и Калестин, однако первый много брал преимуществ. Два месяца прошли в сих совещаниях, и, наконец, избрание пало на Никодима; он провозглашен великим гетманом малороссийским, депутаты соседственных дворов подписали согласие своих монархов, и Никодим принял в руки жезл повелительства.

Калестин первый поздравил друга с сим высоким избранием и учредил в почесть ему великолепный праздник. Опять поднялись пиршества и продолжались в течение целого месяца с отличным блеском и общею радостью, и только наступление великого поста могло остановить оные, и в сие-то время, в один день на второй неделе, возвратился Леонид, быв в отлучке от родительского дома около двух лет с поло-

виною.

Дядя мой принял в объятия свои сына с нежностью и сказал: «Радуюсь, Леонид, той великой перемене, какую в тебе вижу. Об успехах твоих в науках и некоторых искусствах уверяет меня ректор академии, а в добром поведении, которое и само по себе делает много чести всякому человеку, а в образованном науками оно бесценно, свидетельствует отец Геласий; я обоим верю и радуюсь несказанно. Тебе известна перемена, происшедшая у нас в правлении: будущий тесть твой избран в высокое звание, а сие-то еще более обязывает тебя быть сколько можно совершеннее. Твоя будущая жена стала противу прежнего прелестнее, умнее, любезнее. Правда, с некоторого времени она сделалась робка, застенчива и даже неприступна, так что и мне не удастся видеть ее наедине, а тем менее сказать хотя одно слово; но кто имеет право проникать в сердечные тайны осьмнадцатилетней влюбленной девицы; да и то сказать, что дочь великого гетмана должна быть возвышеннее, степеннее, даже спесивее, нежели дочь полковника. Сегодня же еду во дворец Никодима и посоветуемся о твоём будущем образе жизни, а завтра представлю самого, и, может быть, тогда же ты вписан будешь в число гетманских телохранителей».

Так как я в сем полку был уже сотником, то Кале-

стин, уезжая во дворец, сказал: «Я думаю обедать у Никодима, а потому поручаю тебе, Диомид, учредить праздничный обед и пригласить на оный всех начальников и прочих чиновников полка гетманского от старшего до младшего и познакомить с ними твоего брата, как будущего сослуживца. Не жалея для сего ни кухни моей, ни погреба: так в подобных случаях поступали деды и отцы наши, и делали недурно. Конечно, и одни достоинства и заслуги могут приобрести нам приятель от товарищей и благосклонность от начальников; но для чего же не присоединить к сему, буде мы в возможности, некоторого рода приласкания посредством гостеприимства?»

По отбытии Калестина я с таким рвением принялся за исполнение воли его, что около полудня все было готово, и в столовой комнате роились гости.

Я не удовольствовался приглашением чиновников одного полка гетманского, но призвал и других полков лучших людей, кои известны были или своею храбростию, или способностями, или даже одною приветливостию. Всем вообще и каждому порознь представил я брата своего и друга и просил их быть к нему благосклонными. В особенности поручал я сослуживцу моему, молодому есаулу Еваресту (которого после Леонида любил более всех и на сестре коего Асклиаде располагал жениться по прошествии двух лет, ибо

ей тогда было не более семнадцати), полюбить моего брата, ручаясь с своей стороны за его достоинства, дающие право на благоприятство каждого. Замечу теперь мимоходом, что с того дня Еварест и Леонид сделались друзьями и остаются таковыми до сего времени, несмотря на все коловратности счастья.

Нечего и сказывать, что пир наш был самый свадебный. По окончании обеденного стола мы вошли в другую комнату. Там загудели гудки, забренчали бандуры, зазвенели цимбалы. Явившиеся скоморохи и машкары¹⁷ плясали разные пляски: малороссийские, польские и черноморские. Некоторые из гостей, особливо молодые, вмешались в сию забаву и немало всех увеселили; те же, кои не охочи были плясать, тешили себя всякого рода наливками; словом, все до одного были довольны, веселы.

Под вечер весь дом освещен был великолепно, и прибытие Калестина не только не расстроило общего веселия, но еще умножило оное. Лично представляя гостям своего сына, объявил, что он записан уже в полк гетманский, и просил старшин быть благосклонными к молодому неопытному воину. Разумеется, что звание, богатство и дружба с гетманом делали всяко-

¹⁷ Машкарами в Малороссии называются замаскированные шуты, которые на ярмарках или при домашних пирушках пляшут и производят разные фокусы.

го совершенно готовым к услугам.

Поутру Калестин лично представил сына своего гетману, окруженному многочисленным сонмом чиновников. Никодим принял его приветливо и протянул правую руку в таком направлении, чтоб ее поцеловали. Леонид, привыкший с младенчества обращаться с будущим тестем как с родным отцом, сначала оторопел от сей новости; но вдруг, собравшись с духом, вспомнил, что он теперь повелитель, следовательно, и родные братья его обязаны были оказывать ему сии знаки благоговения к власти его, а не только дети, и посему, подошед почтительно к Никодиму, преклонил колено и облобызал его десницу. «Встань, есаул Леонид! – сказал дружелюбно гетман, – и выслушай, что скажет старинный твой доброжелатель. Ты вступил теперь на службу в полк моего имени, это значит, в такой полк, который всегда у меня пред глазами и где всякий от большого до меньшого должны быть образцами для своего войска малороссийского. Я тебя знаю и уверен, что всегда останусь доволен».

Он дал знак, и Калестин с сыном вышли. У последнего голова кружилась и дрожали колена; он совсем не такого ожидал приема. «Что это значит? – спросил он у отца своего, – это ли Никодим, прежний друг твой, отец моей Евгении?» – «Леонид! – отвечал Калестин, – это не должно удивлять тебя.

Подданный, сделавшийся повелителем, по необходимости во многом должен переменить образ своей жизни и при посторонних людях казаться другим человеком, нежели при ближних и домашних! В день избрания Никодима в гетманы и я – друг его юности, товарищ во всех походах, всегдашний собеседник в советах, должен был – признаюсь откровенно – с крайним отвращением приложить губы свои к руке его наравне с прочими. Но в тот же самый день ввечеру, когда остался он в кругу прежних друзей, я обнимал в нем друга своего Никодима, забыв совершенно об его гетманстве. Надеюсь, что он сам найдет скоро случай, и ты обнимешь его как отца твоей Евгении и опять при общественных собраниях будешь вести себя в отношении к нему как к гетману, даже и тогда, когда сделаешься его зятем».

Хотя такое истолкование и утешило несколько Леонида, но он не утерпел сказать: «Ах! как бы хорошо было, если бы Никодима никогда не выбирали в гетманы!» – «Стыдись, сын мой! – отвечал Калестин довольно строго, – разве ты не слушал философии? Разве надобно избирать то, что хорошо для одного меня, а не то, что составляет благо целого отечества? Конечно, я не хочу уступить Никодиму ни в любви к сему отечеству, ни в уме, ни в личной храбрости, – но он несколько долее меня в службе и несколько бога-

че, а этого довольно, чтобы дать ему перевес передо мною!»

«Пусть так, – сказал Леонид смущенно, – пусть Никодим ни перед кем не забывает, что он гетман; но я надеюсь, что он не воспретит Евгении оставаться для меня прежнею Евгениею! Где ее покои?» – «Сын! – отвечал Калестин с принужденною улыбкою, – уверяю, что вход в приемную султана хотя и труден, но все легче, чем в преддверие его гарема. Евгения без согласия главной надзирательницы над няньками и девушками, коих у нее теперь более двух дюжин, сорокалетней девицы Филониды, не смеет никого принять к себе, а Филонида, не испрося на то соизволения от родителя, никому не даст своего согласия. Филонида, будучи дворянского происхождения, хотя до вступления в дом гетмана была очень бедна, но зато примерной честности и благонравия.

Ясно ли?»

«Понимаю, – отвечал Леонид с изменившимся лицом и дрожащим голосом, – понимаю, что в чертогах, где блистает великолепие и пышность и бродит жалкая принужденность под кротким именем благопристойности, там нет свободы, нет любви, – нет счастья!»

Глава IV

Умный дурак

С сего времени Леонид сделался уныл и не таил состояния души своей; однако ж, следуя наставлению отца, тщательно исполнял свою должность.

Изредка, и то мимоходом, видал он Евгению; но она, казалось, не обращала на него особенного внимания. Только в церкви имел он случай наслаждаться счастьем смотреть на нее продолжительно, и это счастье – в существе своем – было истинное несчастье, ибо после каждого такого свидания он на несколько дней лишался покоя, терял охоту к пище, и сон целые ночи не смежал веждей его. Иногда просил он отца, чтобы он, продолжая пользоваться дружбою и доверенностию Никодима, исторг из сердца его сию мучительную тайну; но всякий раз Калестин, человек честный, добрый, прямодушный, но вместе с тем благородно гордый и почитающий честь выше всего на свете, всегда отвечал сыну: «Леонид, я и сам примечаю, что тут не без тайны, но стыжусь ее разведывать. Для меня самого крайне было бы неприятно слышать, что кто-нибудь силится проникнуть то, что я скрываю, а по себе сужу и о других.

Впрочем, я тут не предвижу ничего для тебя пе-

чального. Ты знаешь наше с ним условие, чтобы соединить вас не прежде, как тебе исполнится двадцать пять, а Евгении осьмнадцать лет; но тебе также неизвестно, что сие время настанет не прежде, как в конце будущего лета, а теперь и весна не началась еще. Но если бы, – продолжал он с некоторым жаром и приподняв саблю, – если бы Никодим и позабыл наше условие, то я столько горд, что никогда не напоминаю о нем. Он сегодня гетман, я могу быть таковым завтра. Леонид! ни мое звание, ни древность моего рода, ни мои богатства, нет! ты, сын мой, составляешь предмет моего тщеславия, и руку твою считаю я достойной руки польской королевны. Однако ж подождем. Никодим продолжает обходиться со мною почти по-прежнему, ибо его новое звание, сопряженные с ним заботы, даже пустые приемы депутатов, воевод, знаменитых путешественников, – все сие, без сомнения, отнимает у него много часов в день, и он не может уже – хотя бы сердечно желал – быть тем же для меня, для тебя, для своей даже дочери, чем был прежде. Без ясной причины я никого не обвиняю, тем более не обвиняю друга моей юности».

Что после сего оставалось Леониду? Терпеть и молчать! Однако ж чего не сильны сделать любовь, дружба и молодость! Мы составили заговор и произвели его удачно в действо. Кто ж эти мы? Леонид, я,

Еварест и – Куфий.

В первые недели гетманства Никодимова он умел весьма тонко узнать каждого из чиновников полка своего. Куфий был тогда сотником и имел от роду с небольшим тридцать лет, – а более ничего. Он был здоров, весел, замысловат, отважен; но ты его сам знаешь. Теперь Куфий довольно богат, но тогда был беднее всех в целом полку. Это все не укрылось от внимания Никодимова. Он сделал предложение; оно принято безотговорочно, и в скором времени сотник Куфий сделался начальником придворных шутов и скоморохов.

Его одели богато, отвели для житья покои во дворце, кормили и поили хорошо; чего ж больше для голодного бесприютного Куфия? Наедине говорил он с Никодимом как человек самый рассудительный, справедливый, преданный пользам своего повелителя; в обществе – под видом шутки – он, указывая на какого-нибудь полковника или старшину, описывал их распутства, лихоимства, хищничества, бесчеловечия. Все смеялись, даже сам гетман; но это не мешало ему послать тайно нарочного осведомиться о справедливости извета Куфиева, находили оный основательным, и виноватые бывали наказаны. Это имело следствием, что всякий начальник, боясь языка Куфиева, боялся делать несправедливости, и преступ-

ления, если не истребились, по крайней мере умалились. Куфия дарил гетман, дарили придворные, дарили приезжие, и он начал обогащаться. На сего-то мудреца возложено было исполнение нашего замысла, которое и началось следующим образом.

Куфий стал представляться страстно влюбленным в Филониду и по времени объявлял ей любовь по-своему. Вместо томных взглядов, тяжелых вздохов и прочих примет любовных Куфий, при свидании с своею Дульцинеею, наступал ей на ноги, щипал за руки, трепал по плечу и, глядя ей в лицо, ласково шевелил усами. Устарелая красавица смеялась от чистого сердца, делала ему ловкие тычки по носу, ерошила чуб, и, словом, каков был вызов, таков и ответ, а дело своим чередом шло далее и далее, и Куфий добрался до того, что, давши любовнице легонький щелчок сзади, когда она оборачивалась, мгновенно хватал ее за уши и целовал в губы. Такие несомненные знаки любви обыкновенно награждаемы бывали пощечинами; но сия малость храброго Куфия нимало не смущала. Он начал закрадываться на женскую половину, что для всякого другого было бы непростительно, да и невозможно, ибо входы охраняемы были стражею; но как Куфия велено пропускать в покои самого даже гетмана во всякое время, то из сего заключено, что он везде бродить может, и его нигде не задерживали.

Посещая свою любовницу временно и безвременно, он иногда находил ее не совсем в порядке; она сердилась, прочие женщины смеялись, после чего и она, также смеючись, выталкивала его вон, а он убегал в другую девичью и, дав ей время исправить такой или другой беспорядок, опять являлся и производил общий хохот. Словом, в скором времени при появлении Куфия ни одна из женщин не приходила уже в смущение, хотя бы он застал ее в постеле, и, считая его каким-то амфибией, всякая исправляла свои нужды, как бы там, кроме женщин, никого не было.

В таких подвигах Куфиевых прошел весь великий пост. В первый день светлого праздника гетман, раздавая награды, пожаловал меня в полковые старшины, а Леонида в сотники. Он продолжал обходиться с ним весьма благосклонно, но Евгения продолжала казаться рассеянною, не обращающею на него внимания, совершенно для него чуждою. Однако ж Леонид заметил, что она время от времени делалась пасмурнее; огонь в глазах ее стал тускнеть; розы на щеках, мало-помалу бледнея, наконец совсем исчезли и уступили место свое поблекшим лилиям. Всякий раз в церкви, — ему нигде более не удавалось ее видеть, — когда она как бы нечаянно на него взглядывала, какое-то смущение разливало туман по прекрасному лицу ее, и взоры медленно опускались на помост хра-

ма. Леонид не спускал с нее глаз своих, стонал и терзался. В первый день праздника она также взглянула на Леонида, и ему показалось, что всегда туманные взоры ее просияли искрами нежности, прелестные губы ее легонько двигались, и она шептала: «Христос воскрес!» Взор любовника воспламенился, багровая краска бросилась в лицо, и он машинально начал ломать себе на руках пальцы. Взоры Евгении еще более оживились, и легкий румянец поалил щеки. Леонид не понимал сам своих ощущений. На другой день праздника под вечер, когда Калестин не возвращался еще из дворца, я с Леонидом сидели вместе, думая и гадая, вдруг ввалился к нам Куфий с веселым видом. После обыкновенных приветствий он сказал моему брату: «Я – человек придворный и даром ничего и ни для кого не делаю! Что дашь, если скажу тебе хорошие вести?» – «Половину жизни моей, – вскричал Леонид, – буде вести сии докажут, что Евгения все еще меня любит!» – «На что мне такая обуза, – сказал Куфий, – с меня и моих собственных дней едва ли не много! Ну, добро, мы сочтемся! Велите-ка подать доброго вина, так языку моему удобнее будет ворочаться».

Немедленно подана была сулея с лучшим волохским вином; Куфий осушил кубок и начал повествовать:

– Вчера, часа за два до благовеста к литургии, дворец гетмана набит был всякого звания христианами в ожидании выхода его высокопочина из своего чертога, дабы поздравить с праздником, приложить свои губы к его руке и подставить свои щеки и лбы к его губам. С величайшею важностию побрел я на женскую половину и нашел всех мамок и девушек в строю. «Что вы тут делаете, красавицы?» – спросил я. «Ожидаем выхода Евгении, дабы поздравить с праздником!» – «А где моя дражайшая?» – «У Евгении!» – «Одеты ли Евгения?» – «Давным-давно!» – «Дельно! Так я и там поздороваюсь с моей красавицей! Ведь законная любовь, какова, например, моя, не порок!» Сопровождаемый насмешками, я вошел в комнату дочери Никодимовой и нашел ее вместе с Филонидою. Поклонясь почтительно Евгении, я оборотился к своей прелестнице: «Что же ты, дражайшая! – вскричал я, – так застенчива! поздороваемся по-христиански!» Я подошел к ней, а она отступила, прося Евгению выгнать бесчинника. «Нет! от меня нигде не укроешься, – сказал я, – сейчас здоровайся!» С сими словами я подошел к ней с таким видом, как будто намереваясь обнять ее покрепче и поцеловать раз десять. Она с криком бросилась вон, а я, пользуясь сею минутою, подбежал к Евгении и вполголоса сказал: «Леонид умирает! Оживи его хотя одним благосклонным взглядом

и хотя одною строчкою руки твоей. Не опасайся меня; я – друг его!» – «Приходи сюда завтра перед обеднями, – отвечала она, – мое дело будет задержать здесь Филониду, а твое – выгнать ее отсюда». С сими словами она вышла к своим девушкам, и начались поздравления, а я пошел к гетману сказать, что он излишне изволит мешкать и что жаждущие облобызать дебелую его десницу могут потерять терпение, лишаясь так долго сего блаженства, так грех будет на душе его.

Сегодня поутру, в назначенную пору, я очутился где было надобно и нашел, что девушки заняты были поправлением одна на другой нарядов и пяленьем поочередно пред зеркалами, а про Филониду сказали то же, что вчера, то есть что она у Евгении. Я сейчас иду туда и нахожу их обеих занятыми рассматриванием перстней, серег, жемчужных ниток и других драгоценностей. Отдав должное почтение молодой госпоже, я бросился к Филониде и, приняв вид сатира Марсиаса, с которого Аполлон сдирает кожу^{33}, сказал плачевным голосом: «Умилосердись, жестокая! Неужели ты некресть татарская, что для таких великих дней не хочешь оказать мне небольшой благосклонности?» Филонида задумалась, а я, испугавшись, чтоб она, склонившись на мое страстное желание, не осталась при Евгении, возопил: «Ах! дражайшая Филонида! что колеблешься сделать меня благополучным?

Дозволь мне обнять тебя, как обнимал древний Иксион волоокую Юнону^{34}, и облобызать у тебя не только прелестные уста, но и лоб, уши, глаза, щеки, затылок...» – при сем расширил пасть и растопырил руки. «Ай, ай!» – вскричала она и бросилась вон. В ту минуту Евгения отперла ларчик, выхватила письмо и кошелек и сунула мне то и другое в руку. Проворно спрятав приобретение сие в карман, я бросился к женщинам, спрашивая страстно: «Где же Филонида?» Она взяла свои меры – скрылась в угол и выставила впереди себя с дюжину баб и девок. Я представил вид, что не дерзаю сделать нападение противу крепости, защищаемой таким могучим войском, почесал печально чуб и медленно вышел. До сей поры мне нельзя было урваться из дворца. Вот письмо, Леонид, возьми. Оно хотя и без надписи, но я догадываюсь, что принадлежит тебе; кошелек с сотнею червонных также без надписи, но я уверен, что принадлежит мне, – и потому тебе и видеть его нечего: вещь самая обыкновенная!

Леонид трепещущими руками принял письмо, развернул и начал про себя читать. В лице его попеременно видел я нежность, горесть, надежду, негодование. Он бледнел и краснел, улыбался и морщился. Кончив чтение, подал мне письмо и сказал: «Брат! прочти и дай совет, что я должен думать и делать;

а я так смущен, так расстроен, что совершенно ничего не понимаю, ничего не чувствую, хотя кажется, более чувствую, нежели когда-нибудь.

По-видимому, я могу назвать себя весьма счастливым, ибо Евгения уверяет в неопределенности любви своей, и вместе с тем злополучным, ибо должен опасаться, чтоб ее у меня не похитили. Прочти, любезный брат, и скажи свое мнение!»

Я взял письмо, прочел с великим вниманием, подумал, еще раз пробежал; потом, положив укропно на стол, задумался и сидел молча, щелкая пальцами по ефесу моей сабли. «Что же скажешь?» – спросил Леонид с нетерпением.

«Ничего!» – отвечал я смущенно. «Немного же!»

Куфий, который во время чтения письма и наших суждений, казалось, ничем не занимался более, как узнаванием доброты вина, слыша последние слова наши, сказал: «Вижу, что вы оба неразумные парни! Ну, не стыдно ли, что двух молодцов, которые одним движением усов должны обратить в бегство целые полчища татар и турков, молодая, робкая девушка несколькими строчками поставила в тупик так, что и последний польский шляхтич успеет обрить вам усы и головы, прежде нежели вы опомнитесь. Дайте-ка я прочту это волшебное письмецо, и тогда посмотрите, не храбрее ли я вас обоих». – «Сделай одолжение!»

– сказал Леонид, подавая письмо, и Куфий прочел вслух следующее: «Неужели добрый, нежный, чувствительный Леонид хотя на одно мгновение мог помыслить, что Евгения способна переменить чувство сердца своего, – Евгения, от самой колыбели привыкшая видеть в нем единственного друга, верного любовника? Так, Леонид! я видела твои страдания и сама не меньше страдала, но не имела возможности тебя о том уведомить, ибо мне и на мысль не приходило, что добрый Куфий в связи с тобою. Я поступала по данному мне повелению; кто повелел, ты сам догадаешься, но для чего – и по сие время наверное не знаю и, соображая обстоятельства, страшусь проникать тайну; однако ж и скрывать от тебя мои догадки считаю непростительным грехом и не хочу, чтобы ты, видя меня погибшею, мог сказать: „Я нашел бы средства спасти ее, но она скрывала от меня бездну, сама пала в нее и меня вовлекла с собою“. Догадки мои состоят в следующем, – но заметь, что не более как догадки, и прежде времени не предавайся унынию, которое всегда бесполезно, а иногда и пагубно.

При возглашении отца моего гетманом я пользовалась тою же свободою, как и прежде. Все вокруг меня дышало довольством, радостью. Часто, без всех докладов, виделась я с отцом моим, говорила о скором твоём возвращении, изъявляла радость свою непри-

нужденно, и отец, улыбаясь с нежностью, подавал мне руку, которую осыпала я поцелуями, и говорил: „Будь уверена, моя Евгения, что твое счастье есть мое собственное!“ О! как я благословляла небо, даровавшее мне такого родителя! Но золотое время скоро улетело.

В одно утро, когда явилась я к отцу с обыкновенным поздравлением, то застала его с тремя депутатами соседственных держав и несколькими полковниками нашего войска, в числе коих был и Калестин, отец твой.

Облобызав родительскую руку, я хотела удалиться, но получила приказание пообождать конца сей аудиенции, и тогда я получу особенную. Я села у окна и смотрела на площадь, не думая вслушиваться в слова присутствующих, однако ж не могла не заметить, что молодой князь Станислав, сын великого гетмана литовского, отличался от всех ловкостью, остротою в речах и основательностью суждений. Все соглашались с его мнениями, и казалось, что он один был с языком в сей беседе. Нередко, обращаясь ко мне, он спрашивал: „Ты что на это скажешь, прелестная Евгения?“ — и я всегда непринужденно отвечала: „Извини, князь, я даже не слыхала, о чем говорено было!“ — „Это очень нехорошо, дочь моя! — сказал в последний раз отец довольно важно, — надобно быть вниматель-

нее, когда говорят достойные люди!“ Я покраснела и не отвечала ни слова.

Когда сия беседа кончилась и все разошлись, то отец, подошед ко мне с важностию прямо гетманскою, сказал: „Евгения, ты должна с переменою обстоятельств и сама совершенно перемениться и навсегда забыть, что была некогда дочерью полковника Никодима. Помни постоянно, что, по воле всеблагого бога, ты можешь теперь равняться со всякою королевною; а чтоб тебе удобнее было соображаться с сею новою обязанностью, то я заблагорассудил устроить при тебе особенный штат, гораздо приличнейший теперешнего. Старая мамка твоя Марина, женщина, конечно добрая и честная, но слишком простая, щедро награждена мною и отослана на родину в Миргород; четыре горничные девки также не остались без возмездия и отправлены по разным хуторам моим. Теперь приготовлены для услуг тебе десять женщин и столько же девушек. Над ними вверил я смотрение Филониде, пожилой девице дворянского происхождения. Без моего дозволения никто к тебе допущен не будет, ибо сего требует приличие нового твоего звания. Ты будешь в своих покоях иметь обеденный стол, пока не прикажу явиться к моему. Иногда и я приду к тебе, — один или с кем-нибудь из знатнейших особ, при дворе моем находящихся. Теперь покажись но-

вым твоим служительницам“.

Со слезами на глазах, колеблющимися ногами пошла я на свою половину.

Меня встретила Филонида и что-то говорила ответственное; но я, сказав, что хочу остаться одна, бросилась в свою спальню и, упав в кресла, зарыдала.

Увы! куда девалось прекрасное время моего детства и юности, время любви и счастья! Милосердный боже, неужели гетманы необходимы на земли?

Отец мой всякий день навещал меня или призывал к себе. В обоих сих случаях я находила с ним князя Станислава, не перестающего оказывать мне всякого рода учтивости. Всего прискорбнее, что я должна была – так мне приказано – казаться веселою тогда, когда неизреченная горесть терзала мое бедное сердце. К большему мучению, ни одно из окружающих меня существ не произносило при мне имени Леонида, ибо им неизвестно даже было, существует ли таковой человек на свете. Может ли что быть сего несноснее, убийственнее?

Кто опишет чувство, я не знаю, как и назвать его, – растворившее раны сердца моего, когда я в первый раз в церкви тебя увидела! Из одного взгляда твоего поняла я, что несчастье мое тебе известно! Глаза мои помутились, колена задрожали – и я едва-едва не лишилась памяти. С молитвою сердца прибегла я к бо-

гу, прося его укрепить меня, слабую, и милосердный услышал безгласный вопль души моей. Надобно думать, что отец не заметил сего беспорядка, ибо никогда не давал мне повода к противным мыслям.

С сего времени дни мои сделались еще горестнее. Ночи мои провождаемы были в слезах, а если когда сон и смежал на несколько минут мои ресницы, то ужасные сновидения меня разбужали. Я трепетала и находила отраду опять в слезах. О! сколько несчастен, кто живет такою отрадою!

Отец, навещая меня по обыкновению, но уже один, ибо князь Станислав отправился в свое отечество, спрашивал о причине такой перемены в моем лице и поступках и, получив ответ, что это происходит от непривычки еще к новому образу жизни, говорил хладнокровно: „По благодати божией человек так устроен, что со временем ко всему привыкает“.

Итак, мой милый, бесценный друг, из всех описанных обстоятельств заключаю, что отец назначил меня на жертву честолюбию, предав в руки князя Станислава. Дай бог, чтобы я ошибалась; но какое-то тайное, непреодолимое чувство гремит в душе моей: „Несчастливая! ты угадываешь истину!“ Что, Леонид, если это сбудется? Я вижу, что при одной сей мысли ты трепещешь!

Слезы льются из глаз моих, дыхание стесняется!

Боже! как мучительно такое состояние! Однако подождем: может быть, я и обманываюсь. Если же нет – выслушай меня внимательно: если я непременно должна буду сделаться супругою князя Станислава и ты не найдешь никаких способов исхитить бедную Евгению из челюстей вечного злополучия, то, прежде нежели приступлю к алтарю, – меня уже не будет, и я – не к брачному ложу, но с растерзанною девическою грудью явлюсь к престолу судьи небесного. Да будет со мною святая воля его!

Твоя или ничья Евгения».

Куфий замолчал и, сложа письмо, начал степенно ходить по комнате, закручивая усы. Я сидел в горестном безмолвии; Леонид рыдал горько. Какое мучение!

«И подлинно дело хлопотливое, – сказал Куфий, остановясь у стола и положи на нем роковое письмо, – я сам теперь почти в таком же положении, в каком и вы находитесь. Так! наконец я понимаю!» – «А что ты понимаешь?» спросили мы с торопливостью. Куфий, усевшись между мною и братом, говорил: «По окончании всех торжеств, бывших по случаю возвышения Никодимова, все депутаты разъехались. Московский и варшавский как в воду упали, и не было об них никакого слуха; один виленский щеголеватый князь Станислав из каждого города и городишка присылал к Никодиму нарочного гонца, а по прибытии в Вильну каж-

дую неделю двух. Но это не все. Недели за две перед пасхою начали убирать все левое крыло дворца великолепным образом. „На что это?“ – спросил я однажды у Никодима. „По происшествии светлого праздника, – отвечал он, – я переведу туда Евгению со всем штатом ее, который еще увеличу сообразно с ее достоинством!“ Тогда я смеялся такой суетности; но теперь вижу, что он хитрее, чем я думал!»

Леонид покрылся бледностию, закрыл глаза руками и, облокотясь на стол, оставался безгласен. Я почел за лучшее оставить его в сем положении, отвел Куфия в сторону и сказал: «Кажется, теперь сомневаться нечего!» – «И я тех же мыслей», – отвечал он. «Что-нибудь, а делать надобно, – продолжал я, – после Леонида мне лучше всех известен нрав Евгении: она, точно, устоит в своем слове и погибнет, а гибель ее, без всякого сомнения, погубит несчастного моего брата. Куфий! постараемся спасти обоих!» – «Но как же, скажи, пожалуй?» – спросил он шепотом. «Стыдись, учитель на все выдумки! – отвечал я, – доволен с тебя, если я во всем готов последовать твоим советам, один я с двумя казаками, преданными мне совершенно и достойными быть в числе лучших учеников твоих. Ты сам видишь, что бедный Леонид подбится теперь младенцу, которого на помочах водить надобно. Окажем ему эту дружбу; иначе он, решившись бегать

сам собою, в прах разобьется». — «Хорошо! — сказал Куфий, — завтра под вечер я опять украдусь из дворца, и что до того времени удастся мне выдумать путного, скажу и тебе». С сими словами мы расстались. Леонид походил на помешанного, но я утешил его клятвою, что решился или потерять голову, или соединить его с любезною, в чем и Куфий обязался способствовать.

«Вы здесь сидите и бражничаете, — сказал вошедший Калестин, — а не знаете, что делается вне сего дома. Я сейчас только из дворца. Там такая суматоха, что избави господи! Совсем нечаянно, неожиданно появился в палатах князь Станислав, с огромною, великолепною свитою. Все смотрели друг на друга с удивлением и не знали, что бы это значило, однако были уверены, что не даровое. Когда предстал князю дворцовый старшина, то первый потребовал аудиенции и спустя несколько минут поведен к гетману. Тут приступили мы к предводителю его свиты с вопросами и узнали только, что сын приехал к здешнему двору с важными грамотами от отца своего. Посмотрим, что-то гласят грамоты его литовской светлости! Леонид! что ты так бледен?

Ты дрожишь! Неужели боишься объявления войны от литовцев?» — «Я несколько нездоров, — отвечал Леонид, — позволь мне удалиться!»

С сими словами он вышел; Калестин, поговори со мною недолго, также удалился на свою половину, и я остался один в самом мрачном расположении души моей.

Глава V

Спасайся, пока можно!

В таковой борьбе с самим собою я провел почти всю ночь, следующий день и часть другой ночи. Калестин все свободное время убивал во дворце, а сын его стонал в своей комнате, и хотя мог еще держаться на ногах, но всякий, взглянув на него, сказал бы, что он болен отчаянно.

Около полуночи вошедший слуга объявил, что незнакомый казак, с большим узлом под рукою, желает со мною видеться. Удивившись такому позднему посещению, я спросил: что ему надобно? «Видеться с тобою!» – «Впусти!»

Как скоро незнакомец вошел, то, оборотясь к слуге, сказал повелительно: «Удались!» Слуга с удивлением повиновался, а гость, кинув свой узел на пол, подошел ко мне и, шаркая ногами по-польски, говорил: «Дай бог здоровья людскому разуму; с ним всего достичь можно!» Рассмотрев пристальнее сего чудака, я, несмотря на всю унылость души моей, вскричал весело: «Куфий! какая ведьма так тебя оборотила?» – «Это могущая ведьма, – сказал Куфий таинственно, – называется дружбою и в силе своей уступает – и то немного, а не всегда – другой ведьме, на-

зываемой любовью! — Тут развязал он узел и вынул полный наряд свой, сшитый из разноцветных лоскутьев, и сказал:— Попечению твоему вверяю, чтобы по крайней мере через два дни готово было другое такое же платье по твоему росту. Из всего видно, что свадьбою торопятся, ибо за полчаса пред сим, когда я по обыкновению провожал гетмана в опочивальню, он, потрепав меня по макуше, сказал с улыбкою: „Постой, Куфий! мы скоро поднимем такое веселье, какого ты еще во всю жизнь не видывал. Завтра скажи моим именем казначею, чтобы к следующему воскресенью изготовлено было тебе новое платье из золотой и серебряной парчи и чтобы во всем наряде отвечало одно другому“. Если бы не удалство мое, посредством которого достал я письмо от Евгении, столько нас просветившее, помогло в сем случае, то я, наверное, дался бы в обман; но теперь трудно меня одурачить. И не Куфий догадается, что в Фомино воскресенье назначено быть роковой свадьбе. Видишь, как надобно дорожить временем! Прежде определенного срока надобно переделать все по-своему, и пусть тогда ахают и охают. Кто готовится смотреть без жалости на чужие слезы, недостойн сожаления, если и сам принужден будет горько плакать».

Поговоря еще довольно времени, мы сделали условие как о наших свиданиях, так и о дальнейших рас-

поряжениях по предмету столько важному, опасному, решительному. Наконец мы расстались, чтоб успокоиться; но я весь остаток ночи провел в креслах, не раздеваясь. Едва лишь начало на дворе брезжить, я поднял принесенный Куфием узел и пошел один к портному жиду, шившему на меня все платья. Дав ему приказание, состоявшее в десяти червонных, изготовить для меня шутовское платье к пятнице и быть молчаливу, буде не желает вопиять под ударами батогов, я возвратился домой и начал размышлять о последствиях наших замыслов. Задумавшись, сидел я долго и не заметил, как вполз ко мне Леонид с мрачным взором, с бледными щеками, с опустившимися усами. Он сел подле меня и потупил глаза в землю.

«Леонид! — сказал я, — ты весьма несправедлив, заставляя нас смотреть на тебя как на приближающегося ко гробу и в то время, когда друзья отваживают свои головы, — дабы доставить тебе счастье!» — Тут рассказал я о мерах, какие предпринимает Куфий к произведению общего намерения в действо, присовокупя, что любовник, будучи главное лицо, унынием своим может уничтожить все наши надежды. «Надежды? — сказал он со стоном, — легковверные!

и вы можете еще льстить мне надеждами?» — «Да, — отвечал я, — несмотря на то, что брак...» — Тут я остановился и замолчал. «Продолжай! — произнес Лео-

нид довольно резко, — какая разница умереть минутой раньше или позже?»

Я не хотел печалить его объявлением о таком скором времени, назначенном гетманом к совершению брака своей дочери, Леонид с своей стороны хотел знать все подробно, и между тем как мы, так сказать, пустословили, солнце было уже высоко, и слуги объявили, что Калестин давно во дворце. Я начал переодеваться, а Леонид решительно отрекся видеть Никодима и умножать собою число рабов его. Когда я был готов, то введенный придворный низшей степени шут кинул на стол письма и скрылся, как ветер.

Развернув обертку, я нашел две записки. В первой стояло: «Если Леонид не пошлый дурак, то, прочтя вторую записку, сделается бодр, предприимчив, каким следует быть любовнику: сего только от него и требуется. Евгении весь наш замысел известен; но как я и сам покуда не надумался хорошенько, когда приняться за исполнение, то до времени помолчим. Более всего надобно Леониду быть отважнее. Ведь когда-нибудь, а умирать должно; пусть же умрет он, спасая Евгению. По прочтении сейчас письмо сожги.

Куфий».

«Клянусь всеми святыми, — вскричал Леонид, как будто восставший из гроба, — для спасения моей любезной, когда она именно того требует, буду столь-

ко же мужествен, как соименный мне спартанец^{35}, и тверд, как гранитный камень! Что же в другой записке?» Я развернул ее и прочел: «Мне рассказывают, Леонид, что ты продолжаешь печалиться и унывать; этим ничего не сделаешь. Соглашаясь с мнением Куфия, я до последнего дня буду казаться веселою; не стану противиться никаким предложениям, на все охотно соглашусь, — но помни — до последнего только дня. Тогда — я опять повторяю прежние слова мои — тогда я — твоя или уже ничья во всей подсолнечной.

Евгения».

Сии немногие строки воспламенили молодого человека мужеством, какого и сам он от себя не надеялся; взоры его заблистали, щеки покрылись румянцем здоровья, походка сделалась твердою и все движения непринужденными.

«Леонид, — сказал я, — сегодня среда, а спустя три дни настанет суббота; на такое короткое время, кажется, можно ополчиться всеми силами души твоей, когда уже и Евгения имеет столько мужества, чтобы при невозможности быть твоею обручиться со смертию». — «Что ты мне говоришь так много? — вскричал Леонид, — что значит жизнь без Евгении?»

В самое то время услышали мы на улице шум и разные голоса. Подбегаем к окну, и— кто опишет наш ужас и поражение? Калестин, бледный и трепещущий, ед-

ва держался на коне; его поддерживали двое войсковых старшин полка его; позади следовало до двадцати конных казаков.

Леонид и я затрепетали и бросились на двор. Едва мы сбежали с крыльца, как подвезли и Калестина. Он снят с коня при наших восклицаниях: «Батюшка, дядюшка! что с тобою сделалось?» – «Мщение! – возопил Калестин ужасным голосом. – Сын! племянник! клянитесь мне грозным мщением клятвопреступному!»

Друзья мои! – продолжал он, обратясь к старшинам, – войдите в дом мой; стены его не осквернены укрытием бесчестного изменника. Леонид! прикажи выдать каждому казаку по злотому; пусть за мое здоровье повеселятся!»

Мы ввели Калестина в спальню, раздели и уложили в постель. «Мне другого врача не надобно, – сказал он, – кроме спокойствия. Леонид! вынь из кармана моего гнусное писание, но не читай его дотоле, пока старшины не удалятся. Угости их прилично моему званию. Делай, что хочешь, но не мешай мне отдохнуть. Не входи сюда, пока не позову, и никого не допускай».

Мы приказали учредить довольный завтрак и вышли к гостям. «Ради бога, – сказал Леонид, – известите обстоятельно, что привело отца моего в столь жа-

лостное состояние?» – «Это произошло так мгновенно, – отвечал один из старшин, – что никто не видал промежутка между началом и концом. Когда все чинов начальники собрались в приемной палате, ожидая повелений гетмана, то дворцовый старшина, вышед из внутренних покоев с письмом в руке, подал оное Калестину. Как только сей прочел, ужасный сумрак покрыл лицо его. Трепеща весь, свернул он бумагу, положил в карман и хотел закрутить усы; но рука опустилась, он задрожал и, конечно, упал бы на пол, если б не был поддержан. Мы вывели его на двор, усадили на коня и привезли сюда. Более ничего не знаем».

По окончании завтрака гости удалились. Леонид, вынув письмо, сказал: «Я наперед предчувствую, что тут написано, смотреть на один почерк руки гетманской для меня противно. Читай ты». Я прочел вслух сии строки: «Почтеннейший друг Калестин! тебе известно, что с переменою обстоятельств неминуемо переменятся и наши преднамерения. Сохранять прежнюю к тебе дружбу поставлю за самую святую и приятную обязанность, если и ты согласишься остаться в пределах должной умеренности. Сына твоего люблю по-прежнему и сочту за верх удовольствия доказать то на опыте, возведя его так высоко, как только власть моя дозволит, но – дочери моей за него не отдам. Ты знаешь, что, восшедши на степень гетмана, я перестал

принадлежать себе, а сделался отцом всего народа. Сын великого гетмана литовского ищет руки Евгении, отец его настоятельно о сем просит. Посуди, какие последствия могут произойти в случае отказа! Неужели кровию народа, вверенного провидением моему попечению, должен я жертвовать в угодности молодому человеку, который – по обыкновенному ходу природы, – потеряв свою любезную, прежде погрузит, потом успокоится, а наконец – как водится – найдет любезнейшую, и прежняя совершенно забудется. Будь великодушен, Калестин, и на меня не ропщи. Если бы ты избран был главою народа, и тот же литовский гетман предложил бы тебе мир, а твоему Леониду руку своей дочери, скажи по совести, стал ли бы ты колебаться и не была ль бы оставлена моя Евгения?

Если бы ты поступил не так, то поступил бы не как гетман, а как обыкновенный отец, следовательно, поступил бы весьма несогласно с общею пользою, то есть поступил бы неразумно. Прости и будь здоров. Вечеру увидимся и побеседуем.

Никодим».

Сие письмо, которое во всякое другое время и всякому другому показалось бы весьма основательным, не произвело в нас иного впечатления, кроме гнева и негодования. Препрежнее письмо Евгении не могло быть забыто. У нас родилась непреоборимая охота поста-

вить на своем и умствующего гетмана постричь в родню Куфию. Три дня прошли в приготовлении к сему важному подвигу. Уютная бричка и лошади стояли в моем отцовском доме. Роковой час настал.

В глубокие сумерки прокрался я в жилище Куфия, где и переоделся в приготовленное мною шутовское платье. Куфий, по заведенному порядку, вертелся во внутренних покоях гетмана и забавлял его своим остроумием. Сей властелин наедине с нареченным зятем занимался распоряжениями к торжествам брачным.

В самую полночь, когда огни везде, кроме покоев гетмана, потушены были, я прокрался на женскую половину, и как часовых, так нянек и мамок оделив щедро золотом, объявил, стараясь сколько можно подделаться к голосу и ухваткам Куфия, что дорогая Филонида назначила мне свидание и хочет прогуляться на чистом воздухе. Целомудренные девушки и степенные женщины, смеясь тихонько, уверяли, что нельзя лучшего времени выбрать для прогулки, и внутренне были весьма довольны, что и важная начальница их не совсем без житейских слабостей. Евгения, по предварительному условию, с притворною робостию явилась в полном уборе Филониды, и я с ужимкою великого щеголя взял ее за руку и повел куда было надобно. Без всякого приключения пробрались мы в сад,

достигли ограды, вышли из оной посредством приготовленного от калитки ключа, и я, отдав милую беглянку Леониду, бывшему уже там с бричкою, полетел домой, а любовники поскакали по пирятинской дороге.

Я стану описывать тебе, Неон, ход происшествий в том порядке, как они случались, не затрудняясь объяснениями, откуда я что знаю.

Вскоре за полночь Филонида за какою-то нуждою вышла из спальни в девичью. Все, кои еще не спали, ахнули от удивления. «Как ты сюда прокралась?» – спросили некоторые. «Я прокралась? – сказала ото-ропевшая надзирательница, – разве я куда выходила в полночь?» – «А как же? Разве мы не видали тебя вышедшую отсюда с Куфием?» – «Перекреститесь; вы грезите!» – «Не тебе ли что причудилось?»

Спор поднялся не на шутку. Все хотели быть правы, и Филонида стояла твердо, что она ни шагу из спальни не делала и тени шутовой не видала.

Няньки и мамки уверяли, что все они при свете месяца очень хорошо рассмотрели ее рыцаря, слышали его голос и получили подарки. Тут уstraшенная надзирательница вскричала: «Видно, в моем образе был здесь оборотень! Сейчас посмотрим!»

Она трижды перекрестилась, проворно вошла в комнату Евгении – и окаменела. Постель молодой гос-

пожи была даже не тронута; везде пустота и безмолвие. Болезненный вопль Филониды раздался из угла в угол, испуганные служанки вскочили с постелей и бросились ей на помощь. «Неверные! окаянные! – вопила она, – чего смотрели вы, когда безбожный шут Куфий уводил Евгению? Ах, злодей! Можно ли было только подозревать? Так для того он и подбивался ко мне! Ах, вероломный! Ах, душегубец! Вот подлинно несчастье! Однако терять времени не для чего; их еще догнать можно. О, горе! о, беда!»

С сими словами, растрепав косы и теребя себя по бокам, кинулась она в покои гетмана и застала его на прощанье с нареченным зятем, а Куфий на ту пору, стоя в углу, доканчивал кубок. «Высокоповелительный гетман! – кричала Филонида в отчаянии, – долго поставлю донести, что злокозненный шут Куфий теперь только увел дочь твою Евгению и оба провалялись без вести».

Гетман и князь Станислав поражены были сим доносом. «Куфий? – спросил первый с крайним замешательством, – но когда он успел это сделать, находясь при мне целый вечер и половину ночи?» Куфий, утирая усы, подступил к своей возлюбленной, обошел ее кругом и плачевным голосом промолвил: «Ах, как жаль, что такая молоденькая красавица рехнулась ума! Конечно, ей привиделся домовой в моем

наряде! Не печалься, душа моя! Помолись усерднее, и вся сила вражия тебя не одолеет!»

«Пусть так! – вскричал наконец Никодим, – я своим глазам больше верю, чем ушам, и знаю, что Куфий был при мне безотлучно; но куда ж девалась Евгения? О женщины, кто постигнет ваши прихоти? Не она ли казалась совершенно довольною моим выбором, а накануне свадьбы скрывается! Но почему знать; может быть, она пробралась в дворцовую церковь, дабы наедине помолиться господу богу о ниспослании счастья в новой жизни. Не надобно никого винить, не видя ясных причин к обвинению. Поищем ее подле себя, не делая огласки, и я надеюсь, что найдем!» – «Но зачем же, – сказала рыдающая Филонида, – зачем, идучи на молитву, брать в проводники оборотня и надевать мое спальное платье?» – «Твое платье?» – спросил с пасмурною важностию отец, и печальная надзирательница поведала подробно, что сама узнала от служанок.

Теперь нечего было сомневаться, что Евгения не с тем вышла из своей комнаты, чтоб когда-нибудь или по крайней мере скоро в нее возвратиться.

Гнев отца, оскорбленного в глубине души, и негодование жениха, коего надменность столько унижена, были неописанны. Тот же час дано приказание делать обыск во дворце и в доме Калестина, ибо многие по-

лагали, что домовой в шутовском наряде был не иной кто, как дерзкий любовник Леонид; сверх всего, отряд из полка гетманского послан объездить все окрестности Батурина, чтобы, буде встретит беглецов, задержать и представить в столицу; словом, все было в сильном движении, в суете, но успеха не вышло ни-сколько.

Три дни и три ночи прошли в бесполезных поисках и, наконец, — по обыкновению, — все утихло во дворце и городе; литовский князь отправился восвояси, один гетман пребыл в гневе непрерывном. Тщетно Куфий советовал ему простить дочь виновную и объявить о сем во всех концах Малороссии, — нет! он дал клятву искать случаев к примерному отмщению.

Глава VI

Похороны

Желая утешить больного, огорченного дядю, утром на другой день после сего я подробно уведомил его об удалстве своем и Леонидовом. «Благодарение небу! – воззвал Калестин, – я умираю не без отмщения, и память моя не будет поругана! Объяви сыну и потомству его мое благословение!» При сих словах он поднял вверх руки, устремил в потолок неподвижные взоры, вздохнул – и его не стало. Ты можешь, Неон, вообразить горесть мою, да и как равнодушно снести в одно время потерю брата и дяди, коим обязан был более, нежели жизнью! Опрятав усопшего с надлежащею честью, уложил в великолепном гробе и поехал во дворец. От придворного старшины настоятельно потребовав свидания с гетманом, был введен в его комнату, где, отдав глубокое почтение, сказал: «Высокоповелительный гетман! письмо твое к дяде Калестину имело наконец свое действие! Он оставил уже все требования на дочь твою для своего сына, остается совершенно спокойным и тебе равномерно желает мира и спокойствия». – «Хотя сын его, – отвечал он, – огорчил, обидел меня несказанно, так что и до гроба не надеюсь быть утешен, но для меня отраднo,

что старый друг мой ничего не знал о сем преступном деле. Хотя я Леонида никогда уже не увижу или увижу на эшафоте, но Калестина охотно приму в свои объятия, и он по-прежнему останется моим другом и первым вельможею в совете». — «О гетман! — сказал я с тяжким вздохом, — мой почтенный дядя не имеет уже нужды в земном величии!» — «Как, что это значит?» — спросил гетман протяжно и изменяясь в лице. Вместо ответа я зарыдал, закрыл глаза руками и отошел к стороне. «Понимаю!» — сказал Никодим и замолк. Горестное безмолвие длилось несколько минут. Когда я утер слезы и взглянул, то увидел, что и он сидел за столом, склоня голову на руки и закрыв глаза.

Тогда Куфий, тут же находившийся, подошел к нему, сказал: «Добрый человек!

Я знал Калестина и уверен, что он теперь на тебя не ропщет. Мы ненавидим смерть и представляем ее в виде ужасного чудовища, пока душа наша пребывает в теле; но как скоро она избавится от сего тягостного ига, то мы взглянем на нее с любовью, и она покажется нам в образе прелестного благодетельного ангела, и тогда на все земное будем смотреть, как теперь смотрим на самые черные, гнусные вещи».

Умствующий Куфий достиг своей цели: гетман встал, прошел по комнате взад и вперед и, вздохнувши, произнес: «О мудрый сын Давидов! сколько спра-

ведливо сказал ты: суета суетств и всяческая суета! – Тогда, подошед ко мне, спросил:– Когда же располагаешься отдать последний долг своему дяде?»

– «Послезавтра», – отвечал я, и мы расстались.

Весь город любил покойного дядю за его честность, добродушие и готовность к помощи. Немало подивился я, когда накануне похорон дворецкий подал список особ, кои, посещая покойного, объявили желание проводить гроб до могилы, а это значит, что приготовились по окончании печального обряда хорошо поесть и попить в его доме. Дядя всегда был запаслив, и угощение великого множества народа не делало остановки; но меня затрудняла мысль, где уместить всех. Подумав о сем обстоятельстве, я решился в столовой комнате угостить духовенство и почетнейших людей, а для прочих разбить на дворе шатры, которые равно пригодны во время дождя и ведра. Я приказал сделать нужные на сей предмет распоряжения.

Полуночь, в уреченное время, явились духовные и миряне. Все готово было к начатию отпева, как на улице раздалась унылая, плачевная музыка. Мы бросились к окнам, и общее удивление было немалое, когда увидели гетмана, сопровождаемого знатнейшими чинами военными и целым полком телохранителей.

Позади его развевалось знамя Малороссии, последующее множеством пушек. Все одеяние повелителя

было черное бархатное, вышитое серебром; сабля и кинжал вложены были в такие же ножны. Мы все, как духовные, так и светские, стали в надлежащий порядок и дали свободный путь высокому посетителю. Он вошел в покой, приблизился ко гробу, облобызал чело покойного и стал у возглавия с такою важностию, с таким спокойствием, с таким даже равнодушием, что подивились все, коим известна была прежняя дружба его с Калестином, а известна она была всем до одного. Но когда томные, унылые гласы провозгласили преставившемуся вечную память и приглашали всех предстоящих к отдаванию ему последнего целования, гетман не мог более крепиться; он задрожал, припал на труп, обнял гроб обеими руками и зарыдал горько. Все поражены были сим неожиданным явлением, и слезы брызнули из глаз каждого. И действительно, кого не тронет до глубины сердца сколько горестное, столько и — если смею так сказать — величественное позорище видеть человека, превышающего всех в своем отечестве властью и могуществом, уступающего наконец силе природы наравне с последним из рабов своих!

Никто не дерзал прервать сетования Никодимова. Он скоро, однако, укрепился; облобызал чело, губы и руки Калестиновы и в горестном безмолвии отошел от гроба, утирая белым платком глаза свои и щеки. Об-

щее прощание кончилось. Гетман шел с открытою головою позади гроба. По опущении оного в могилу произведена была пальба из пушек и ружей, и, по отдаии сей последней чести, все возвратились в дом Калестина, не исключая и гетмана, удостоившего обед наш своим присутствием. Вскоре после стола он, с приличною свитою, отправился во дворец, а прочие гости начали бражничать, ибо его пребывание удерживало всех в границах строгой благопристойности. Не знаю, хорошо или худо установлено, чтобы по предании земле родственника или друга заводить пиршества; но утвердительно говорю, что пиршества такого рода, какие у нас в употреблении, то есть исполненные во всем излишества, отвратительны, следовательно, — никуда не годятся.

Несколько за полночь никого из посторонних не оставалось в доме. Я вздохнул покойнее и лег в постелью, но не мог уснуть: обстоятельства сего трогательного дня беспрестанно представлялись моему воображению, а не меньше того и участь Леонида меня занимала. Пока существовал Калестин, то все еще можно было ожидать, что гетман, рано или поздно, сжадется над дочерью и зятем и дозволит опять сердцу своему дать им имена сии; но со смертью сего друга такая надежда была бы уже тщетною, и я очень был уверен, что если раздраженный отец откроет убежи-

ще Леонида, то гибель его, а может быть и моя, будет наградой за премудрую нашу выдумку и произведение оной в действо.

На третий день, по определению войсковой канцелярии, все имение Калестиново описано на казну, и я должен был переселиться в дом родительский. Как собственного моего имущества весьма достаточно было к хорошему содержанию, то я нимало не печалился о сей потере, которая была началом мщения гетманова. Состояние Леонида и Евгении также меня с сей стороны не беспокоило, ибо я знал, что брат мой запасся на дорогу большою суммою денег, а Евгения, по совету дальновидного Куфия, не опустила взять дорогих подарков, какие по временам получала от отца и родственников.

Должность исправлял я сколько можно ревностнее и всегда доволен был благосклонностию гетмана; но как время стояло мирное, то у меня много было досугов, и я, опасаясь скуки, сего яда душевного, взял в дом к себе ученого иезуита, лишенного в батуринской семинарии должности за некоторые вольные мысли, обнаруженные им при многих слушателях. Прилично ли в самом деле бедному монаху умствовать, и притом в столице, в противность общим мнениям и господствующему исповеданию? Но как я давно уже перестал считать себя мальчиком, то и не боялся ере-

тических умствований и смело его к себе приблизил. Время мое текло между исправлением должности и упражнением в науках или, лучше, в повторении того, что знал прежде и что забыто было с течением довольно долгого времени.

Отец Василиск, мой мудрый наставник, был лет пятидесяти. Сколько я ни старался откормить его, но он все походил на усохшую сосну. Это мне не нравилось, ибо, по какому-то предубеждению, я думал, да и теперь даже той веры, что человек совершенно здоровый в хорошей жизни, если не сделается тучен, что означало бы его леность и бездействие, то и тощим не будет; в противном случае я не хочу сомневаться, что в нем нечиста совесть, и это есть единственное причиною его худощавости. Впрочем, сие неудовольствие не мешало мне пользоваться его ученостию и опытами, приобретенными в течение полувекковой жизни. Я охотно дозволил сему монаху говорить предо мною все, что ему угодно, но отнюдь не обнаруживать пред моими домашними тех мыслей, за кои выгнали его из семинарии; он также пользовался полною свободою в комнате своей распевать латинские молитвы до усталости. Словом, со всех сторон казалось, что он мною, а я им довольны были, и таким образом прошел целый год. Все, что только смущало меня до крайности, было молчание Леонидово, и я со-

вершенно не знал об участии моего брата.

Наконец, к неописанной моей радости, и сия горесть сердечная рассеяна, уничтожена. В один вечер, когда я и Василиск с довольным жаром беседовали и – как водится между учеными – спорили, не соглашаясь, какому великому философу дать преимущество в положениях о происхождении добра и зла, о свободе или ограниченности нашей воли и проч., слуга, вошед ко мне с письмом, сказал: «Какой-то незнакомый крестьянин, вызвав меня к воротам и отдав сию бумагу для вручения тебе, пошел прочь скорыми шагами и немедленно скрылся. Не считая за нужное его преследовать, я спокойно воротился в дом».

Надпись на письме была на мое имя, но рука совершенно незнакома. Разломав печать и взглянув на подпись, я вскочил от радости и воскликнул: «Слава богу! наконец я узнаю теперь, мои любезные изгнанники, о месте вашего пребывания! Не осуди, честный отец!» С сими словами я оставил изумленного иезуита и побежал в свою комнату.

Тут дядя Король взял одну бумагу из лежавших пред ним и прочел следующее: «Теперь только, мой любезный друг и брат, я нашел случай о себе уведомить, хотя обстоятельства дела и любовь наша к тебе, совокупясь с вечною благодарностию, давно сего от нас требовали.

В самую ту решительную и вместе счастливую ночь, когда ты, в виде Куфия, умел похитить из неволи и вручить мне Евгению, милую трепещущую Евгению, мы поскакали по пирятинской дороге, и когда начала заниматься заря, то были уже в верстах в тридцати от Батурина. Во все это время нежная моя сопутница плакала беспрестанно; я утешал ее и – также плакал; да и мог ли я удержаться от слез, вспоминая, что оставляю доброго отца и примерного друга, оставляю, может быть, до конца жизни.

Перед восходом солнечным увидели мы впереди недалеко от дороги небольшое селение и слышали звон колоколов. Ты припомнишь, что этот день был воскресный. Я приказал ямщику своему повернуть к молодому перелеску, на правой стороне зеленевшему, и удалился в чащу одного. Тогда, по сделанному условию, моя стыдливая Евгения скинула с себя платье Филониды и оделась в приготовленное мною крестьянское, под пару мне; ибо тебе также памятно, что я в то же время превращался в крестьянина, как ты в шута. Ах! как мила, как прелестна показалась мне Евгения и в сем простом наряде!

Белая, тонкая сорочка, розовая плахта¹⁸ и голубая запаска¹⁹ делали ее прелестнейшею поселянкою.

¹⁸ Род шерстяной юбки различного цвета.

¹⁹ Шерстяной передник.

Прочие украшения составляли: две ленты, коими перевиты были косы, сложенные на голове в виде короны, а на пальцах несколько медных колец под фольгою. Я не мог налюбоваться ею и беспрестанно целовал ее руки, ибо большего счастья я не смел ожидать еще от робкой красавицы. Въехав в селение, мы остановились в крестьянской избе, где я сплел о себе хозяевам повесть, какая мне пришла на мысль. После сего дав нужные приказания проворному ямщику своему Андрону, я отправился с Евгениею в церковь. Во все время богослужения мы усерднейше молились господу богу о ниспослании нам в новом роде жизни счастья, какого будем достойны. По окончании заутрени мы обвенчаны, и честный иерей не мог и подумать, кто такие были бракосочетавшиеся, хотя мы и не скрыли подлинных имен своих. Но мало ли на свете Леонидов и Евгений?

Боже! Какое чувствовал я тогда блаженство! с каким умилением слушал литургию и воссылал мольбы свои к богу любви и милосердия! Тогда-то ощутил я превеликую разность между любовью обыкновенною и супружескою. Я и до того времени – ты сам знаешь – страстно любил Евгению и считал ее дороже моей жизни; но с той минуты, когда пред лицом бога священнослужителем его она отдана мне на всю жизнь и в присутствии множества христиан названа

частью самого меня, я смотрел на нее – как тебе выразить, мой Диомид? – я смотрел на нее, как на свою душу, душу прелестную, разумную, бессмертную, какою вышла она из рук создателя. Каждый взор Евгении был для меня источником бесконечного блаженства; пожатие руки ее, мне кажется, оживило бы меня и на одре смертном!»

– Пришествие Евареста, – говорил дядя, – прервало мое чтение. Но как он знал всю общую тайну и принимал в деле сем немалое участие, то я вознамерился открыть ему и дальнейшие обстоятельства. Прочитав до места, где теперь остановился, я продолжал вслух следующее: «По окончании священнодействия, когда возвратились мы на квартиру, то нашли, что расторопный Андрон успел уже бричку и двух коней продать корчмарю жиду, а на место первой купить крестьянскую кибитку, в которой удобно поместили постель и баул с пожитками. Хотя крайне хотелось нам отдохнуть в сем месте и провести остаток дня и ночь, но благоразумие требовало сколько можно скорее и дальше удалиться от Батурина; почему, отобедав наскоро, я приказал Андрону впрячь в кибитку остальных двух коней и возвратиться домой, а сам, усадив мою милую крестьянку, взмогнулся на козлы и пустился в дорогу. Путешествие наше в день сей шло успешно, и было бы еще успешнее, если бы я почти каж-

дую минуту не оборачивался назад, дабы взглянуть на Евгению, поймать ее улыбку и отблагодарить за нее страстным взглядом. Прибыв к ночи на малолюдный хуторок, мы остановились там до восхода солнечного.

Уже пять дней и пять ночей прошло, как мы были в дороге. О! какое счастливое время! Диомид! у меня нет сил описать тебе мое блаженство! Оно так велико, так усладительно, что ничье перо изъяснить того не может! Но ты можешь чувствовать его, мой достойный друг и брат, можешь им наслаждаться, ибо ты, по образованному уму и доброму сердцу, того достоин. Стоит только тебе найти такую девицу, как моя Евгения, — может быть, это хотя отчасти возможно, — и сделаться любезным ей супругом, тогда и ты будешь пить блаженство из той же чаши, из коей ныне пью я!

В середине шестого дня небо начало облекаться тучами, которые, соединяясь вместе более и более, затмили природу и из светлого полудня произвели серый вечер. Заблистали молнии излучистые, раздались ужасные удары грома, посыпался крупный град, и дождь пролился ливнем. Я остановил лошадей, дабы укутать Евгению и избавить ее от воззрения на сии грозные виды, способные и мужчину привести в трепет. Исправляя сие дело, я заметил, что робкая жена моя, бледная, смятенная, закрывала ру-

ками лицо и стоны вырывались из колеблющейся груди ее. „Что с тобою делается, моя милая?“ – спросил я в крайнем смущении. „Увы, Леонид! – отвечала она дрожащим голосом, – праведное небо настигло наконец преступников. В сем ярком блеске молнии вижу я раздраженный взор отца моего; в сих грохотах грома слышу грозные речи его, исполненные проклятия; в сих порывах ветра чувствую его тяжкие стоны и в сих дождевых потоках вижу его горькие слезы. О, я несчастная! Для чего наслаждения любви покупаются так дорого?“ Тут упала она ниц лицом, и громкие рыдания заглушили голос ее. Сие неожиданное явление растерзало сердце мое. Не отвечая ни слова, да и что мог отвечать я в сем случае, я опустил занавес кибитки, надел свиту,²⁰ накинул на голову торбу²¹ и поехал далее шагом.

Гроза была ужасная. Часто от пламенных разливов молнии кони мои останавливались и от громового треска падали на колени. Река дождевая затемняла воздух, и когда по моему расчету наступал вечер, то на небе была уже ночь самая мрачная. Я сбился с дороги и, не надеясь отыскать ее, мало о том и думал, дал волю коням брести, куда хотят, и прислушивался только, не продолжают ли стоны моей Евгении. Не

²⁰ Верхнее суконное платье у крестьян.

²¹ Род капюшона у свиты.

слыша ничего, я несколько успокоился.

Долго пробыл я в сем несносном, убийственном положении. Опасаясь, чтобы робкие животные не опрокинули повозки в буерак или реку, я сошел с козел и брел, так сказать, ощупью, держа в руках вожжи. С трудом выдергивал я из грязи ноги, и одна пламенная любовь могла только меня поддерживать.

„Потерпи, Леонид, – говорил я сам себе, – ты умел блаженствовать в объятиях Евгении, умеи теперь для ее спокойствия сносить все, что может представить противного злая судьбина; одна улыбка прекрасной жены твоей достаточно наградит за все труды, за все опасности“.

Гроза утишилась, тучи рассеялись, и серебристый месяц покотился по синему небу. Я радостно вздохнул, остановился и загрязненною рукою стирал пот с лица своего. Откинув занавес повозки, я сказал: „Успокойся, милая Евгения, буря прошла в небе, и светлый месяц улыбается. Дозволь, подобно ему, просиять отраде в душе твоей после возмущавшей ее бури! Приподнимись, взгляни на небо и благослови того, который дает иногда волю вихрям, громам и молниям свирепствовать, но вскоре после того, в виде лучезарных светил небесных, отечески улыбается к сынам земли!“ Евгения привстала, взглянула на безоблачное небо и – улыбнулась. Светлый месяц облобы-

зал алые уста ее, и твой брат, упоенный радостью, побрел далее, брел, брел и, наконец, совершенно выбился из сил.

К великому теперь удовольствию моему, корчмарь, у коего мы в тот день обедали, вместо сдачи на червонец, по неимению – по словам его – мелких денег, почти насильно сунул в повозку несколько булок и сулею с вишневною!

Как я на ту пору благодарил его за мошенничество сего рода! Я, конечно, мог бы еще продолжать путь, сидя на козлах; но, видя, что и кони мои едва волокли ноги, остановился, отыскал сей запас и, принудив жену, также всю обмокшую (ибо, хотя циновка на крыше повозки была новая, но все же не кожа, и не могла, вбирая в себя дождь, не передавать его во внутренность), проглотить несколько капель своего эликсира, истинно на такие случаи спасительного, и поесть булки, принялся насыщаться с такою охотою, которая до того времени была мне незнакома, ибо я во всю жизнь не бывал в подобном переделе.

По насыщении нашем надобно было думать о покое. Евгения кое-как отыскала сухое место и улеглась, но мне нельзя было и подумать к ней приблизиться; с головы до ног я облеплен был грязью, а сверх того, казалось опасным оставить лошадей без надзора, хотя я твердо надеялся, что они после претерпенно-

го мучения и не подумают тронуться с места. Подумав о сем обстоятельстве, я привязал вожжи к козлам, а сам, скорчившись в три дуги, на них же улегся. Чтобы не уснуть, я начал припоминать прошедшие случаи моей жизни и рисовать прелестные картины для будущего. Поверишь ли, мой любезный брат, что в тогдашнем положении, конечно, во всех отношениях невыгодном, одна мысль, что я обладаю Евгениею, что она подле меня, что я оставил ее в положении гораздо лучшем, нежели мое, делала меня благополучным. Ведь не всегда же я буду гнаться на козлах в ночную пору: придет время, воссияет солнце светлое, я обсохну, взойдет месяц безоблачный, и я успокоюсь в объятиях моей супруги. Поверишь ли, Диомид, что я в такое, по-видимому, горестное время считал себя счастливейшим человеком.

Весьма часто высовывал я голову из торбы, чтобы посмотреть, не начинает ли светать; но всякий раз, находя небосклон, покрытый сумраком, вздыхал и опять прятался в торбу. Наконец сон начал одолевать меня, и я, сколько ему ни противился, но неприметным образом уснул. Как я после упрекал себя за сию оплошность! Самое меньшее зло, что лошади могут быть украдены и мы остались бы среди поля одни в ожидании какой-нибудь встречи.

Я проснулся от страшного вопля и шума. Вскрываю

с поспешностью, сажусь на козлах и хватаюсь за вожжи. Опомнясь несколько, осматриваюсь во все стороны и вижу вправо несколько кибиток с парусинными наметами. Они примыкались к густому лесу; перед ними на траве разложен был большой пылающий костер, а на железном треноге висел огромный котел. Человек с десять мужчин стояли впереди моих лошадей с изумленным видом, ибо, как казалось, они полагали, что в кибитке никого нет, и считали ее благословенною находкою. Несколько мгновений я не знал, на что решиться и за кого счесть лесных обитателей; но, осмотрев их прилежнее, а особливо их жен и детей, сидевших у огня, увидел, что они не что иное, как плащеватые цыгане и что бояться их нечего, а только крайне надобно беречься».

Тут дядя Король, положив письмо на стол, сказал:
— Я уверен, что ты, Неон, худо знаешь людей сего рода, и потому дам тебе краткое о них понятие. Это не что иное, как и обыкновенные цыгане, но только дичее прочих. По селениям живут они только одну зиму, а с начала весны до глубокой осени кочуют у лесов и в самых даже лесах. Летнее жилище каждой семьи, как бы она, впрочем, ни была многочисленна, составляет одна кибитка с парусинным, суконным, войлочным или из всех сих изделий сшитом по лоскуткам навесе, защищающем их от ведра и ненастья. Одежда как

мужчин, так и женщин состоит в одном плаще, накинутом на плеча, дети же их до совершенного возраста пресмыкаются вовсе нагие. Промысел их состоит: для мужчин в охоте, для женщин в ворожбе, для детей в пляске перед проезжими, а сверх сего, для всех вообще в воровстве, в коем они величайшие искусники.

Пляски их так срамны, так отвратительны, что надобно быть очень бесстыдну, чтобы смотреть на них без зазрения совести. Жизненные потребности всякого рода исправляют они без малейшего понятия не только о законе, но даже и благопристойности. Родители в таких случаях и не думают стыдиться детей, а дети родителей, — да и чувство родства и крови почти для них незнакомо.

Браки между ними также очень просты. Как скоро холостой парень удальством своим, то есть мошенничествами разного рода, приобрел кибитку с навесом, коня со сбруею и пару плащей, сшитых обыкновенно из разноцветных лохмотьев, находимых ими по деревням в сору, то ему дается от атамана позволение выбирать невесту. Тут жених, не объявляя никому, для которой из взрослых девок всего становища назначает он сей завидный жребий, собирает, сколько может, больше приятелей, и все пускаются на промысел. Они у одного крадут что попадется и продают другому, между тем и у сего также крадут и также про-

дают третьему. Словом, проведши в таком упражнении неделю или более, они имеют уже довольно в запаса кур, гусей, уток и поросят. Иногда удается им стянуть барана и угнать теленка. На приобретенные вышеупомянутою торговлею деньги, а иногда также проворством, запасают они вино в таком количестве, чтоб стало довольно для всего стана, ибо в сих случаях и малые дети за долг поставляют участвовать. Когда же все к пиршеству готово, то перед кибиткою жениха разводится великий костер дров и навешиваются котлы на треногах, а жених идет к атаману и объявляет имя избранной счастливцы.

В одну минуту узнает о сем весь стан, невесту ведут к ближнему ручью или озеру и тщательно вымывают, ибо нередко до той минуты бывает она по уши в грязи; после сего с торжеством, состоящим в пении страшных песен и в такой же пляске, подводится она к жениху, который накидывает на нее плащ и обнимает с нежностью сатира. Она садится с ним рядом у костра, выпивают попеременно плошку вина, разбивают ее вдребезги с криком и воплем, и таким образом законный брак заключен по всем правилам. Тут открывается общий пир, и когда все сделаются сыты и пьяны, то молодых укладывают в кибитку и продолжают торжество до тех пор, пока не будет съедено и выпито все припасенное.

Погребение у сих извергов бывает также уродливо. Умершего собрата без дальних церемоний относят нагого на несколько сажений в лес, вырывают мелкую яму, опускают в оную и прикрывают листьями и травой. После сего родственники и друзья покойного пускаются на обыкновенный промысел, и пока не добудут всего нужного, на что иногда требуется дней до десяти, до тех пор труп гниет и нередко бывает приманкою для волков и лисиц, отчего случается, что когда придут все прикрыть его землею, то находят в ней одни оглоданные кости.

— Теперь, Неон, — продолжал дядя Король, — имешь ты некоторое понятие о плащеватых цыганах. — Потом, взяв прежнее письмо в руки, начал читать.

Глава VII

Измена

«„Добрые люди, – сказал я, – объявите мне из милости, далеко ли отсюда до какого-нибудь селения?“ – „Ах! как жаль, – говорил цыганский атаман, – что ты здесь очутился. Я намерен женить своего сына, и твоя кибитка с конями весьма бы мне пригодилась. Что же касается до твоего вопроса, то я отвечаю, что ближе десяти верст не сыщешь ни одной хаты. Каким образом ты здесь очутился?“ – „Пан атаман! – был ответ мой, – как я здесь очутился, до тебя не касается; а если покажешь мне дорогу до первого селения, то в убытке не будешь!“ – „Согласен! – вскричал атаман, – но с тем, чтобы ты довез меня до сельца Мигуны, лежащего несколько в стороне между городом Переяславом и селом Хлопотами. Там я имею дом, который намерен продать; ибо он, стоя невдалеке от других хат, весьма удобен для сбережения животных, которую мне и моим честным собратиям удастся достать в свои руки“.

По заключению сего торга он сел возле меня на козлы, взял вожжи, и – мы поплелись по полю, ибо не только дороги, но и тропинки не было. На досуге захотел я посмотреть, что делает моя Евгения, и нашел,

что она давно уже не спит, что слышала все приключение с цыганами и не показывалась единственно из опасения, чтобы не возбудить нескромного любопытства сих чудовищ, не знающих законов чести и стыдливости. Атаман столько выхвалял передо мною доброту своего дома и сада, что я вознамерился купить его, как скоро он и Евгении покажется удобным. Я сообщил мысль сию цыгану, и он более прежнего начал хвалить все изящество сей маетности. „Никогда, – кричал он, ударяя себя в грудь, – никогда не расстался бы с сим райским местом, если бы по грехам моим не жили весьма близко бессовестные соседи.

Если иногда, бывало, поможет господь затащить к себе свинью или барана, то хрюканье одной и блеяние другого так слышны, как на улице; лихие соседи опрометью прибегают, ищут, находят – и, кроме хлопот, нет никакой прибыли“.

По прибытии в сельцо Мигуны мы остановились в доме цыганского атамана.

Строение было хотя не старое, но запущено совершенно; садик наполнен плодовитыми деревьями, одичавшими хуже лесных; огород порос крапивою и репейником. Однако, осмотря все внимательно, мы нашли, что, употребив немного денег и приложив довольно старания, можно будет из сего логовища звериного сделать удобное и приятное жилище челове-

ческое. Нимало не мешкая, мы условились в цене; я выбрал в свидетели священника Гервасия и отсчитал цыгану условленные двести злотых. Тут-то, любезнейший друг, я поселился под званием польского выходца из шляхетства. Отец Гервасий, приметя, что мы люди небогие, приискал нам батрака и работницу, а сверх того, приказал старшей дочери своей составлять беседу с Евгенией во всякое время, когда только того потребуют.

Запасшись нужными для дома пожитками и орудиями, я принялся с помощью батрака за обработку сада и огорода, и как пора весенняя не совсем миновала, то я в последнем насеял множество разных овощных и цветочных семян и с радостным биением сердца ожидал всхода оных. Каждый день с раннего утра до обеда и с обеда до вечера я занят был работою или в доме, или в саду, или в огороде. Я совершенно был бы счастлив, если бы непрерывного покоя души моей не возмутила печальная новость. У отца Гервасия один сын находится в переяславской бурсе, и он-то сообщил отцу своему разнесшийся слух о похищении гетманской дочери, о неукротимом гневе отца ее и о кончине полковника Калестина. Я и Евгения пролили слезы горести и восслали теплые мольбы к богу милосердия о успокоении души блаженного.

Время все уносит на крилах своих, и наши радости

и печали. К скорейшему утешению нашему не мало способствовало состояние Евгении, имевшей несомнительные признаки, что она будет матерью. Ах, Димид! ты никогда не ощущал сего кроткого усадительного чувства: „Я даю жизнь новому созданию в мире“. С каким восторгом смотрел я на свою Евгению! Мне казалось, что она теперь сделалась более моею, нежели была прежде. Каждый взор на нее был для меня источником нового блаженства.

За шесть перед сим недель благое провидение обрадовало меня дарованием сына, которого нарекли мы Неоном. Сколько радости, сколько восторгов! Мне и на мысль не приходила потеря имения, почестей, звания. Я чувствовал, что счастлив в полной мере, чего ж еще более?

Прости, мой любезный друг и брат! Один из мигуновских крестьян по своим нуждам отправляется в Батурин, и я кое-как склонил его доставить тебе это письмо. Сей простой, добросердечный человек так боится чиновных людей, что и смотреть на них даже издали не дерзает; суди же, чего мне стоило уговорить его побывать в твоём доме. Не найдешь ли ты какой-нибудь возможности урвать от дел и несколько дней посвятить мне и моей Евгении?

Я уверен, что сии дни не будут для тебя потерянными. Если вздумаешь писать к нам, то сыщи сам че-

ловека верного, ибо моего посланного селянина едва ли ты увидишь.

Твой навсегда Леонид».

Дядя Король, окончив чтение письма, продолжал повествование.

– Я и Еварест чрезвычайно были веселы, получив такое сведение о нашем общем друге; мы были счастливы его счастьем.

Спрятав письмо в лежавший на столе Патерик,²² я отправился с Еварестом, дабы провести вечер с его семьей, ибо за месяц перед тем я сговорен был на сестре его Асклиаде, и до брака оставалось ждать недолго.

Домой возвратился я очень поздно и лег в постелю с самыми приятными мыслями. Я надеялся быть скоро столько же счастлив, как и Леонид, или еще более, ибо меня не отравляла горестная мысль, что счастье мое есть похищенное.

Путру я лежал еще в постеле в положении полусонного, как вбежавший в спальню испуганный слуга разбудил меня. Не успел я спросить о причине сего замешательства, как появился Еварест в сопровождении пяти слуг. Он был бледен и трепетен. «Вставай, Король, сию минуту вставай и спеши в свою учебную

²² Одна из церковных книг, в коей описывается житие киевских древних угодников.

комнату». Он схватил меня за руку, стащил с постели, накинул на плеча черкеску и поволок за собою. Я нахотился в самом странном положении и не знал, шутку ли играет друг мой, или в самом деле опасность мне угрожает.

Когда я вовлечен был в помянутую комнату, то Еварест грозно сказал: «Если ты не хочешь остаться совершенно нищим и жить от сострадания других, то отдавай сейчас все твои деньги и дорогие вещи». Я изумился, смотрел на него с вопрошающим взором и не знал, что отвечать. «Где письмо Леонидово?» – вскричал Еварест. Я бросился к столу, раскрыл Патерик и остолбенел, не найдя рокового письма.

«Не трать по-пустому времени, – сказал томно Еварест, взяв меня за руку, – письмо сие находится теперь в руках гетмана». – «Боже! – сказал я с трепетом, – неужели брат мой погибнет? О, я несчастный!»

«Да, – говорил Еварест, – ты действительно несчастлив, что приблизил к себе еретика Василиска; он твой Искарот. Но отдавай мне на сохранение все твои деньги и лучшие вещи. Тебя спасти я не в силах; но что могу, то сделаю».

Я и сам очень ясно видел, что каждая минута приближает мою гибель.

Тот же час на слуг Еварестовых навьючены были мешки с серебром, золотом, дорогою посудой и ору-

жием. Я оставил при себе один кошелек с несколькими стами червонных и ожидал, чем кончится сей странный случай. Весь дом узнал об угрожающей опасности, и смятение, плач, вопль, стоны поколебали стены.

«Итак, Леонид, беспечный и счастливый брат мой, погибнет!» – вскричал я, ломая на руках пальцы. «Будь рассудительнее, – сказал с важностью Еварест, похаживая по комнате. – Неужели думал ты, что сбережение твоего серебра и золота озаботит меня более, нежели спасение нашего друга? Как скоро благородный Куфий известил меня об угрожающей опасности, то я в ту же минуту снарядил самого надежного из слуг своих скакать сломя голову в сельцо Мигуны и обо всем известить Леонида, дабы он к спасению своему мог принять надлежащие меры. Сколько нам всем известно, то гетман не посылал еще погони для задержания счастливых супругов, следовательно, мой посланный целым полуднем успеет раньше прибыть к ним и обо всем уведомить».

Еварест поспешно удалился, и я, приняв наружно вид совершенно спокойного человека, остался ожидать разрешения судьбы своей. Всякое покушение к побегу казалось мне весьма неразумным, ибо, вероятно, на всех заставах приказано уже задержать меня, и я поступком сим умножил бы только гнев гетма-

на и вину свою.

Через час после сего полковник стародубовского полка, почтенный старец и хороший приятель моего покойного дяди, прибыл ко мне в дом в сопровождении двадцати гетманских телохранителей. «Друг мой Диомид! – сказал он с горькой улыбкою, – для меня крайне прискорбно, что теперь, посещая тебя, должен быть твоим стражем. Что делать! я человек подвластный и обязан исполнять повеления старшего. Впрочем, будь доволен, что на меня пал жребий охранять тебя. Всякий другой на моем месте постарался бы угодить раздраженному гетману и стеснил бы твою свободу; но я сего не сделаю. Мне известны твои правила, и ты, наверно, погубить меня не захочешь. Делай, что знаешь, но только не выходи из дому и не высылай из оногo никакого имущества до разрешения войсковой канцелярии, в которой произведено будет следствие о похищении дочери гетмана. Я полагаю, что самое величайшее зло, какое тебя постичь может, будет не более, как лишение звания и имения, а наконец изгнание из Батурина». – «Разве этого мало?» – спросил я, тяжело вздохнувши. «Друг мой! – отвечал старик, – ведь и потеря дочери также чего-нибудь стоит!»

Три дня провел я в ужасной неизвестности; друзья и знакомые меня оставили; одни Еварест и Куфий

скрытно посещали дом мой. Наконец вышло определение, какое предрекал страж мой и которое тебе, Неон, уже известно.

С стесненным сердцем, с растерзанною душою сел я на коня и выехал из Батурина. Первая мысль моя была посетить сельцо Мигуны, хотя и твердо был уверен, что не найду уже там ни Леонида, ни Евгении. Так и вышло. Отец Гервасий повестил меня, что искомые мною супруги неизвестно по каким причинам мгновенно скрылись, оставя дитя свое на воспитание вдовой попадье, его невестке. Я бросился к сей особе и, к немалому ужасу, узнал, что младенец неизвестно кем похищен. Что мне оставалось делать? Я был совершенно один во всей природе, и мрачная пустота тяготила душу мою. Не имея никакого занятия, не предположа никакой цели, я бродил из одного места в другое; везде видел лица незнакомые, везде чувствовал сердца чуждые, холодные. Я старался питать алчущих, поить жаждущих, не жалел денег там, где только примечал бедность; но ничто не веселило сердца моего, ибо везде находил обман, своекорыстие, неблагодарность. Расстройство души имело сильное влияние на здоровье тела. Силы начали приметно умиляться, а наконец, совсем исчезли; изнеможение разлилось по всем суставам, и я походил на едва движущийся оловянный остров. Так провел я десять лет кочующей жиз-

ни, которую и жизнью назвать не должно, и приблизился ко гробу, давно мною желанному.

В сие время борьбы остатков жизни со смертью случилось мне проживать в Переяславле на квартире в шинке знакомой тебе Матридии. Видя меня в сей крайности, она вместо лекаря призвала ко мне из монастыря инокa Герасима, который славился своею ученостию, красноречием и благочестивою жизнью и который вскоре потом в награду за сии достоинства возведен был в степень ректора семинарии. Ты его довольно знаешь.

Разумный Герасим умел скоро приобрести всю мою доверенность, и я не усомнился открыть ему обстоятельства всей жизни моей. Выслушав внимательно, он сказал: «Друг мой! источник твоей болезни есть бездействие души и тела. Если хочешь – при помощи господней – возвратить прежнее здоровье, то найди себе постоянную работу, и ты сам увидишь, что скоро все примет другой вид. Подле квартиры твоей есть продажный домик с небольшим садом и просторным местом для огорода. Теперь самая удобная пора для сельских работ. Начни трудиться, не отлагая времени, помолись богу, и он тебе во всем поможет. В часы, посвященные для отдыха, приходи ко мне. Я могу снабжать тебя из монастырской библиотеки книгами всякого рода, и ты никогда не будешь знать самой мучи-

тельной болезни, скукою называемой».

Я послушал сего благого совета, привел его в исполнение, и уже садовничал и огородничал два года, как поймал тебя на воровстве. Ты сам знаешь, как я был здоров тогда и крепок.

Глава VIII

Великая потеря

– Во все сие время, – продолжал дядя, – я не имел ни малейшего сведения о брате Леониде. Я начинал думать, что его нет более в живых, иначе, как бы не найти случая известить о себе лучшего своего друга. Иногда и то приходило мне на мысль, что он не знал моего местопребывания, хотя я и не имел причины таить своего имени. Словом, я не знал лучшего способа к утешению, как работать в огороде, а во время досугов и во дни праздничные читать духовные книги или беседовать с отцом Герасимом, который со времени совершенного моего исцеления взирал на меня с таким же удовольствием, с каким я смотрел на возвращенные мною арбузы или дыню. Какое различие находил я между сим кротким, богобоязненным иноком и между моим надменным, неблагодарным иезуитом!

В один осенний вечер, лишь только возвратился я из города и вошел в свою светелку, как незнакомый черноморец бросился ко мне на шею, и горячие слезы его оросили мои щеки. Сначала я крайне изумился; но кто опишет мое поражение, когда в незнакомце узнал любезного друга и брата! «Леонид! – вскричал я с восторгом, – тебя ли обнимаю? Какими судьбами

ты опять возвращен мне? С тобою ли твоя Евгения? с тобою ли сын твой? Где они? Введи их сюда скорее!» – «О Диомид, – отвечал брат с новыми слезами на глазах, – благодарение милосердому небу, Евгения опять со мною, но, увы! первенец любви нашей погиб невосвратно. Я простился с женою до завтрашнего вечера и буду иметь довольно времени уведомить тебя о главнейших происшествиях, во время бегства моего из сельца Мигунов случившихся».

Услышав с несказанною радостью, что брат пробудет у меня целые сутки, я принес из погреба добрую сулею наливки и довольно количество разных овощей, а между тем, желая попотчевать милого гостя ужином на городскую статью, я велел батраку заказать в корчме несколько кушаньев по-праздничному. Распорядясь таким образом, мы уселись возле сулеи, осушили по кубку, и Леонид начал свое повествование:

– Ты согласишься, любезный друг, в каком ужасном исступлении были мы, когда гонец Еварестов объявил, что письмо мое к тебе попало в руки непримиримого гетмана, что местопребывание наше открыто и что с часу на час надобно ожидать нарочных, которые нас задержат и представят на суд гонителя. Что предпринять в сей крайности? Куда деваться с малюткою? Не сделается ли он добычею непогод небесных, да-

же самого солнечного зноя? Да и как прокормит его мать, находящаяся в беспрестанной тревоге, подверженная неизбежным огорчениям! К счастью – мы так тогда думали – пришла нам на мысль знакомка наша Рипсима, вдовая попадья, родственница Гервасиева. Она незадолго до смерти мужа родила и была так дородна и здорова, что, казалось, без всякого изнурения прокормить может двух младенцев. Мы прибежали к ней с своим Неоном, и я, показав ей кошелек с червонными, весьма легко склонил принять на себя новую обязанность, а в случае, буде бы она почувствовала, что ее для двоих детей недостаточно, то дозволялось приискать для нашего сына особую кормилицу и платить ей из сих денег. Я обещался скоро о ней поведать и вновь прислать вспоможение.

Согласившись во всем, я написал записку, в коей объяснил о законности рождения Неонова, снял с руки своей и Евгениной обручальные кольца, связал их шнурком, уместил все в шелковую сумку и повесил на шею малютки. После сего, омыв его слезами и поручив господу богу, выбежали из дому Рипсимы. Я запрег повозку, – ибо она и пара коней всегда у меня на всякий случай оставались в целости, – уклад самое необходимое, взмогнулся на козлы – и повез свою милую куда глаза глядели. Евгения и теперь проливала слезы, подобно как при побеге из Батурина. «Неуже-

ли я рождена для одних только потерь и горестей», — говорила она и стенала. Я не смел и подумать об утешении терзающейся матери.

С сего времени вели мы кочевую жизнь, пробираясь ближе и ближе к Запорожью. Мне казалось, что жить на тамошних хуторах было всего безопаснее.²³ Но как сии одичалые люди и для своих собратий, а особливо семейных, не совсем были безопасны, то я избрал себе новым местом жительства небольшую усадьбу на берегу Днепра по сю сторону порогов, которая состояла из десяти хат, населенных малороссиянами, упражнявшимися в рыболовстве. В короткое время за небольшие деньги соорудили и мне уютную хату; я нанял парня и девку и запасся сетями для ловли рыбы. Тут-то уже я думал быть вне всякой опасности, ибо никому из знакомых не намерен был открывать места своего пребывания, ниже тебе, любезный брат, хотя бы случай и открыл мне твое убежище; ибо я твердо был уверен, что в Батурине тебе не жить более после обнаружения нашего заговора. Таким образом, среди легких трудов, сердечной любви, душевного спокойствия и жизненного довольства провели мы четыре года, и Евгения подарила меня дочерью, ко-

²³ В Запорожской Сечи строго запрещалось иметь жен и вообще женщин, и те из казаков, кои имели случай жениться, должны были жить на хуторах, занимаясь скотоводством и рыбною ловлею.

тору в ближнем селении окрестили и называли Мелитиною. У меня было небольшое стадо овец, за которым смотрел работник, несколько коров и достаточное число птиц дворовых. К концу каждого лета приезжали к нам чумаки, привозили муку и соль и меняли произведения сии на сухую и соленую рыбу. Мы ни в чем не имели недостатка, были здоровы, не зная лекарств, веселы без больших собраний и пиршеств; и так протекли еще шесть лет.

Тут начала тревожить нас горестная мысль о будущей судьбе нашей дочери. «Что будет с Мелитиною? — говорил я своей супруге, — судя по законам природы и образу нашей простой жизни, мы должны пережить отца твоего, если не будем столько счастливы, чтобы и прежде его смерти получили забвение нашего поступка. Мы возвратимся в отчизну, можем получить назад свое имение; но что начнем с дикою, необразованною, а может быть — одна мысль сия леденит кровь мою — с распутной девкою? Сколько бы тщательно мы ни берегли ее, но как устережем, чтоб она не видалась с своими подругами, чтобы не переняла от них всего, что только есть подлого, предосудительного.

Самая благонравная из ваших девушек показалась бы в городе извергом бесстыдства».

Обдумав предмет сей с надлежащею осторожно-

стию, я решился подвергнуть себя величайшей опасности, лишь бы спасти Мелитину. Когда я сообщил мысли свои Евгении, то она ахнула и побледнела, ибо мне необходимо надобно было оставить ее одну на довольно долгое время. Однако ж мои доводы и любовь ее к милой дочери наконец ее преклонили. Она отерла слезы и сказала с нежною улыбкою: «Так и быть! поезжай с богом и возвращайся счастливо». В скором времени я собрался, простился с Евгенией и поехал с Мелитиною по направлению к Батурину. Двухнедельная дорога была счастлива, и я, остановись в одном из хуторов Еварестовых, послал к нему нарочного с запискою: «Один из ближайших друзей твоих желает с тобою видеться». На другой день, рано поутру, прискакал Еварест в хутор. Я не в силах описать тебе его радости, когда узнал меня, и того восхищения, с каким бросились мы в объятия один другого. «Еварест! — сказал я по утешении первых сердечных волнений, — вот дочь Леонида и Евгении! Я вручаю сие драгоценное перло тебе и твоей супруге. Заклинаю нашу дружбою, заклиная самым богом, прими мою Мелитину и воспитай как дочь свою, так, чтобы она достойна была своих предков. Вечная благодарность наша и ее собственная будет сопровождать каждый шаг твой».

Еварест снова меня обнял и дал торжественную

клятву содержать и воспитывать Мелитину под именем своей племянницы. Весь день тот провели мы вместе с несказанным удовольствием и поздно уже ввечеру расстались.

Мы не могли удержать слез своих, малютка рыдала. Я вырвался из их объятий, вскочил в повозку и поскакал во всю мочь конскую. Обратная поездка моя была также благополучна и скорее прежней, ибо никто уже меня в пути не задерживал.

Как радостно забилося сердце мое, когда я издали увидел свою хату! Я летел, а не ехал. Подъезжая поближе, я свистал и сколько было сил кричал на лошадей, дабы дать знать Евгении о прибытии ее друга; однако ж никто не показывался. Въезжаю на двор, шумлю, бурлю – нет никого. Сначала сердце мое окаменело, но быстрая мысль меня успокоила: конечно, она пошла в сей лесок рассеять тоску свою или на берегу Днепра покоится. Я начал хладнокровно распрягать коней. Вдруг является мой работник – и бледнеет. Холодный пот выступил на лбу моем, и глаза покрылись мраком.

«Где хозяйка?» – спросил я дрожащим голосом, ухватясь за повозку, дабы не свалиться на землю. «Ах! – отвечал малый со слезами, – уже боле двух недель, как ее нет здесь». – «Где же она?» – спросил я с судорожным движением. Он говорил: «В одну ночь,

когда мы все находились в глубоком сне, вдруг разбужены были шумом и стуком. Я и работница вскочили и бросились в светелку, где спала хозяйка. Там, при свете фонаря, увидел я человек пять черноморцев, из коих главный говорил: „Ты должна повиноваться, и всякое сопротивление теперь не у места“. Евгения упала на колени, умоляла о помиловании, но напрасно; злодеи бросились на нее, завязали платком рот, схватили на руки и вынесли на двор. Там стояла уже бричка. Ее уложили весьма бережно; один сел на козлы, а прочие бросились на коней, и все поскакали. Более мы ничего не знаем!»

Ты можешь, Диомид, хотя несколько чувствовать весь ужас тогдашнего моего положения; но я не в силах выразить страдания, какое ощущал в то злополучное время. Целая гора обрушилась на мое сердце, весь ад свирепствовал в душе моей!

Я столько был расстроен, утомлен, обессилен в немногие минуты страдания, что не иначе, как с помощью батрака и подоспевшей работницы мог доплестись до своей комнаты, где и уложен в постелью. Трои сутки пробыл я или в совершенном бесчувствии, или в сумасбродстве. Мысленно сражался я с безбожными похитителями, побеждал их, возвращал свободу моей Евгении и в сем положении приходил в себя, чувствовал свою бедность и беспомощность и снова по-

грузился в забытие. Наконец – благодарение милосердому промыслу – крепость моего сложения взяла верх, а надежда возратить когда-либо свою великую потерю довершила мое воскресение. Через неделю я мог уже, хотя дрожащими ногами, бродить по комнате и начал понемногу употреблять пищу.

Первое дело мое по выздоровлении было осмотреть наши деньги и пожитки, и я, к немалому удивлению, нашел, что все было цело и на своем месте. Из сего всякий заключить может, что мнимые разбойники при похищении жены моей имели в предмете приобретение ее одной, а не имущества. Новая горесть, новое поле к печальным догадкам!

Когда я столько оправился, что мог довольно твердо стоять на ногах, то взяв к себе деньги и лучшие вещи, остальное все запер в светелке и, дав батраку довольно денег, наказал ему беречь усердно мой дом и стадо во все время моей отлучки, хотя бы продолжалась она несколько месяцев и даже лет, обещая по возвращении наградить его щедро. После сего, взмостясь на коня, я отправился прямо в Запорожскую Сечь. По прибытии в сию чудовищную столицу свободы, равенства и бесчиния всякого рода тотчас явился я к войсковому писарю, объявил желание быть черноморцем, тут же вписан в книгу под именем Леона Рукатого, и в одном из куреней отведено мне место

длиною в сажень и шириною в полтора аршина, которое должно служить мне ночлегом. Получив таким образом право гражданства, то есть высокое право похабничать, забиячить и даже разбойничать (последнее дозволяется только вне пределов запорожских), я исправно оделся по-казацки, вооружился и, дав куренному атаману денег, дабы сделать на них пирушку моим сокуренникам, пустился на коне осмотреть все хуторы запорожские, где жили казаки женатые и дозволялось привитать шинкаркам беззамужним.

В странствии сем пробыл я более недели, но напрасно. Под разными предлогами заглядывал в каждую хату, но и тени Евгении нигде не видно было.

Я медленно возвращался домой, и сердечная тоска была неразлучною мне спутницей.

Мне пришло на мысль, что, может быть, мои достойные сослуживцы, по давно заведенному обычаю, сделавшемуся уже законом, получив во власть свою Евгению, продали ее туркам, татарам или полякам. Такие случаи между ними весьма не редки. Посему я твердо решился осмотреть все сопредельные к Запорожью стороны.

Удовлетворя и сему желанию, я оставался безутешен, ибо нигде не находил своей потери. Я участвовал во многих походах и сражениях противу татар и турков и сделался известен моим сослуживцам так,

что к исходу года пожалован в есаулы. Весьма завидная участь для Леонида без Евгении!

Глава IX

Надежное пристанище

Из всех сподвижников моих на полях брани отличал я и приближал к себе казака Реаса, который телом и ухватками совершенно походил на Адрамелеха,²⁴ а душою на херувима. Никогда робость не разливала трепета в сердце его; но оказать побежденному врагу защиту и помощь было для него необходимостью. Он полюбил меня, сражался всегда возле, и я не один раз обязан был ему свободой и жизнью.

Зима прошла в бездействии, и самым важным занятием была рыбная ловля.

Как скоро весна показалась, то мы с Реасом не знали, за что приняться, ибо мирное время не позволяло нашему оружию быть в действии.

Однажды, когда Реас рассматривал полученную им в разные времена добычу, состоящую в дорогих вещах и оружии всякого рода, то я сказал, что сабля, на ту пору бывшая в руках его, отменной доброты. «Твоя правда, – отвечал Реас, – но когда я ни взгляну на нее, то на душе у меня туманится.

Ах! может быть, эта вещь стоит жизни двух существ

²⁴ Злейшей и упорнейший из дьяволов.

невинных. За тайну могу открыть тебе, как досталась мне сия дорогая сабля; но, чур, никому ни слова». Я дал обещание быть молчаливым, и он, севши подле меня, начал так: «До прибытия в Запорожскую Сечь я служил в полку Полтавском хорунжим и был негодяй из негодяев. Некоторая надобность привела меня в Батурин, и на пущую беду – во время ярмарки. Теперь тому около двух лет. Всем известно, как ярмарки для молодого казака соблазнительны. В три дни прогулял я все бывшие со мною деньги, коня и платье, так что остался в одной сорочке. Когда в сем неприятном положении сидел я в шинке подгорюнившись, вдруг вошел дворцовый старшина, которого знал я и был им несколько знаем. Он взял меня за руку, ввел в особенную горенку и сказал: „Стыдись, Реас! прилично ли такому храброму казаку печалиться из безделицы? Ты лишился всей одежды? Это ничего! послужи верно одну службу, и ты сегодня же будешь одет, получишь доброго коня и много денег“. Я дал христианскую клятву свято исполнить его поручение, хотя бы понадобилось лезть в горло самого беса, и старшина продолжал: „Знай, Реас, что у гетмана нашего была дочь Евгения и с небольшим за тринадцать лет пред сим похищена сотником гетманского полка Леонидом. Тщетно раздраженный отец искал беглецов более года; наконец, нашел, дал повеление за-

хватить их; но они ускользнули и до сих пор пропадали без вести. Незадолго пред сим некоторые из батуринских чумаков, возвратившиеся из Запорожья, открыли своим женам, что они признали Леонида и Евгению; жены поведали о сем кумам, а кумы – сватам, так что вскоре прослышали о том придворные паны, а наконец, и сам гетман. По рассказам чумаков, так их отыскать нетрудно. Они имеют постоянное жилище в рыбацьем стану по сю сторону второго днепровского порога. Воля гетманова состоит в том, чтобы достать беглецов и с малолетнею их дочерью в свои руки. Тут силою ничего нельзя сделать без опасности раздражить запорожцев, ибо помянутый стан находится на их земле; надобно употребить осторожность, разум. Возьмешь ли ты на себя сие дело?“ – „Не только возьму, – вскричал я отважно, – но сверх того, даю клятвенное обещание исполнить его в точности!“ – „Хорошо, – сказал старшина, подавая мне большой кошелек с серебряными деньгами, – вот тебе на первый случай; повеселись, да смотри, никому ни слова. Я скоро сюда буду“.

Легкая одежда, состоявшая, как сказал я, в одной сорочке, не мешала мне приняться за веселье. Я уставил стол сулеями с разными напитками и блюдами со съестными припасами и принялся за дело. Под вечер явился ко мне старшина и внес целый узел, в

коем нашел я полное запорожское платье и оружие. Когда я оделся и вооружился, то старшина сказал: „Не пренебрегай этою саблей, даром что она не очень казиста; ее дарит тебе гетман из своей оружейной палаты, и такой подарок для храброго человека дороже золота.

Приищи себе трех или четырех товарищей. Бричка в три лошади стоит здесь на дворе. Вот тебе на дорожку кошелек с золотыми деньгами и это письмо. Как скоро пленишь ты помянутую семью, то скачи прямо в Переяславль. Отдай письмо игуменье девичьего монастыря и тогда же вручи ей Евгению. После сего с Леонидом и его дочерью поспешай в Батулин и явись ко мне. Более всего смотри, чтоб не ускользнул Леонид; он лукав и затейлив“.

Имея кучу денег, мне нетрудно было подговорить четырех товарищей, от коих, однако, в силу данного мне наставления, я скрыл подлинные имена будущих наших пленников. Мы отправились в путь и благополучно прибыли к цели путешествия. Тщательно осведомился я о жилище Леонида и, к крайнему неудовольствию, тут же узнал, что его с дочерью нет на месте.

Посоветовавшись с друзьями, что нам делать, большинством голосов решили похитить покуда одну Евгению и доставить в Переяславль, а давши о

сем отповедь знакомцу моему старшине, пуститься за Леонидом, буде присутствие его в Батурине покажется гетману необходимо нужным.

Предприятие наше имело желанный успех. Евгения весьма бережно доставлена в Переяславль и отдана игуменье. Мы прибыли в Батурин и уведомили старшину о всем происшедшем. Он крайне встревожился и вскричал грозным голосом: „Безумные! неужели не могли вы размыслить, что приобретение похитителя-зятя было бы для оскорбленного отца отраднее, чем похищенной дочери? Сейчас ступайте обратно и не смейте возвращаться без Леонида“.

С сими словами он вышел со гневом. Мы крайне подивились такому приему, какого отнюдь не ожидали. Что нам оставалось другое, как не отправиться скорее в жилище Леонидово; но как объяснить тебе наше огорчение, когда, прибыв на место, узнали, что он был там, но за несколько дней пред нами отправился неизвестно куда, а по всему видно, что надолго или и навсегда.

Подумав, погадав, мы приняли самое благоразумное намерение не возвращаться никогда не только в Батурин, но даже и в Малороссию, а пуститься в Запорожье и сделаться братьями храбрых людей. Мы по сему исполнили, и ты, зная меня довольно давно, не мог не приметить, как иногда в кругу товарищей,

веселящихся после одержанной победы, я, смотря на свою саблю, вздыхал и чуть не плакал. Ах! это было мучительное раскаяние, для чего я сию спасительницу жизни моей приобрел погибелью двух любящихся супругов!»

Так окончил Реас повесть свою, замолчал и, утирая глаза, начал укладывать в порядке разнородную свою добычу.

Ты легко представишь, любезный брат, чувствования, потрясавшие душу мою и терзавшие сердце. Если бы Реас обратил на то внимание, то он не мог бы не заметить, что я трепетал во всем теле; блуждающие глаза мои устремлены были на рассказчика и дыхание спиралось в груди моей. «Бедная Евгения! — сказал я сам себе, пришед несколько в чувство, — итак, ты в заточении? Итак, томишься ты под мрачными сводами монастырскими? Ах! твоё состояние горестнее моего! Хотя мы оба разлучены с детьми и друг с другом, но я пользуюсь свободою, а ты лишена и сего утешения. Бедная мать! бедная супруга! надобно спасти тебя, хотя бы это стоило жизни моей!»

Подумав несколько минут о своем предприятии, я сказал: «Реас! ты вверил мне тайну, хотя она собственно не твоя, а чужая; я, напротив, намерен вверить тебе мою собственную, драгоценную тайну и надеюсь, что если ты не согласишься помогать в моем

намерении, то и мешать мне не будешь.

Убийственная и даже бесчестная жизнь, нами в Запорожье провождаемая, мне наконец опротивела; да и чего впредь должны ожидать мы, как не гибели?

Рано или поздно, а которая-нибудь из соседних держав обрушится на нас всеми силами, и – что из Сечи останется? Кучи золы и громады черепов казацких. Не покойнее ли, не счастливее ли нас живет беднейший селянин в Малороссии?

Разве мало у нас имущества? Почему не выбрать нам какого-нибудь уютного жилища подалее от Батурина? Если жива еще жена, тобою оставленная, ты возьмешь ее к себе; если же нет ее более, ты найдешь другую и будешь жить в тишине, в довольстве, в счастии».

Реас уставил на мне неподвижно глаза свои и после, вздохнувши, спросил: «Если бы я и согласился кинуть такую поганую жизнь, которая несравненно хуже цыганской, то как это сделать? Разве не известно тебе, чему подвергается всякий, осмеливающийся сделаться изменником своей клятве?» – «Что значит такая клятва? – говорил я хладнокровно, – если бы ты обещался медведю вечно жить в его логовище, куда завела тебя злая судьба твоя, то неужели не воспользовался бы первым случаем уйти от чудовища, чем каждую минуту опасаться растерзания?»

Словом, я так расположил свои доводы, говорил так убедительно, что наконец совершенно преклонил Раса на свою сторону, а он в жару восторга обещался подговорить еще человек пять, шесть из самых завязых. Он сдержал свое слово. Скоро помянутые храбрецы к нам пристали, и в моем курене, за баклагами вина, заключен союз освобождения от добровольной неволи.

Вследствие общего условия мои будущие сопутники, под видом посещения хуторов для закупки вина, мяса и хлеба, мало-помалу начали скрытно выносить пожитки в недалний лес на берегу Днепра и прятали их в потаенных трущобах.

Когда все таким образом было в готовности к побегу, мы, по обыкновению, испросили благословение от атамана напасть на некоторое малороссийское селение, жители коего будто бы некогда угнали из такого-то хутора несколько овец с ягнятами. Под вечер выехали мы из Сечи, запасшись несколькими заводными конями. При въезде в лес, хранилище наших сокровищ, мы расположились станом и пробыли до заката солнечного, а тогда начали навьючивать коней и, при заре вечерней переправясь на приготовленном пароме через Днепр, пустились по направлению к Полтаве. Я столько выхвалял пределы переяславские и неременное намерение мое поселиться

в окрестностях оного, что все сопутники пожелали за мною и Реасом последовать, ибо сей витязь испросил у меня дозволения жить и умереть вместе со мною. Наконец, достигли мы Переяславля, и тут-то открыл я Реасу важнейшую мою тайну относительно Евгении. Он немало сему подивился, просил прощения в учиненном злодействе и дал клятву приложить все силы к освобождению моей пленницы. Из предусмотрительности я остановился с Реасом в одной корчме, а прочие в других по одному, и всякий занялся, чем хотел, ожидая дальнейших от меня приказаний.

С сего времени начали мы с Реасом разъезжать по всем окрестностям Переяславля, допытываясь, не продается ли где-нибудь хутор; но поиски наши целую неделю были тщетны. Наконец, провидение сжалилось надо мною. В один день, обедая в селе Млинах, мы изъявляли сожаление свое корчмарю жиду Хаму, что не можем найти себе продажного места, где могли бы в шести семьях поместиться. «Я могу в сем случае услужить тебе, – сказал Хам, – и если ты не такой гуляка, как большая часть твоих товарищей черноморцев, то будешь доволен предлагаемым мною хутором. Целая половина села сего принадлежит пану Агафону; но он любил провождать жизнь, а особливо летом, за пять верст отсюда в хуторе, расположенном в большом овраге. Там находится пространный господ-

ский дом с обширным садом, а по сторону – до десяти хат для слугителей. Дно оврага оканчивается просторным лугом, посередине коего протекает ручей, усаженный липами, ивами и раkitником. На поверхности половина оврага окружается дремучим лесом, а другая – нивами. Пока жив был пан Агафон, то он, весьма любя сие место, украшал его сколько умел и проживал в нем со всеми домашними большую половину года; но как скоро умер, чему уже около десяти лет, то жена и дети, жившие там из одного принуждения, как в плену вавилонском, перебрались в село и кинули навсегда ненавистную для них юдоль плачевную».

Я прельстился таким описанием и пожелал тотчас видеть сие прекрасное место, как будто нарочно для меня устроенное. Жид за несколько злотых дал нам проводника; мы достигли оврага, спустились на дно одного на конях довольно удобно, осмотрели все и не могли налюбоваться. Конечно, десятилетнее время положило во многих местах печать разрушения; но все, при помощи нескольких рук, хутор сей привести в прежнее устройство было легче, чем некогда в сельце Мигунах цыганское логовище сделать удобным для пребывания людей. В тот же день жид Хам привел меня ко вдове Агафоновой; она не дорожилась местом, совсем для нее ненужным, а я с своей стороны не ску-

пился, и мы сейчас заключили торг. Она приняла от меня деньги, а я взял от нее запись на владение сим поместьем и, под именем Мемнона, сделался обладателем оногo.

Три дня прошло, пока все мы кое-как устроились. В господском доме сделал я каждой комнате назначение и отвел особливую для Реаса. Пожитки мои, состоящие в золотых и серебряных вещах, в драгоценных камнях и перлах, а равно в великом множестве оружия и платья разных народов уложены были надлежащим порядком. Чтобы жене моей – которой настоящее имя и состояние известно было одному Реасу и которую я при прочих товарищах называл Евлалией – не оставаться совершенно одной между столькими мужчинами, я, по предстательству жида Хама, в селе Млинах нанял двух работников с их женами и детьми и поместил их в двух пустых хатах. После сего запаслись мы на довольноe время житейскими припасами, и когда все было готово, тогда я начал уже думать об освобождении жены моей из плена.

– В сие время батрак мой, – продолжал дядя Король, – принес из корчмы сытный ужин; Леонид отложил продолжение повести своей до утра, и мы, благословясь, начали насыщаться. По окончании трапезы я спросил: «Для меня одно непонятно, друг мой! Ты купил поместье, устроил оноe, водворил своих сопут-

ников, а не подумал справиться о своем сыне, когда я, будучи только его дядею, почел сие неременною обязанностью». — «Увы! — отвечал Леонид с тяжким вздохом, — я не хотел возмущать сердца твоего в сии минуты радостные. Знай же: на другой день по прибытию моем в Переяславль я полетел в село Мигуны и прямо в дом ко вдове попадье. Каким громовым ударом я поражен был, услыша, что уже более пяти лет, как она преставилась. Бегу к отцу Гервасию, объявляю о себе и спрашиваю: „Где сын мой?“ — „Ничего не могу сказать, — отвечал иерей с пасмурным видом. — Мы долго считали его похищенным теми людьми, кои и тебя с женою здесь искали; но покойная невестка моя, борясь со смертию и не стерпя мучений совести, при конце дней своих призналась, что она, не могши противиться искушению сатанинскому, ослепилась золотом, данным тобою на содержание сына, пожалела тратить оное и, сокрыв дитя в корзину, вынесла на большую дорогу, ведущую от Переяславля к Пирятину, и там оставила. Что дальше последовало с бедным малюткою, и сама покойница не знала“. С растерзанным сердцем я возвратился в город».

Глава X

Дьявол

На другой день поутру Леонид продолжал повествование следующими словами:

– Устроив новое жилище свое, сколько по краткости времени можно было лучше, я отправился с Реасом в Переяславль, наказав остающимся в хуторе, чтобы не беспокоились, если мы несколько дней пробудем в отлучке. Приехав в город и остановясь в корчме недалеко от монастыря, прежде всего купил я покойную бричку и уложил в ней хорошую постель, ибо я, со времени поселения в Запорожье, не знал другой, кроме войлока или рогожи. Стараясь от приходящих в сию обитель веселия сколько можно подробнее узнать о населяющих другую обитель благочестивых стариц, я, к неописанной радости, проведал, что монастырский привратник, столько нужная для меня особа, был бы старик порядочный, если бы не предавался излишней веселости. – «Сколько мне известно, – сказал церковный сторож со злою улыбкою, – то честный собрат мой Ариан имел бы изрядный достаток, если бы всего, что ни получит от доброхотных дателей, не оставлял здесь, в сем омуте бездонном. Ба! да вот и он сам», – вскричал сторож, указав на во-

шедшего лысого старика с багровыми щеками и красно-синим носом. — «Жид! — возопил новый пришлец, севши возле меня на лавке, — подавай кварту вишневки!» — «Давай же деньги!» — «Завтра!» — «Завтра и вишневку пить будешь!» — «Этакой несговорчивый!» — сказал со вздохом привратник и с неудовольствием шевелил усами. Я не преминул воспользоваться сим случаем. «Жид! — вскричал я в свою очередь и притом довольно сурово, — ты крайне неучтив и не умеешь различать людей. Сейчас поставь пред нас сулею запеканной водки да кварту вишневки и пару булок; а как приближается пора обеденная, то приготовь похлебку с курицею, лапшу с уткою и изжарь молодую индейку: вот тебе червонец!» Жид и Ариан глядели на меня с удивлением, не говоря ни слова; однако сын израилев скорее образумился, выхватил из руки червонец и скрылся. — «Так, — сказал я, трепля по плечу привратника, — с первого взгляда я полюбил тебя, честный Ариан, и прошу пообедать со мною и одним приятелем, который скоро сюда будет». — Ариан благосклонно принял приглашение, наговорил множество учтивостей, и когда поставлены были заказанные сулеи, то после нескольких истинно отеческих лобызаний с кубком глаза его заблистали как раскаленные угли, и он, понизя голос, спросил: «Не могу ли и я, смиренный, чем-нибудь отблагодарить за такое угощение?»

– «И очень можешь! – отвечал я, – но о том побеседуем после!» – «О! только бы требование твое не простиралось далее стен монастырских, а то все возможно!» – «Именно не далее простирается!»

Между тем явился Реас, отлучившийся для нужных покупок; обед подан, и мы были весьма довольны жиновскою стряпнёю. По окончании стола собрат мой опять вышел, и я остался один с восхищенным Арианом. «В чем же состоит твое требование?» – спросил он, уминая свое чрево. «Друг мой! – отвечал я, – мне также хочется спросить тебя: имеешь ли ты такой достаток, чтобы каждый день высушивать здесь по доброй сулее запечанной и есть жареных индеек, не прося ничего в долг?» – «Нет! как можно об этом и подумать!» – «Хочешь ли быть в возможности?» – «Какой дурак не захотел бы!» – «Так пособи мне». – «Говори скорее, в чем состоит дело!» – «У вас есть в монастыре женщина лет в тридцать, прекрасная собою, с возвышенным станом, с черными пламенными глазами». – «Знаю, знаю! она года за два заперта в келье и сидит, как горлица в клетке. То-то жизнь хуже привратничьей. Никто, кроме игуменьи, не знает, кто она; но мы все вообще зовем ее бедною, томною красавицей, ибо она беспрестанно грустит и часто плачет». – «Видишь, любезный друг, – продолжал я, – как наша пленница страдает; неужели мы не поможем ей? Ибо

знай: я – самый близкий ее родственник!»

Дриан всполошился, отступил шага на два и смотрел на меня недоверчиво.

Я продолжал: «Коротко да ясно: если ты поможешь мне увезти ее сегодня, то дарю тебе этот кошелек с двумястами злотых и клятвенно обещаюсь присылать к тебе по стольку же каждогодно». – «Ах! – сказал Ариан, погладя лысину, – конечно, иметь такую кучу денег весьма не худо, но трудно заслужить их. Знаешь ли ты, что нашу томную узницу непрерывно стерегут две старицы? К окну ее в сад приделана железная решетка, которую и сто рук не скоро отломают». – «Однако ж, – подхватил я, – ваши старицы на стражу к ней не сквозь решетчатые дыры пролезают?» – «Конечно, – сказал Ариан, – они входят в ее келью обыкновенными дверьми из коридора». – «Ну, так и она, – вскричал я торопливо, – в эти же двери выйти может!» – «Конечно; но об этом надобно подумать, да и подумать!» – «Ну! так приходи завтра в корчму, как скоро можно будет; мы хорошо попируем и вместе подумаем».

С сими словами мы расстались, и я отпустил с Арианом добрую сулею наливки, дабы ему удобнее было делать выдумки. Я и с своей стороны провел всю ночь без сна, строя, как говорится, воздушные замки и вмиг расстраивая оные.

Поутру, едва отошли заутрени, предстал перед меня Ариан с веселым лицом и, поставя на стол пустую сулею, сказал: «Прикажи-ка, друг, наполнить эту вещь опять, так я скажу нечто приятное». Желание сие мигом было исполнено. Старик, осуша кубок, говорил: «Куда как, право, догадлив ты, что вчера отпустил меня домой не с пустыми руками! Как скоро улегся я на войлоке и принялся думать о средствах к освобождению твоей родственницы, как тяжелый сон начал на меня обрушиваться однако я не поддался: тотчас схватил сулею, приложил к губам, и сон отлетел от меня, как отлетает нетопырь в щель свою при восходе солнечном; таким же образом оборонялся я от нападков его в другие разы; думал, думал и выдумал следующую мудрость: помогать другу своему в беде очень хорошо, но надобно это делать так, чтоб самому в беде не попасться! Можешь ли ты к ночи приготовить дьявольскую одежду, то есть такую, чтоб сколько можно более походить на черта?» – «Почему же именно к сей ночи?» – «А вот почему. Наши инокини бывают на страже у заключенной по очереди. Сегодня, по окончании обеденной трапезы, придут к ней сестры Манефа и Мамельфа. Они обе стары и примерно благочестивы; но в молодых летах столько понесли нападков от злых духов, что и до сих пор страшатся их безмерно. После заката солнечного я проведу тебя с твоим

нарядом и с хорошим запасом на сон грядущий в свою конуру, где и пробудем до полночи; тогда нарядишься ты как следует. Мы прокрадемся коридорами до самых дверей твоей родственницы, и я впущу тебя в келью. Там делай ты, что знаешь, а я брошусь назад, отопру калитку в сад и уплетусь на покой. Твое уже дело будет найти средство перебраться через ограду и ускокаться с своею находкою куда изволишь. Ну, какова кажется тебе моя выдумка?»

«Премудрая! – вскричал я, обнимая Ариана, – и вот тебе сто злотых за одну выдумку, а обещанные двести получишь тогда, когда отворится для меня келья пленницы. Но, любезный друг! – сказал я подумав, – ты забыл одно обстоятельство, которое может все расстроить, а именно: когда я с тем войду в келью, чтоб своим видом, голосом и ухватками перепугать благочестивую стражу и сделать ее безгласною и неподвижною, то кто уверит меня, что и бедная родственница моя не придет от страха в такое же положение и не сделается неспособною следовать за своим избавителем? Тогда все пропало!» – «И подлинно так!» – сказал пасмурно Ариан и сел молча на лавку. Пробыв несколько минут в безмолвии с устремленными горе очами, он вдруг вскочил как исступленный, осушил кубок наливки и сказал вполголоса: «И это препятствие исчезает! В обители нашей, в чис-

ле послушниц, находится моя племянница. Она девка весьма сметливая; ее настрою обо всем искусно родственницу твою предуведомить, и она, конечно, тебя уже не струсит!» – «Прекрасно! – сказал я, подавая своему другу еще кубок, – только не забудь натвердить своей племяннице, дабы она объявила заключенной, что родственник, который в виде злого духа придет к ней для освобождения, называется Леонидом. Это нужно для того, что у нас есть еще много родни, которой она не совсем доверяет».

С сим мы расстались. Солнце между тем взошло высоко. Приказав Реасу изготовить веревочную лестницу, я бросился в лавки и купил кусок черного сукна, а у записного машкары маску, и с сим снадобьем возвратился в шинок.

Запершись в своей комнате, я изрезал сукно в лоскутья так, что когда сшил его на живую нитку, то оно походило несколько на куртку и шаровары. После сего отправился я в мясные ряды и запасся бычачьими рогами. По возвращении домой я прикрепил рога к маске. Возвратившийся Реас уведомил, что лестница его готова и уложена в бричку. «Теперь все улажено! – сказал я вздохнувши, – боже милосердый! даруй, чтоб и окончание дела сего было так же удачно, как и начало!»

Пообедав наскоро, уложили мы в бричку добрый

запас съестного и напитков, ибо я уверен был, что моя любезная Евгения после двухгодичного заточения, конечно, ослабела в силах, и ей приятно будет подкрепить себя во время довольно продолжительной дороги. Мы обошли монастырские стены раз пять и наконец, выбрав место, казавшееся нам удобным для приступа, возвратились домой. Как билось мое сердце, то от радости при мысли скорого соединения с предметом нежнейшей любви моей, то от сомнения при воображении, что Ариан, удовольствовавшись сотнею злотых, ни за что полученных, не захочет уже подвергать себя опасности для получения двухсот обещанных. Еще был я колеблем страхом и надеждою, как честный привратник обрадовал меня своим появлением. Он поведал, что родственница моя все уже знает и с распростертыми объятиями встретит меня, хотя бы предстал пред нее в виде самого Веельзевула. Я пустился потчевать сего друга столь усердно, а он так охотно принимал сии потчевания, что в глазах у него потемнело, и едва лишь закатилось солнце, он уверял, что на дворе ночь уже глубокая.

Общими силами едва мог я с Реасом доказать ему противное, прося поукротить свою ревность.

Наконец и в самом деле небо потемнело. Реас впряг в бричку четырех коней, ибо мы при выезде из

хутора взяли по одному заводному; я щедро расплатился с жидом, взял под мышку бесовский снаряд и пошел с Арианом в его обиталище; спутник мой не забыл уложить к себе за пазуху две сулеи с жизненной силою, а Реас между тем поехал к условленному месту.

Когда я поверх бывшего на мне казацкого напутал бесовское платье, то Ариан, осматривая меня кругом, крестился, ахал и тянул вишневку. Он потчевал и меня, но мне было не до того. Ожидаемый час настал. Монастырский сторож пробил клепалом полночь, и сердце мое затрепетало, руки и ноги задрожали. «Вот час, — сказал я, — который или возвратит мне похищенное блаженство, или уже невозвратно меня погубит». Ариан вел меня по длинным, узким коридорам, слабо освещаемым тусклыми лампадами.

Проходя мимо одной двери, Ариан сказал: «Это калитка в сад; заметь ее хорошенько». — «Отопри теперь, — говорил я, — и оставь настезь. Второпях мне не мудрено будет ошибиться и пробежать мимо!» Он начал было противоречить, представляя, что, покуда я буду пугать монахинь, кто-нибудь может пройти мимо и, видя беспорядок, поднять тревогу; но я приказал вновь, и он повиновался. Для придания ему бодрости я сунул в руку его кошелек, набитый злотыми; он радостно вострепнулся и повел далее. В конце того же

коридора он остановился и, сказав тихо: «Вот дверь от кельи твоей родственницы; ступай с богом!» – поспешно пошел назад, а я вступил во святилище. Перед образом горела лампада, и две старые инокини, сидя за налоем, дремали. Едва появился я, как Евгения, укутанная в простыню, поспешно встала с постели и начала пробираться к дверям. Я только лишь успел сказать: «Калитка в сад открыта, спеши!» – и Евгения скрылась за двери. Тут одна из стражей подняла голову и открыла глаза. В то же мгновение я подскочил к ней, защелкал зубами, зарычал неистово; она застонала и покатилась на пол. Соседка ее вскочила, но также свалилась с ног. Тут я бросился за двери и запер их бывшим в замке ключом. Прибыв в сад, я скоро соединился с Евгенией. Она так была слаба, что едва могла держаться на ногах, и потому я должен был более нести ее, пока прибыли к назначенному месту. Какого труда стоило мне взвести свою подругу по веревочной лестнице на ограду! Оттуда принял ее на руки Реас и усадил в бричку. Я по той же лестнице спустился со стены, кинулся к Евгении, и помчались во всю прыть конскую.

Ах, какое счастье! какой восторг! какое блаженство! Тот только поймет меня, кто любил страстно и был любим взаимно; кого насильственно разлучали с предметом страсти его, но он, по милости небес,

опять с ним соединялся.

Глава XI

Свобода

При темноте ночной, покрывавшей небосклон, я выпутался из демонского облачения и уложил оное в бричку для памяти моему потомству; после сего сел лицом к Евгении, дабы при первых лучах зари утренней насладиться воззрением на прелести моей любезной. Я воображал себе, что она и теперь такова же, какую за два года оставил у порогов днепровских. Заря заблестала, я взглянул и обомлел от удивления. Я увидел бледное, тощее лицо, мрачные, впалые глаза, тонкие, высохшие руки. Сначала представилось мне, что Ариан сам обманулся и жестоко обманул меня и что похищенная женщина совсем не жена моя. Но тут же другая мысль мгновенно меня образумила: в монастырском саду я называл ее по имени, и она меня также; она плакала о потере сына Неона; звук голоса ее довольно знаком моему сердцу; так! это она – но долговременные страдания изнурили ее, обезобразили. Любовь моя, мои старания возвратят ей прежнюю бодрость, крепость и прелести.

Евгения отгадала причину моего смущения и улыбнулась, как улыбается невинность, стоя у своей могилы и устремляя взор к вечности. Она подала мне руку

и сказала: «Неужели, друг мой, мог ты ожидать, что Евгения не потеряет своей наружности, пробыв два года в мрачном затворе, не видя никого, кроме очередных монахинь, которые, вместо утешения, каждую минуту терзали ее сердце, увещевая покориться воле неумолимого родителя». — «Но чего он от тебя требовал? — спросил я, — говори, ничего не опасаясь. Везущий нас казак есть друг мой, и ему известны все важнейшие обстоятельства жизни нашей.

Говори, милая Евгения, чего еще мог требовать отец твой?» — «Рассказ мой будет весьма короток, — отвечала Евгения и говорила следующее: — Как скоро ввели меня в ужасное жилище, из которого ты исхитил, то явилась игуменья и подала сверток бумаг, прося прочесть. Я развернула и прочла следующее: „Недостойная, но все еще любезная дочь!

Наконец ты опять в моей власти, и надеюсь, что бесстыдный оскорбитель моей и твоей чести в третий раз не увлечет тебя с собою. Высокое духовенство соглашается на развод твой, но не прежде, как ты подпишешь прилагаемую при сем бумагу. В ту же минуту, в которую исполнить сию волю мою, получишь совершенную свободу, и с нею и звание моей дочери; в противном случае ты найдешь во мне судию неумолимого!“

Приложенная бумага была не что иное, как бес-

стыдная жалоба на тебя от моего имени и буйное, бесчестное требование на развод для вступления в новый брак. Гнев и негодование мое были безмерны; я изорвала гнусное писание в мелкие лоскутки и кинула их к ногам игуменьи. „Это ответ мой!“ – сказала я и отошла к окну. Игуменья удалилась, оставя при мне для присмотра двух монахинь. Через две недели она опять показалась и, положив на стол какую-то бумагу, спросила: „Не надумалась ли ты, красавица! и не подпишешь ли сей бумаги, присланной сегодня из Батурина на место изорванной тобою?“

Это слово в слово та же самая, но рвать ее не советую, ибо от сего по-пустому будет проходить время в переписках. Буде и сию уничтожишь, то прислана будет третья, десятая, сотая и так далее. Воля отца твоего непременно!“

С сего времени в каждый полдень, когда являлись ко мне очередные монахини на смену прежних, то, ставя пищу на стол, имели приказание говорить: „Подпишешь ли эту бумагу?“ Не отвечая ни слова, я садилась и обедала. Во время ужина была та же церемония, и в таком утомительном единообразии протекли два мучительные года. Неужели и теперь, Леонид, будешь удивляться, что твоя Евгения столько переменилась?»

Вместо ответа я схватил ее руку, осыпал поцелуями и облил слезами благодарности за ее непоколебимую верность. Солнце воссияло, и мы были уже у спуска в мой хутор. Все домашние встретили нас с восторгами радости; мы вышли из брички, и я повел Евгению в свое жилище. Будучи уже на крыльце, она зачем-то оглянулась, затрепетала и прижалась к груди моей. «Боже мой! казак, сидящий на козлах, так ужасен — лицо его, убийственный взор — так! я его видела; он! праведное небо! где я?» — «Успокойся, милая Евгения! — сказал я. — Ты действительно некогда видела моего Реаса; но наружность нередко бывает обманчива. Он человек самый честный и добродушный, а что важнее всего, ему обязан я освобождением Евгении, ему обязан сим бесценным счастьем. Я после расскажу тебе обстоятельства, познакомившие тебя и меня с Реасом».

Я ввел жену в дом свой и показал устройство оно-го. Уединенное место сие представилось ей весьма многолюдным и шумным в сравнении с монастырскою кельею. Мы прожили тут около двух недель, и Евгения приметно начала оправляться. Для обзаведения вещами, столько необходимыми для деятельной женщины, я довольно часто бывал в Переяславле, и сегодня случилось мне пристать в шинке соседки твоей Матридии.

Под конец моего обеда показался видный бурсак, потребовал вишневки и, наливши кубок, вскричал: «Я философ Далмат! Предаю душу вечному пламени, если не отомщу проклятому Королю за друга своего Сарвила!»

Я вслушался в сии речи. Чтобы приласкать к себе бурсака, я сказал: «Конечно, этот Король не честный человек, что не полюбился почтенным бурсакам! Желал бы я знать, что это за особа? Между тем прошу сделаться моим товарищем в еде и питье!»

Бурсак не отказался от предложения. «Этот Король, — говорил он, опоражнивая одну чарку за другою, — есть не что иное, как простой огородник, и зовут его Диомидом. Впрочем, он так лукав, что редко нашему брату бурсаку удастся полакомиться его овощами. Надобно думать, что он знается с бесом! Несколько дней назад захотелось нам отведать дынь и арбузов; предосторожности все взяты; но, как на беду, он в самую полночь очутился на огороде с кучею народа и переловил всех наших витязей».

Ты можешь, любезный брат, представить радость, какую ощутил я, узнав, что могу соединиться с тобою и остаток жизни провести в объятиях любви и дружбы. Одна мысль — и мысль горестная — отравляла в те минуты мое восхищение, и сия мысль была о потере моего первенца.

– С сего времени, – продолжал дядя Король, – я поставил правилом два раза в неделю посещать хутор моего брата и находить удовольствие в его счастии. За три года перед сим привезена Мелитина в объятия родителей; ты не забыл еще случая, приведшего и тебя в сей хутор. Кто опишет восторг, посетивший душу Леонида, когда из рассказов твоих он познал своего сына, столь долго оплакиваемого.

Известить тебя о себе он не имел возможности, ибо и самое существование его не было обезопасено. Мне поручено было дальнейшее твое образование, ибо проведенное время в бурсе не могло сделать тебя достойным того сана, к какому порода призывала.

Сим окончил дядя свое повествование. Весь день прошел в тишине и мире, и я, получив наставление, как должен действовать на завтрашний день, провел вечер у любезного друга моего Кронида. В сей самый вечер испытал я радость, доселе для меня незнакомую радость – одолжать других.

– Неон! – сказал мне Кронид, – я должен наконец верить душе твоей тайну, самую драгоценную, священную. Сего только утра узнал я, что ты – сын Леонида и Евгении. Друг мой! неужели мог ты подумать, что в течение девяти лет видеть сестру твою в доме отца моего и не полюбить ее страстно есть дело возможное для человека моих лет и сложения! Так, Неон!

я обожаю прекрасную, и чувства мои от нее не скрыты. Отец мой и мать видели пламень, клубившийся в груди моей и с каждым днем возрастающий, — они сие видели и для неизвестных причин сокрыли ее от глаз моих. Если в тебе, Неон, есть столько человеколюбия, чтобы снизойти на просьбу страстнейшего из любовников, то открой мне убежище твоих родителей, при коих, без сомнения, находится Мелитина. Для меня ничего нет невозможного! Найду способ упасть к ногам ее и снова принести клятву в вечной верности. От тебя, любезный друг, ожидаю содействия, чтобы и родители твои не отказали мне в сем благополучии.

Ответ мой согласен был с его ожиданием. Я и сам не мог не сознаться, что могу найти любезнейшего друга и брата, а сверх того, зная, сколько родители мои обязаны Еваресту за воспитание своей дочери, я почти не сомневался о согласии их осчастливить дочь свою союзом со столь достойным супругом. Могло оставаться одно только сомнение в согласии гетмана, если он удостоит примириться со своею дочерью и зятем. Какое ощущал я биение сердца, встречая восходящий месяц! Завтра, завтра должна решиться участь моих родителей и моя собственная! Они, конечно, виновны, — этого я не могу скрыть от самого себя, — но правосудие земных владык красится милосердием.

Будем терпеть и надеяться – общая участь бедного человечества!

Глава XII

Победа природы

Солнце воссияло на небосклоне батуринском, и я был уже с дядею Королем во дворце гетмана. Куфий встретил нас с распростертыми объятиями и сказал:

– Надежда – хотя и женщина, но не всегда обманывает! Я употребил все, что зависело от Куфия, и, кажется, дело идет на лад. Неон! я полагал, что от твоей устойчивости должно зависеть счастье твое собственное и твоих родителей; на деле выходит гораздо проще, и я наперед поздравляю тебя с неожиданным счастьем. Рано или поздно, но природа берет права свои!

Целительный бальзам разлился в моих жилах, и я существовал счастьем моих родителей. В то время ни Неонилла, ни Мелитон меня не занимали.

Настал роковой час, и дворцовый старшина ввел нас к гетману. Державный старец сидел в глубоком безмолвии; Куфий, облокотясь на окно, стирал слезы с усов своих. Я бросился к ногам гетмана и обнял его колена; он закрыл руками глаза свои и пробыл довольно времени в безмолвии. После сего, простерши ко мне правую руку, сказал:

– Встань, сын моей Евгении, дочери преступной, но

никогда не перестававшей быть драгоценною для родительского сердца, встань и приблизься к сердцу деда, который никогда не забудет заслуг твоих.

Я встал, пал в его объятия, и горячие слезы мои оросили чело повелителя. Видя сии несомненные знаки чувствительности родительской, дядя Король быстро подошел к гетману, пал на колени и облобызал края его одежды.

Куфий приблизился к трону и воззвал:

– Да здравствует Никодим, победитель над злейшим врагом – над самим собою! Прощение, примирение, счастье!

Никодим, указав места для меня и дяди Короля, произнес:

– В воздаяние тебе, Неон, которому обязан я свободою и возможностью исполнить любимое намерение свое— передать Малую Россию в материнские недра Великой, – забываю непомерную дерзость отца твоего и матери. Дядя твой Король показал собою пример непамятозлобия. Я обидел его чувствительнейшим образом, и он поддержал мою славу. Король! считай меня в числе искренних друзей своих.

Дядя Король снова припал к стопам гетмана, и сей, подняв его, продолжал:

– Чрез два дня все отправимся в жилище Леонида и Евгении; но строго запрещаю всякому извещать хо-

заяв о моем намерении. Я хочу со словом «прощаю!» дать им почувствовать всю великость сего слова. Уже сделаны распоряжения к сей поездке, и вся Малороссия не иначе сочтет ее, как путешествием гетмана для личного осмотра полков своих.

Кто опишет наше общее блаженство! Я и дядя Король обедали за столом повелителя и расстались ввечеру в надежде совершенного примирения.

Приготовление и пути со стороны нашей производилось с возможною поспешностию. На третий день начался поход по дороге к Переяславлю. Каждый шаг гетмана ознаменован был правосудием и щедротою. Чуть не забыл сказать, что восхищенный Истукарий с сыном были в числе наших спутников.

В десятый день пути шатры гетманские разбиты на краю леса, граничащего с оврагом, вмещавшим в себе жилище моих родителей, на том самом месте, где я некогда умирал от озноба. Дано повеление приготовить обед самый великолепный, и в ожидании оного гетман решился повидаться с детьми после двадцатитрехлетней разлуки.

Спускаясь с косогора на долину, гетман почувствовал слабость.

Простерши обе руки ко мне и дяде, он произнес дрожащим голосом:

– Поддержите меня. Я мог весьма долго питать в

сердце своем гнев и мщение, не ощущая расслабления телесного; но теперь, когда готовлюсь примириться с природою, освятить права ее и опять назваться отцом семейства, какое-то непонятное чувство разносит во мне состав от состава, и я истаиваю!

Я и дядя Король поддерживали старца под руки; огромная великолепная свита нас провожала, и в сем порядке приблизились все к господскому дому.

Приметная мрачная суeta наполнила сию обитель спокойствия. Едва вступили мы на крыльцо, как мои родители, поддерживаемые Мелитиною и Неониллою, показались и дрожащие колена преклонили перед державным старцем. Несколько мгновений он оставался в прежнем положении, заключен будучи в мои и дядины объятия; наконец простер руки к небу и воззвал:

— Отец любви и милосердия! благослови сих чад моих, как я благословляю! Познаю премудрый промысел твой! Не для того сохраняешь ты свое сознание, чтобы властелины земли разрушали оное.

Тут гетман прослезился и пал на руки отца моего и матери. Неонилла с сыном на руках довершила сию трогательную картину. Истукарий обнял ее с нежностью и сказал:

— Я охотно последую примеру высокоповелительного гетмана и с такою же готовностью прощаю тебя,

дочь моя, с какою он простил свою. Обе вы равно виновны и – равно наказаны угрызением своей совести, а вместе с сим подаете пример, что насилие над сердцами человеческими не производит ничего доброго. Да будет благословен и препрославлен бог, который и самые погрешности наши устрояет во благое!

Какое счастье озарило лица всего семейства! Гетман введен в дом и усажен в покойных креслах. Никогда не казалось лицо его столько величественно: оно сияло лучами горней радости, бывающей уделом одной непорочности. Гетман не мог налюбоваться прекрасною Мелитиною.

– Дитя мое, – говорил он, облобызав чело ее, – каким случаем нахожу тебя дочерью моей дочери, когда много раз видел тебя в доме Евареста и знал под именем его родственницы?

– Дружба не менее могущественна, как и любовь, – сказал Еварест, преклонившись пред повелителем, – и если ты удостоишь своим благословением, то прелестная Мелитина в скором времени назовется моею дочерью.

– Если будет на то соизволение высшего, – отвечал гетман, – то и мне противиться не для чего.

Среди такого упоения радости, самой чистой, блаженной радости время летело на крылах быстротечных. При мирном завтраке Куфий, налив кубок меду,

возгласил:

– Сей напиток очень сладок; но клянусь, Никодим, что для меня еще сладоостнее смотреть на кроткое, исполненное любви и благодати лицо твое! Если ты весь-ма долго лишал себя счастья, то по крайней мере теперь вполне насладись оным, по своей доброте ты се-го достоин.

Все многочисленное семейство торжествовало сей радостный праздник обедом в шатре гетмана. Звуки бубнов и кимвалов раздавались в воздухе и умножали блеск веселия. Гетман пробыл семь дней в поместье своего зятя и признавался, что редко пользовался таким здоровьем, следовательно, и счастьем.

В течение сего времени я имел случай подробно рассказать отцу и деду о несчастной судьбе бывшего товарища моего, философа Сарвила. Ах! кого бы не подвиг на сожаление один взор на томную, изне-моженную Серафину и прекрасных ее малюток! Гет-ман, узнав обстоятельно о великодушии помянутого разбойника, сказал:

– Постараемся сколько-нибудь уподобиться бого-человеку, который, быв пригвожден ко кресту, простил висевшего подле него злодея и обещал ему царствие небесное!

По особенному распоряжению гетмана двое нароч-ных отправились в Запорожье с письмом к воинскому

атаману для отыскания Сарвила и присылки в Батурин: милостивое прощение торжественно было обещано. Сей убитый роком предстал пред судию и преклонил голову под меч правосудия, которое на сей раз было милующею матерью. Он включен в число гетманских телохранителей и скоро сделался примером честности и терпения. Теперь, когда я сие пишу, он служит уже сотником, и если бы случай открыл военные действия, то – сколько нам известно – гетман не усомнился бы наречь его старшиною.

Само собою разумеется, что отцу моему не только возвращено было родовое имение, но и тесть присокупил к тому часть от своих поместьев.

Спустя два месяца после примирения Мелитина соединена с Кронидом. Умный дядя мой Король, расположась навсегда остаться одиноким, поселился в одном доме с другом и братом. Мир и спокойствие, сии неоцененные дары провидения, осенили наши семейства. Все прославляли бога, делали добро другим по мере возможности и были счастливы.

Комментарии Бурсак Малороссийская повесть

Впервые: «Бурсак, малороссийская повесть, сочинение Василия Нарежного», ч. 1—4. М., 1824. В изданном посмертно Собрании сочинений — «Романы и повести, сочинения Василия Нарежного», СПб., 1835—1836 — «Бурсак» занял первые два тома.

Впоследствии произведение неоднократно переиздавалось отдельно и включалось в оба вышедшие в советское время сборники «Избранные сочинения» (1956) и «Избранные романы» (1933).

«Бурсак» при своем появлении был сочувственно встречен критикой.

Анонимный рецензент журнала «Благонамеренный» писал: «Русский оригинальный роман есть необыкновенное явление в нашей словесности, несмотря на то что у нас около полутора тысячи романов, по каталогам наших книгопродавцев; большая часть переводы; русских же, оригинальных... едва наберется сто романов; и те, за небольшим исключением, можно причислить к самым плохим переводам... Жалеть о том бесполезно! Утешимся надеждою на бу-

дущее: может быть, и у нас появятся свои Фильдинги, Лафонтены и Скотты – а до того времени предлагаем любителям чтения новый роман г. Нарезного „Бурсак“...

Ручаемся, что многие прочтут его с удовольствием... Характеры действующих лиц оттенены превосходно – особенно характер гетмана. **Всего любопытнее в этой повести место происхождения: Малороссия, обычаи малороссийские, гетманский двор, шляхетство, сечь Запорожская, и пр. – описаны превосходно» («Благонамеренный», 1824, ч. XXVII, Лъ XVI, с. 274–275).** Рецензент считает, однако, что слог романа «не везде довольно обработан». Поясняя этот упрек, «издатель», то есть А. Измайлов, отмечает, что автор «с излишнею подробностью описывает мелочи, недостойные внимания просвещенных читателей, – беспрерывно появляются на сцену сулеи, чарки, вишневка и пенник». В качестве недостатка отмечено и то, «что все лица в этом романе имеют необыкновенные имена: Сарвилл, Далмат, Авдон, Мукон, Мелитон, Куфий... даже названия селений весьма странны: село Глупцово, село Швитково, сельцо Мигуны...» (там же, с. 282).

Как удачный опыт оригинального русского романа оценили «Бурсака» журналы «Литературные листки» (1824, ч. IV, Лъ XIX–XX, с. 49), «Сын отече-

ства» (1824, ч. 97, Лб ХLI, с. 37–38), повторив в то же время обычные в отношении Нарезного упреки в недостатке вкуса, неправильности языка и т. д.

Другой рецензент уже упоминавшегося выше «Благонамеренного» назвал произведение историческим романом: «...В этом истинно самом лучшем у нас и, можно сказать, историческом романе – изъяснимся языком наших романтиков – очень много местности и народности» («Благонамеренный», 1824, ч. XXVII, Лб XV, с. 216).

В новом свете предстал роман Нарезного с появлением первых произведений Гоголя: критика тотчас обратила внимание на ряд перекличек и параллелей. Так, А. Я. Стороженко (Царынный) в статье «Мысли малороссиянина, по прочтении повестей пасичника Рудаго-Панька...» отметил верное и яркое изображение Нарезным старой бурсы. «Я видел одного умного, почтенного старика протопопа, который, читая „Бурсака“, то смеялся, то плакал от избытка чувств и душевного умиления. Старик сознавался, что в бурсаке он видел почти самого себя и что, вспоминая учение свое в Переяславской бурсе, казалось, делался моложе годами 60-тью. „Бурсак“, говорил он, списан Нарезным с натуры» («Сын отечества и Северный архив», 1832, Лб II, с. 103). О сходстве описания бурсы в романе Нарезного и в гоголевском «Вне» писал в

1835 году Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I. М., АН СССР, 1953, с. 304).

«Бурсака» и «Двух Иванов...» Белинский причислял к лучшим романам Нарезного, положившим начало истории этого жанра в русской литературе (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 53). В то же время с позиций более зрелого развития русского реализма критик отмечал в романе «бедность внутреннего содержания» (там же, т. V, с. 564) и традиционность «завязки и развязки» (там же, т. IX, с. 642).

Высоко оценил произведение Нарезного Н. А. Добролюбов. В его статье, публикуемой под условным названием «О русском историческом романе», говорится: «Честь создания русского романа принадлежит Нарезному... Его „Бурсак“ и „Два Ивана“ до сих пор не потеряли цены своей...» (Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. I. М. – Л., «Художественная литература», 1961, с. 96).

В 60-е годы прошлого века и позднее, вплоть до нашего времени, критики и литературоведы продолжали сопоставлять «Бурсака» с произведениями Гоголя.

В 1861 году А. Григорьев писал в статье «Западничество в русской литературе»: «Разве в Нарезном, например (в особенности в „Бурсаке“ его), не видать тех элементов, из которых слагаются потом у Гоголя

„Вий“, „Тарас Бульба“ и т. д.? Перечтите хоть изображение жизни бursы в „Бурсаке“ и сравните с ним изображение Гоголя в упомянутых повестях...» (Аполлон Григорьев. Эстетика и критика. М., «Искусство», 1980, с. 228). А. Галахов, говоря о традиционности романа, о том, что по своей запутанности происхождения Неона напоминают «Непостоянную фортуна, или Похождения Мирамонда» Ф. Эмина, также выделял в романе Нарежного описание бursы: «Здесь много верных, очень комических сцен из бурсацкой жизни, изображение которой достигло высшего комизма под пером Гоголя. Но за Нарежным остается честь почина в ознакомлении читателей с предметом, до него почитавшимся недостойным литературной сферы или карикатурно выходившим на сцену в одних театральных пьесах» (А. Галахов. История русской словесности, древней и новой. Т. П. Первая половина. СПб., 1868, с. 183).

Большой интерес к произведению Нарежного проявил молодой Достоевский. А. М. Достоевский, характеризуя круг чтения будущего писателя, вспоминал: «Любил также брат Федор и повести Нарежного, из которых „Бурсака“ перечитывал неоднократно,» («Ф. М. Достоевский об искусстве». М., «Искусство», 1973, с. 485).

Василий Михайлович Федоров, которому посвяще-

но произведение, был драматургом и поэтом. Служил чиновником в Москве, а затем в Петербурге.

Ю. В. Манн

comments

Комментарии

1

Келейник – здесь: прислужник при ректоре.

2

...латинскою книгою на польском языке... – Такие издания были распространены в России, особенно на Украине. Сравним свидетельство Н. И. Надеждина в его статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (1836): «За несколько лет я имел обязанность пересмотреть огромную библиотеку одного духовного училища и между старыми книгами нашел множество избитых экземпляров латинской грамматики... изданной на польском языке. Эти книги, очевидно, были учебные; итак, русское духовенство училось латыни по-польски!» (Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 412).

3

Префект. – Здесь: инспектор духовной семинарии.

4

Сняв бриль... – Бриль – шляпа.

5

Кисы их были довольно наполнены... — Киса — кошель или мешок, затягиваемый шнурком.

6

...сделаешься нарядным плутом. – Нарядный плут – здесь: человек, получивший наряд (поручение) сплутовать, обмануть кого-либо; то есть плут не по воле, не по наклонностям.

7

...кроме плохой свиты... – Свита – здесь: вид верхней длинной одежды.

8

...а иногда и проворили... – Проворить – здесь: воровать, что-либо ловко добывать.

9

...доводит отца моего до вод Стигийских? – Стигийские воды – в древнегреческой мифологии воды реки Стикс, протекающей в подземном царстве. В подземное царство умерших переправляет на своем челноке перевозчик Харон, сын Ночи.

10

...сей устарелой *Ириде*... – Ирида – в древнегреческой мифологии – богиня радуги, крылатая вестница богов.

11

...а особливо тебе, старый фалалей... – Фалалей
– простофиля; фетюк.

12

...Артемиде... дошед до кущи пастуха Эндимиона... – Подразумевается древнегреческий миф о том, как богиня луны Селена полюбила прекрасного пастуха Эндимиона, спавшего непробудным сном. Иногда Селена сходила к юноше, гладила его волосы, тщетно пытаясь его разбудить. Нарезный упоминает не Селену, а Артемиду, видимо, потому, что последняя также считалась богиней луны.

Комолый – безрогий.

...красною крашенинною занавесью... – Крашени-
на – грубое крашеное полотно.

...из монастыря выгнали шелепами... – Шелеп – плеть, кнут.

16

...отбирал деньги у питухов... – Питух – пьяница, выпивоха.

17

...я высуслил примерно чарки две запеканной... –

Суслить – медленно пить, причмокивая.

Запеканная, запеканка – здесь: водка с медком, настоянная на пряностях в печи.

...отлетала так, как тень Евридики от певца Орфея... – В древнегреческой мифологии чудесный певец Орфей спустился в подземное царство, чтобы вернуть умершую жену Эвридику. Своим пением ему удалось очаровать богов, и Аид, властелин подземного царства, согласился возвратить Эвридику, но с одним условием: Орфей ни в коем случае не должен оглядываться на следующую за ним жену. Орфей нарушил этот запрет, оглянулся – и Эвридика осталась в подземелье.

19

...еломок на целые полвершка поднялся выше. –

Еломок – шапочка у евреев, ермолка.

20

...подобна жалкой участи дочери Рагуиловой... –

Согласно библейской легенде в дочь Рагуила Сарру, жену Товия, влюбился демон (Книга Товит, 6, 13–18).

21

...прожили Мафусаиловы лета. – Согласно библейскому мифу древнееврейский патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

22

...Сегодня среда... нам же хотелось бы поесть чего-нибудь рыбного... – Православная церковь устанавливала в среду однодневный пост в связи с тем, что Христос в этот день был предан Иудой на страдание и смерть.

...о настоящих своих [делах]... – Слово, взятое в квадратные скобки, отсутствует в прижизненном издании.

24

...сын Евера... – Евер – прародитель патриарха Авраама. Существовала точка зрения, что слово «евреи» происходит от Евера.

25

...подавилась купели Силуамской... – Согласно библейской легенде в купальню Силоамскую в Иерусалиме по временам сходил ангел и «возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Евангелие от Иоанна, 5, 4).

...читать... Книгу Иова, Плач Иеремии и Екклесиаста. – Все эти книги входят в Ветхий завет.

...погибель сарматов... – Сарматы – здесь: поляки.

...роскошный червец начал дышать под безоблачным небом... – Червец – по-украински – июнь.

...*Vanitas vanitatum et omnia sunt vanitas* (суета суетств и всяческая суета) – выражение из Библии, Екклесиаст, 1, 2. Суета суетствий (суетств) – церковнославянская форма «суеты сует».

...тот из семи мудрецов древности... – По преданию, семь мудрецов Древней Греции (Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон), сойдясь в храме Аполлона в Дельфах, написали: «Познай самого себя». Предание это рассказал Платон в диалоге «Протагор».

Божусь тебе десятисловием... – Подразумеваются «10 заповедей», скрижали с которыми, согласно библейской мифологии, были даны богом вождю израильских племен Моисею.

...не будет ни шелеха денег... – Шелег – неходячая монета, бляшка, употребляемая для счета или как игрушка.

*...приняв вид сатира Марсиаса, с которого Аполлон сдирает кожу – то есть вид страдальца. (Подра-
зумевается древнегреческий миф о том, как играю-
щий на кифаре Аполлон победил в состязании флей-
тиста Марсия и, чтобы наказать его за дерзость, при-
вязал к дереву и с живого содрал кожу.)*

...как обнимал древний Иксион волоокою Юнону... – Согласно древнегреческому мифу, царь лапифов Иксион влюбился в богиню Геру (в древнеримской мифологии Юнону) и стал преследовать ее. Решив обмануть Иксиона, Зевс вместо Геры вывел к нему похожее на нее облако.

35

...как соименный мне спартанец... – Подразумевается спартанский царь Леонид (508/507-480 до н. э.), прославившийся своей храбростью и отвагой.